

## ДЕВЯТАЯ

Перелистаем страницы истории.

Лондон. Стокгольм. Петроград. Здесь до Октября собирались съезды российских социал-демократов. Здесь, в эмиграции, а то и в подполье (как на шестом петроградском), разрабатывались первые планы политического и экономического переустройства огромной и полунищей страны: отмена частной собственности на средства производства, земля — народу, восьмичасовой рабочий день. Но политика, жаркие дебаты о форме власти, о тактике и стратегии переворота главенствовали на этих съездах. То был спор профессиональных революционеров.

Владимир Ильич Ленин штудировал экономические таблицы, анализировал тенденции крупной индустрии, размышлял над путями мелкого крестьянского хозяйства. Знал Ленин: социалистическое переустройство только начнется с захвата власти. Решат его труд, соревнование масс, умение хозяйствовать лучше капиталистов. Но лишь в 1920-м он смог сказать уверенно и весело:

— На трибуне Всероссийских съездов будут впредь появляться не только политики и администраторы, но и инженеры, но и агрономы. Это начало самой счастливой эпохи, когда политики будет становиться все меньше и меньше, о политике будут говорить все реже и не так долго, а больше будут говорить инженеры и агрономы.

Ведь как сказано: «начало самой счастливой эпохи».

В ближайшие дни в Москве начнет работу XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Вслед за отчетом Центрального Комитета в его повестке — обсуждение Директив по развитию народного хозяйства СССР в 1971 — 1975 годах. Решения, которые примет съезд, определяют конкретную программу развития народного хозяйства на предстоящее — девятое — пятилетие, наметят новые рубежи в создании материально-технической базы коммунизма в нашей стране.

С глубоким социальным и экономическим анализом нашего движения в девятой пятилетке, с «переработанным сообщаем практическим опытом», как учил тому Ленин, придут во Дворец Съездов партийные работники. Передовые рабочие и колхозники, инженеры и агрономы, экономисты и деятели других наук выйдут на трибуну съезда. Труд, соревнование масс, умение хозяйствовать по-новому стали решающими факторами «самой счастливой», но и самой сложной эпохи. И революционный порыв, революционные задачи приняли сегодня несколько иной, чем прежде, вид.

— Нет у нас сейчас более важного дела, чем осуществление научно-технической революции, — заявил на декабрьском (1969 год) Пленуме ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев. — От него зависит, из него вытекает решение многих проблем развития нашего общества. Каждый руководитель, каждый труженик советской промышленности и сельского хозяйства должен понять это, должен активно участвовать в осуществлении научно-технической революции, видеть требования, которые она предъявляет.

По делам можно судить, насколько полно, с каким энтузиазмом принимают это важнейшее дело — участие в научно-технической революции — наша молодежь, комсомол, каждый юный труженик и каждый, готовящий себя к трудовой жизни. XVI съезд ВЛКСМ, состоявшийся весной 1970 года, дал емкую картину молодежного соревнования в борьбе за технический прогресс, за выполнение экономических задач, выдвинутых партией. Вспомним хотя бы отдельные штрихи этой картины.

Молодые рабочие. По почину московских комсомольцев родилось движение отрядов ТТМ — технического творчества молодежи. Суть их похода в сокращении этапа «новшество — внедрение». Юные рационализаторы производства расширяют узкие места в цехах, вносят творческие поправки в технологию. Делают они это в тесном союзе с наукой, в

содружестве рабочих, инженеров, конструкторов. Дела эти — нужнейшие в научно-технической революции.

Молодые труженики села. Все ответственнее их отношение к хозяйству, все более смело берутся они за решающие участки сельского производства. И так ли уж далеко время, когда именно молодой механизатор [и электрик, и мастер автоматики, и хозяин современной фермы] будет главной опорой колхоза и совхоза! Что такой опорой будет механизатор — ясно. Но акцент нынче на молодом, то есть наиболее динамичном, полном сил умственных и физических. Новый акцент заметен хотя бы по тому, что все чаще лаврами лучшего пахаря, стригалья, сельского строителя венчаются безусые юнцы деревни.

Государственный план на 1971 год определил прирост сельскохозяйственного производства при сокращении числа занятых на четверть миллиона. Это веский экономический прогноз и одновременно плановое задание. Но смотрите, ведь в этом же расчете заложена и серьезнейшая ставка на молодого селянина. Ему, вооруженному техникой, предстоит установить новые рекорды производительности труда на земле.

Молодые ученые. Логикой самого процесса научно-технической революции им отведена первостепенная роль в пятилетке. И тут нельзя не вспомнить Советы молодых ученых, размах теоретических конференций, смелое выдвижение молодых к командным постам в науке, столь характерное для последних лет. В тридцать экономист Абел Аганбегян руководит крупнейшим проблемным институтом. В тридцать пять биолог Александр Спиринов избирается действительным членом Академии наук СССР. Блестящий, фантастически смелый научный эксперимент с автоматическим «Луноходом-1» проводят, сидя за пультами Центра космической связи, парни, почти не отличимые по возрасту и облику от членов олимпийской сборной.

Молодые строители. В прошедшей пятилетке они заявили о себе Красноярской ГЭС, стройками на тюменских месторождениях нефти, гигантским автозаводом в Тольятти, десятками других комсомольских ударных строек.

Удивительную, в сущности, роль уготовила экономика этому отряду. Роль первейших проводников технического прогресса. Всем знакомо, вероятно, понятие «морального старения» техники. Скажем, не успевает завод войти в строй, как есть уже проекты заводов лучше, более выгодные и производительные. Стало быть, темпом и качеством строительства решаются в наш век судьбы технического прогресса.

Немало еще огрехов в строительной практике. Но в целом вырос и возмужал комсомольский строительный отряд, выдвинул тысячи классных мастеров, на старте девятой пятилетки готов обеспечить высокий темп, и уже не с помощью отходящего «Даешь!», а на основе профессиональной четкости, индустриальных методов, мобильной организации и управления.

Студенты. Восьмая пятилетка с большой силой показала, что и этот отряд молодежи нельзя считать лишь завтрашним, резервным. Практика студенческих строительных отрядов без преувеличения — новое явление в мировой экономике. Опыт их изучается сейчас во многих развитых странах. Но лишь социализму под силу вызвать к жизни и закрепить в ней такую массовую инициативу, социализму, при котором сливаются труд и учение, интересы личности и коллектива, общества.

Для нас важно и то, как много потенциального, в высоком смысле завтрашнего, несет в себе это движение. Каждая страна озабочена подготовкой управляющих, «менеджеров», старается вести их отбор заблаговременно. А у нас за одно лето тысячи и тысячи молодых людей как бы и сами ведут такой отбор, решают современно конкретные задачи на управление, ищут лучшие принципы завтрашнего хозяйствования, отвечающие уровню научно-технической революции.

Школьники. Есть и у них летние отряды труда. Но гораздо существеннее, что труд, политехнические начала все теснее смыкаются с самим образованием. Это не только специализированные школы, составляющие резерв некоторых отраслей науки и производства. Это и школы массовые, куда все более властно входит новое.

Так каждый из многомиллионной нашей юности примеривает себя к требованиям научно-технической революции, к участию в решающих боях за торжество коммунизма. Можно с уверенностью сказать, что в девятую пятилетку молодежь страны вступает более ответственной, серьезной, культурной и зрелой. Партия, творчески и дальновидно направляющая общественные процессы, воспитала хороший резерв, спокойно и продуманно включила его в дело преобразования. Школу деловитости прошел в восьмой пятилетке и Ленинский комсомол.

Потолок требований поднимается. И, сколь бы ни были прочны и значительны успехи, партия остерегает нас от малейшего упоения ими, от бахвальства, казенного оптимизма. Одна из главных задач нашего развития — ускорение научно-технического прогресса. Сегодняшний темп его нам уже мал, недостаточен, узок.

В экономике момент ускорения, конечно, сложнее, чем в задачке из школьного раздела механического движения. Приложением сил только в одной точке, по одному вектору здесь ничего не решишь. Именно поэтому партия выдвигает требования в комплексе: качество и надежность, увеличение производительности труда и бережливость, быстрое внедрение новшеств и строгая государственная дисциплина, рост вложений в сельское хозяйство и четкое управление, расширение демократических начал и ответственность каждого за порученное дело. Любое из этих требований — необходимый «момент силы» в нашей общей задаче. И в любом из них опять-таки необходима доля участия каждого из нас, ибо чем дальше, тем все полнее и многостороннее связь общественного движения к коммунизму с личными усилиями, способностями, интересами гражданина Страны Советов.

В экономике такая связь почти осязаема: роль каждого работника возрастает едва ли не по дням. Вот несколько фактов из практики. В цветной металлургии, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности весь прирост продукции в 1970 году (а это сотни миллионов рублей!) достигнут только за счет роста производительности труда: ни на одного работника эти отрасли не увеличили своих штатов.

В угольной промышленности число рабочих даже уменьшилось на 23 600 человек, а выдача угля на-гора выросла. Щекинский химический комбинат уменьшил число рабочих, но увеличил выпуск продукции.

Взвесьте теперь ценность каждого на таком предприятии, в такой отрасли. Без преувеличения, здесь каждый — мастер дела. И вовсе не за счет мускульных усилий достигается это. Новая технология, новые машины, четкая организация труда составляют «секрет» таких отраслей и предприятий. Но это не только не умаляет требований к человеку, а повышает их многократно: известно, например, что на таком предприятии гораздо больше, чем на других, типичен рабочий-студент, инженер — сменный мастер, начальник цеха — кандидат наук. И, кстати, есть ли заманчивей судьба, чем постоянно соединять ум и руки, перемежать резец книгою, тянуться вперед и выше — на протяжении всей своей трудовой жизни! Конечно, это удел не слабых и не ленивых. Это удел деятелей ускорения.

Но не менее увлекательна и человечна по своей сути любая другая задача экономики. Быстрейшее внедрение достижений науки в производство — дело не только государственных организаций; многое здесь может сделать комсомол, его отряды технического творчества. Борьба за соответствие изделий лучшим мировым стандартам — еще одна серьезная задача, требующая от каждого упорства, мастерства.

В труде, совершенно практическом и конкретном, будничном, а подчас и тяжелом, выявляется истинное богатство человеческих отношений, способностей, индивидуальностей. И об этом думал Владимир Ильич, когда говорил об эпохе «инженеров и агрономов» как «самой счастливой». Об этом думал он, когда в другой своей работе назвал экономику «самой интересной политикой для нас, большевиков». Маркс мечтал о будущем труде, как об игре умственных и физических сил, как о наслаждении.

Итак, серьезность, требовательность, но и радость. Сложность, непростота задач, но и бодрая вера в свои силы, желание эти силы испытать и умножить.

Все эти по виду лишь психологические характеристики имеют прямое отношение и к задачам девятой пятилетки и к более дальним целям нашего движения.

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза пройдет как съезд работников нового этапа коммунистического строительства. Успехами в практике оказываем мы решающее влияние на ход мировой истории.

Коммунисты — люди мечты и высокой гуманистической цели.

В проекте Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы говорится:

«Главная задача пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем материального и культурного уровня жизни народа на основе высоких темпов развития социалистического производства, повышения его эффективности, научно-технического прогресса и ускорения роста производительности труда».

Ради этих высоких, человечнейших целей советские люди не пожалеют своих сил, энергии, знаний.

Девятая станет героическим шагом в коммунистическое завтра.

стихи

Арамаис Саакян

Перевел  
с армянского  
О. ДМИТРИЕВ

На правах решающего голоса

Трибуна съезда.  
Невозможно,  
Сказочно,  
Непостижимо высока она!  
С ее вершины горней  
Будет сказано  
О высоте побед твоих.  
Страна.  
И о величье подвига народного.  
Невиданном в былые времена.  
Когда среди дня осеннего, холодного  
Вдруг наступила вечная весна.  
Когда народ,  
С себя оковы сбросивший.  
С других народов  
Рабский гнет сорвал  
И вместе с ними  
С той победной осени  
Прошел суровых испытаний  
Шквал.  
Еще там разговор пойдет, товарищи.  
О будущем,  
С которым крепнет связь,  
О славе нашей.  
На земле сияющей  
И той,

Что над планетой вознеслась.  
О братстве.  
Что проверено экзаменом  
Сражений и труда  
Не первый раз,  
О партии, являющейся знаменем  
И маяком для миллионных масс.  
О всех друзьях, которые признательно  
Раскрыли нам объятия и сердца,  
О всех врагах, которых обязательно  
Имеют те, кто правы до конца.  
И о моем прекрасном поколении —  
О тех, кто сочетать в себе сумел  
Раздумий зрелость  
С юным удивлением  
И молодость души —  
С величием дел!  
Простор Земли —  
От полюса до полюса —  
Для съезда нашей партии открыт,  
И на правах решающего голоса  
Съезд правду нашу  
Вновь провозгласит!

Зиновий Вальшонок

Политруки

Покрытая шинелью жухлых трав,  
земля пропахла горем и махрою.  
А он, заветный лист газеты сжав,  
напутствовал гвардейцев перед боем.

Светловолос, приземист и упруг,  
с горячими запавшими щеками,  
читал стихи солдатам политрук,  
и капли по вискам его стекали.

Политруки годов пороховых!  
Вы заносили в пыльные тетради  
решенья партсобраний фронтовых:  
«Не отдадим земли своей ни пяди!»

Вы, пелену с усталых глаз гоня,  
неистовы, как летчики в таране,  
оттачивали в шквалах артогня  
таланта агитаторского грани.

На дне противотанкового рва,  
в снегу окопном шла политбеседа.  
И зажигали гневные слова  
святую веру в близкую победу.

О, те слова, всю боль в себя вобрав,  
всю меру нелюдского напряжения,  
спасали в гулком пекле переправ,  
вели из цепкой топи окруженья.

Похожа на пронзительный призыв  
политрука упрямая работа.  
И, рот надсадным криком исказив,  
он сам не раз в атаку вел пехоту.

Пускай покрой гражданских пиджаков  
давно сменил былые гимнастерки.  
Но в убежденном голосе парторга  
жив боевой закал политруков.

Старые большевики

Есть в лицах их особенная сила  
и в голосе решительный раскат.  
Кандальные метели царских ссылок  
в их памяти пронзительно звенят.  
И сберегает веки биографий  
крутых морщин суровый календарь,  
вобравший пыль подпольных типографий  
и юнкерских винтовок злую гарь.  
В тиши ночей, под блики мирных вспышек,  
когда уснет шумливая родня,  
о прожитом воспоминанья пишут  
те, кто всегда на линии огня.  
Те, кто в борьбе не ведая опаски,  
поколебав покой дворцовых зал,  
тугой красногвардейскою повязкой  
историю планеты повязал.  
Матросы, комиссары, конармейцы  
с необратимым инеем висков...  
Их с каждым годом остается меньше,  
земли моей партийных стариков.  
Да разве назовешь их стариками,  
в чьих взорах столько штурмов и побед:  
и Зимнего осыпавшийся камень  
и павшего рейхстага силуэт!..  
Они партсъездов первых делегаты,  
меж старых фотографий и наград,  
как юности неблекнущей мандаты,  
свои мандаты первые хранят.  
И с Ильичем работавшие рядом,  
деля с ним дни успехов и потерь,  
бессмертный ответ ленинского взгляда  
в своих зрачках приносят нам теперь.

Раим Фархади

## Свет Родины

Глубокою порой ночной  
Ты пристальней взгляни:  
До края неба пред тобой  
Бегут огни, огни.

Бывает ночь вдвойне темна —  
Дожди, туманы, снег...  
Но и тогда, как из окна,  
Сквозь мглу струится свет.

То не лучина, не свеча.  
Стал свет огней иным.  
Недаром имя Ильича  
Дано огням земным.

Сиянья улицы полны  
В селеньях, городах,  
И виден свет моей страны  
На всех материках.

В огнях — упорный труд людей.  
Тепло рабочих рук —  
Не оттого ли все светлей  
Становится вокруг!

Свет Родины неугасим.  
В ночных огнях земля.  
Иди по ним, иди по ним,  
Дойдешь до звезд  
Кремля.

Джубан Мулдагалиев

Перевела  
с казахского  
Т. КУЗОВЛЕВА

\*

Я в долгу перед временем и планетой,  
Перед плеском воды и дыханьем огня.  
Перед высью и глубиью, зимою и летом,  
Перед правдой эпохи, вспоившей меня,

Я в долгу перед солнцем, цветами и небом,  
Перед полднем и ночью, зовущей ко сну.  
Долг кумысу, и соли, и черному хлебу —  
Как, друзья, и когда этот долг я верну!

Все, что светлого есть у меня и со мною,  
Я другим отдаю и судьбу не корю.  
Но какую же будет оплачен ценою  
Долг народу и долг моему Октябрю!

ПРОЗА

ОЛЕГ ЖДАН

ВО ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ

ПОВЕСТЬ

Часть первая

Мы выбежали на улицу, и словно нас в грудь толкнули: торопливо, нервно блеснула молния, грянул гром и хлынул ливень. Мы остановились, засмеялись, оглянулись друг на друга и с места взяли в галоп.

— А-а-а! — завопил Генка, перепрыгивая ручьи, лужи, поскользываясь и распугивая прижавшихся к стенам людей.

— И-эх, солдатики! — крикнул кто-то из посторонних; незнакомые девушки засмеялись, и это нам еще наддало веселости и азарта; мы уже неслись, как вороны, и, ошалелые, остановились только у проходной. Еще двести метров по заводу — и в раздевалку. В раздевалке духотища, шум, гам, из душевой в раскрытые двери хлещет пар.

Генка взвыл, затряс головой, так что брызги полетели в стороны, а наш сосед, старичок Пафнутьич, засмеялся заискивающе и ехидно:

— Капаить?

— Капаить, — поддразнил его Генка. — Гремить, блистать и капаить.

Пафнутьич — старичок от горшка два вершка, никакой серьезной работы делать не может, поливает из шланга водой цех и покачивается в дремоте.

Опаздываем. Мгновенно натягиваем робы — и в цех.

Степа, бригадир, уже на месте, разбирает шланги, подтачивает зубила. Увидев нас, кивает, выплевывает в нашу сторону изжеванную папиросу.

— Проспали? — без тени нотации, в виде приветствия спрашивает он.

Пиджак на Степе висит, как на вешалке. Худ он невероятно: курит беспрерывно да и обрубщиком работает уже двенадцать лет. Парень он прекрасный, жаль, для нашей компании немного староват: ему тридцать пять.

Появляется в двери и бежит бегом еще один из нашей бригады, Ваня. Виновато смотрит на всех по очереди, вроде бы даже хочет, чтоб ругнули, по шее слегка стукнули, шмыгает носом, утирается рукой, поводит лопатками: мол, проспал, конечно, винюсь, каюсь, но спешил, бежал, молодой, исправлюсь. Месяц назад он женился и теперь опаздывает едва ли не каждый день.

— Вот попадетя такая девка, — кричит Генка, — и все, кранты!

Ваня делает вид, что ему смешно. Степа стоит рядом, не реагирует. К этой теме он никогда интереса не проявляет.

— Я сегодня на подрубку, — говорит он мне. — Чтой-то руки ломит.

В цеху шумно, приходится говорить громко.

— Может, тебе бюллетень выписать? — кричит на Степу Генка. — В профилакторию послать?

— Да, — виновато усмехается Степа. — Неплохо бы. Руки чтой-то болят... Ночью спать не дали.



Он берет свой пневматический молоток и становится на подрубку. Ваня идет на заточку, а мы с Генкой — сдавать. Работа такая: зубилом, которое вставляется в пневматический молоток, надо обрубать на литье заусеницы.

— Па-ашёля-а-а! — кричит Генка, и мы включаемся.

Подходит мастер. По национальности он татарин и говорит с сильнейшим акцентом.

— Парни! — говорит он, и акцент придает его произношению некоторую торжественность. — Парни! Надо сегодня поработать!.. Надо план дать! Пере-выполнить!

— Бу сделано, товарищ полковник! — кричит Генка. Мастер удовлетворенно подносит руку к виску.

Прежде он служил в армии, имел звание младшего лейтенанта и теперь при случае очень любит вспомнить об этом.

Шум в цехе нарастает, работают все станки, наждаки, барабаны. Говорить уже невозможно, и, когда появляется контролер Соня, мы просто подмигиваем и машем рукой.

Соне лет сорок или немногим меньше. Но сохранилась она хорошо, регулярно укладывает волосы и, если прическа кажется ей удачной, не повязывается платком, несмотря на пылищу в цеху.

— Соня, — говорим мы ей иногда. — Ты баба — во! Она снисходительно улыбается. Злая Соня, как ведьма. Когда мы поступали на работу, мастер первым делом сказал: «С Соней не заводись. Упрется — всем цехом с места не столкнешь».

Я оглядываюсь. Рядом на громадных подвесных наждаках работает Ваня и еще один парень из нашей комнаты — Толик. Он ничем не отличается от всех нас, от большинства людей — средней силы, средней ширины плеч. Но работать начал с первого дня, будто занимался этим всю жизнь: сорокакилограммовый подвесной наждак — одной рукой. Лицо спокойное и серьезное — гримаса физического усилия никогда не искажает его. Работа однообразная, внимания не требует, и, вероятно, он думает о чем-то другом.

Ване же думать некогда. Он мал ростом, упирается в ручки наждака всем телом, будто землю пашет, руки у него выше головы и пот льет градом. Из-под наждаков непрерывный сноп искр.

Полгода назад мы демобилизовались и вместе приехали в этот город. Намеренно выбрали этот завод и цех, чтобы поскорее заработать денег, почувствовать себя штатскими. Помнится, в первый рабочий день мы рьяно взялись за молотки, но уже через десять минут начали ронять зубила, а потом и вообще опустили руки, растерянно переглянулись: пальцы отказывались служить. Мгновенно млели и начинали крупно дрожать.

Мастер подошел и всем по очереди сказал в ухо: «Не надо на пуп брать. Головой надо работать». А потом поплевал на ладони, взялся за молоток, и тут же зубило выскочило у него, как из пистолета. Мы засмеялись, мастер покраснел и полез за зубилом.

— Подожди-ка, Илюша, — сказал Степа, отстранил его и начал работать.

Присмотревшись, начали помалу и мы. И вот ничего — втянулись.

Степа уже рубашку снял; под порванной рыжей майкой у него прыгают, вот-вот вообще вывернутся лопатки. Я толкнул Генку: «Смотри!»

— Ударник! — кричит тот.

Работает у нас преимущественно молодежь, старикам молоток не под силу, и после тридцати пяти лет они постепенно переходят в заранее насмотренные места — на очистку, формовку, в грузчики.

Работа трудоемкая, тела напряжены, под кожей бьются, перекачиваются мышцы. Но через час-полтора устаем, напряжение начинает стихать. Перекуриваем, переговариваемся.

Иногда мимо проходят девушки из нашего цеха.

— Ай! — дико вопит им вслед Генка. — Ай-яй!

— А-я-я-я-яй! — подхватывают остальные.

Они оглядываются, смеются. Под носом у них черные пятна от наждачной пыли и красные — вокруг глаз — от защитных очков. Они это знают и потому, оборачиваясь, прикрывают ладонями лицо.

— Морда страшная, — говорит Генка, — но остальное все есть!  
И мы одобрительно смотрим девушкам вслед.

Ване тяжело, уже через полчаса он мокрый от напряжения, как мышонок, но духом не падает, упирается и, только увидев, что мы откладываем молотки, сейчас же выключает свой наждак и перепрыгивает к нам. И тут с него начинает лить ручьем. Слушает, о чем мы говорим, молчит, шмыгает носом и утирается грязным рукавом.

Толик тоже выключает свой наждак и идет к нам. Но делает все это не спеша, без особой легкости, но и без усталости. Работает он, пожалуй, лучше всех нас, но с мастером у него отношения сложные: то ли тот его недолюбливает, но уважает, то ли опять же уважает, но побаивается. Без дела к нему не обращается, а если и по делу — например, попросить поработать в выходной день, — волнуется и от этого говорит с таким акцентом и в таком странном порядке ставит слова, что понять вообще невозможно. Толик выслушает его, поймет и ответит. И если откажется, с ним уже не договоришься. И мастер уныло ходит по цеху, подальше от всех нас.

Ваня в подобном случае сразу же переводит глаза на нас. Смотрит мне в щеку, долго мнетя, придумывает причины, прячет глаза: никаких причин нет, кроме одной, главной — любимой женушки да медового месяца.

Бригадир же Степа соглашается всегда.

Для него работа — естественное состояние, вероятно, более естественное, чем отдых, сон. Он, кажется, тоскует, мучается, если руки не заняты чем-нибудь, и во время обеденного перерыва мается, а потом не выдерживает и идет в цех. Подтачивает зубила, поправляет шланги, наконец, найдет метлу и подмахнет пол.

В обеденный перерыв нас созывают в конторку, и сам начальник участка Байбич держит речь.

— Такое дело, хлопцы, — говорит он и прихлопывает ладонью по столу, не решается сказать. — Такое дело... — И поглядывает на нас.

Байбич толст, суетлив и неуверен в себе.

Нам все ясно. Конец месяца, министр погрозил пальцем директору, директор ладошкой — начальнику цеха, начальник цеха — кулаком Байбичу. Больше грозить некому, надо просить. И он нас просит...

Разумеется, не мы, так другие стояли бы на нашем рабочем месте, но тем не менее иногда испытываем удовлетворение оттого, что работаем здесь именно мы и с нашим появлением прибавилось каких-то ценностей. Не только материальных, но и других — в отношениях между людьми. Кажется иногда, что Степе без нас было бы хуже, мастеру Ильясу скучнее, плохо было бы нам самим, если б разъехались по разным краям, и даже Байбичу было б грустнее. Может, в том месяце он не выполнил бы план и теперь ходил бы печальный.

Работа у нас нелегкая, но она приносит ощущение уверенности в себе, независимость. В наш век автоматике есть еще немало профессий, где пока без рук ничего не сделаешь, где нужна сила и выносливость.

Скамеек мало, мы рассаживаемся на полу, закуриваем. Байбич гнетя, прижимается к столу, чтобы быть с нами на одном уровне.

— А? — говорит он. Мы молчим.

— Набавим премию! — говорит он. А мы молчим. Полезно помолчать.

— И по отгулу... — продолжает мастер.

Но мы молчим. Генка рассеянно посвистывает, словно его это не касается, Ваня жалобно морщит нос: завтра у него последний день медового месяца.

— Я завтра работать не могу, — говорю я. — И так едва дождался конца месяца, конца недели. — И выхожу из конторки.

Ребята, наверно, недовольны: если уж работать, то всем, но мне сегодня не до них.

— Опять поедешь? — спрашивает меня позже Степа.

— Поеду... — Улыбка у меня получилась кривой.

— Ильяс! — подзывает он мастера. — Отпустим его пораньше?

Мастер испытующе, с неодобрением смотрит на меня.

— Опять поедет?

— Кинь это дело, — морщится Генка.

— Да уж как-нибудь постараюсь — кину.

И Толик смотрит на меня, но по-другому: будто хочет понять, насколько я все это делаю серьезно.

— Дайте денег, ребята, — говорю я.

— Ишь ты, денег! — ворчит Генка. — А брюхо чем я буду кормить?

Но, видя, что я никак не воспринимаю шуток, недовольно добавляет:

— В чемодане возьмешь.

И я бегом. Взвыли наждаки сзади, заскрежетали зубила. Искры из-под рук! Пламя!

Все во мне ликует. Отпустили! Еду! И снова верю, что родился под счастливой звездой. Что радость моя не напрасна.

По этому маршруту ходит очень старый, одинокий троллейбус. Помятые сиденья, погнутые спинки, билеты на решетчатом полу. Дергает на остановках, визжит перед светофорами, гудит-поет.

Я стою на передней площадке у двери, людей постепенно прибавляется, толкают и начинают возмущаться.

— Вы сходите?

— Конечно же, схожу.

С треском разрываются створки двери, я прыгиваю и бегом через привокзальную площадь. Площадь пуста, но милиционер хищно машет мне пальцем. Я делаю виноватое лицо, точнее, мое лицо делает меня виноватым, и милиционер либерально отворачивается.

У входа перед расписанием стоят, задрав головы, люди и глубокомысленно помечают что-то в блокнотах. Невежливо проталкиваюсь: «Простите». Оборачиваются вслед и, видимо, не прощают.

У кассы ни одного человека. Сердце замерло.

— Нет билетов? — говорю я и нагибаюсь, глядя на кассира в щелочку между стеклом и стойкой. «Боже мой, — телепатирую я ей. — Такая молодая и такая красивая».

— Есть, — улыбается она — наверно, приняла сообщение.

Протягиваю деньги и каждым движением выражаю благодарность ей, уважение, радость.

Зеленый самолетик на двенадцать мест уже стоит с потеками грязи на брюхе, словно не в небе он летает, а вроде микроавтобуса — ездит по улицам, помахивая крыльями, останавливается перед светофорами.

Нина однажды-таки расщедрилась или расчувствовалась, решила проводить меня в обратную дорогу. Увидела этот самолет и засмеялась. Потом я смотрел на нее в маленький иллюминатор, а она все смеялась, глядя на этот зеленый самолет. Было обидно, хоть и обижаться вроде бы ни к чему: не я его придумал и покрасил в зеленый цвет.

Объявили посадку, и пассажиры побежали, заковыляли по полю, заваливаясь набок от тяжести чемоданов, за двумя пилотами, которые весело что-то говорили друг другу и не оглядывались назад. Трасса эта была местного значения, публика привычная, неинтересная для них: пара помятых командированных, служащие средней руки, немолодые мужчины, немолодые женщины. И они, закрыв двери, удобно уселись за штурвалы, натянули наушники и запросили взлет.

Самолетик затрясся, разгоняя траву, и почти с места взял вверх.

Автобусом я доехал до городского парка и вылез. Вероятно, лучше было бы проехать еще три остановки, подняться на лифте и постучать. Но на это меня уже не хватает. Я звоню ей из автомата и таким образом даю приготовиться, принять какое-то решение, может быть, даже выражение лица. И вижу ее лицо: через мгновенное удивление к спокойствию.

И самому мне так лучше — привычнее. Успокоюсь, утихомирюсь.

К телефону очень долго никто не подходит. Я представил, как он трещит в пустой квартире, почувствовал неловкость, хотел повесить трубку, но услышал щелчок, и мужской голос торопливо произнес:

— Алло!

— Здравствуйте, Иван Степанович, — сказал я. Минутное молчание, и его же потеплевший, ставший более знакомым голос:

— Витя? Ты?

— Я, Иван Степанович. — Таким обреченным голосом я отвечал в десятом классе на дополнительные вопросы.

— Ты откуда звонишь? Приехал?

— Да, я здесь...

— Ну, давай жми сюда. Нинки, правда, нет, ко скоро явится. Давай.

Еще мгновение он слушает и кладет трубку.

Парк этот по-старинному высокий, тенистый, расположен на крутом берегу Днепра. Медленно и широко раскачиваются деревья, щемяще шепчет листва. Ночью в парке — самая глубокая в городе тишина. Крутой спуск к реке густо порос кустарником, у берега равномерно и покойно постукивают боками стоящие у причала лодки, а осенью над всем этим, на сорокаметровой высоте летят красные кленовые листья и прощально помахивают, как кисти рук. И в чистой воде колышутся бесплотные, остывающие огни.

«...Был бы у меня миллион — отдал бы ей, и все».

Эта фраза была произнесена еще в девятом классе Артемом Кулагиным, другом, товарищем по счастью и по несчастью, по любви.

В январских потемках, под хлопьями крупного снега, под пронзительным ветром, под полной луной мы плелись за Ниной по Большой Пролетарской, через Базарную площадь, по улице Урицкого в самый ее конец, где стоял в тупичке маленький деревянный дом с белым окошком посреди стены.

Плелись сзади, забегали вперед, а на нее падал белый снег, падал и не таял, и луна была прямо над головой, и река, замерзшая под ногами, сумрачная синева, даль слева и справа, и поднималась в душе неизведанная, неизмеримая глубина. А мы — кубарем вниз, подножка, портфелем по голове, в снег, щекой о дорогу, больно, радостно. А однажды Артем упал и не мог встать, а когда я склонился над ним, он с ненавистью, едва дыша, продавил сквозь зубы: «Отойди... Отойди от меня!..»

Но через минуту снова плясал и прыгал, швырял снег, и чем сильнее она его лупила жестким маленьким кулачком, тем, казалось, большее удовлетворение он получал, будто это свидетельствовало о ее преимущественном внимании.

Артем был, без сомнения, самым замечательным парнем в школе. Вдруг записался в драматический кружок и на октябрьские праздники сыграл так, что все единодушно стали пророчить ему сценическое будущее. Не произвело это впечатления только на Нину, она всего этого не заметила, не пришла даже на концерт, и он кружок бросил, а потом шашки, шахматы, лыжи, прыжки с трамплина, с днепровского моста в воду, но ничто не могло ему помочь. И тогда Артем с последним отчаянием сказал, стоя над Днепром, над сорокаметровой кручей:

— Был бы у меня миллион — отдал бы ей, и все.

Так он признал свое поражение, а на Нину влажными хлопьями падал снег, и она уходила от нас, повзрослевшая, гордая, неприкосновенная, навсегда.

Домик в тупичке с белым окошком на улицу давно пошел под снос, и это, может, было первое чувство потери, которое я ощутил. Что-то еще с ним исчезло, прекратилось, оборвалось. Теперь она жила на Первомайской, на пятом этаже с окнами во двор. И, чтоб увидеть ее окно, надо было пройти через гулкую холодную арку, в которую всегда дуг ветер, и отойти на середину двора.

В окнах горел свет, я поднялся на лифте — дверь была приотворена. Иван Степанович всегда приоткрывал ее, если знал, что кто-то придет.

В тапках и домашней сорочке он вышел ко мне из кухни и протянул руку.

— Здравствуй! — И, открыто-пристально поглядев на меня, добавил: — Иди в комнату. Я скоро — варю щи.

Матери у них не было, давно умерла, и всеми хозяйственными делами занимались сами, вдвоем. Щи варили в огромной кастрюле, чтоб хватило на несколько дней.

— Есть хочешь? — крикнул из кухни.

— Хочу.

— То-то и оно. По глазам понял. Тут у меня лещ есть, Нинка вчера купила, сейчас мы его уговорим.

А для меня все это прозвучало музыкой: и Нинка, и лещ, и его голос. И я почувствовал удовлетворение и спокойствие, будто наконец заслужил счастье и вот теперь в мирной семейной обстановке буду есть леща.

— ...И пирог есть. Но без Нинки я его тебе дать не рискну.

Картинка на стене, духи на столике под зеркалом, разноцветные помадки — все это имело отношение к ней. Я вошел в ванную помыть руки и увидел на вешалке ее лифчик, купальный костюм.

— Ну, что ты там?

— Иду.

С Иваном Степановичем я познакомился за месяц до того, как идти в армию.

Был момент, когда Нинка вдруг начала вслушиваться в мои слова, глаза ее стали доверчивее, голос мягче.

Мы стояли у лифта, как вдруг хлопнула входная дверь. Нина оглянулась и бросилась по лестнице вверх.

Передо мной стоял худощавый мужчина и пристально глядел на меня через очки.

— Так... — сказал он устало. — Значит, это ты? — И посмотрел вверх, где уже затихали каблучки. — Наконец-то я тебя поймал.

И вдруг открыл дверь лифта.

— Поехали.

— Ннне!.. — промычал я.

— Поехали!

Лифт покотил, я стоял, не решаясь поднять голову, и чувствовал, что он внимательно и насмешливо смотрит на меня.

— Выходи. Стой. — И открыл дверь в квартиру. — Прощу! — Схватил меня за шиворот и потащил внутрь. Включил свет, обошел вокруг. — Так-так. — И направился в другую комнату. — Ты уже, конечно, давно спишь?.. А ну-ка! Выходи!

...Иван Степанович разливал щи, я резал хлеб, и вдруг возникло во мне такое ощущение, будто не сегодня я приехал, а давно, что все-все выяснили, поверили, полюбили и теперь не надо волноваться, умолять, а только дожждаться друг друга и сесть за стол.

Прошел час, другой, а Нины не было. Я делал вид, что читаю книжки, Иван Степанович — газеты. Иван Степанович грустил, я тосковал. Я уже начинал понимать, что не стоило мне, пожалуй, приезжать.

— Ладно, — сказал он наконец и отбросил газету. — Так мы ее не дождемся. Давай в шахматы играть.

Я любил его за то, что он отец Нины. Ну, а он-то за что? Может, за то, что я струсил тогда при знакомстве и он меня, как последнего идиота, сперва впихнул в комнату, а потом, когда понял, что я в прострации, выпихнул? Или просто знает обо всем и жалеет меня?

Я проиграл три партии и решил взять себя в руки. Встряхнулся и увидел, что Иван Степанович подставляет ферзя. Почувствовал неловкость и встал.

— Пойду я пройдусь, Иван Степанович. Позвоню позже. К Илье пойду.

— Приходи ночевать, если хочешь.

— Нет, не хочу.

Медленно спускался по лестнице, а когда мимо шумел лифт, останавливался, чтобы определить, на каком этаже хлопнет дверь. Нет, на шестом.

Было уже темно, горели фонари вдоль улиц, и листья деревьев под фонарями казались желтыми, будто надвигалась осень.

Я шел по улице, и мне уже не хотелось ни к Илье, ни к Нине. Хотелось на самолет да обратно к ребятам в общежитие, где меня знают, понимают и не надо доказывать право на существование.

Но Ильа бы обиделся, если б я не зашел.

— Ух! — сказал он, открыв двери. — Витька!

И оттого, что он так явно обрадовался, я на время снова почувствовал свободу и радость. Ибо единственное, чего мы ждем от друзей, — это радости при встрече, печали при прощании.

И его маленькая жена Лена тоже выбежала в коридор, как выбегает ребенок поглядеть на вошедшего человека.

— Здравствуй! — сказала она и поцеловала меня снизу в подбородок.

Оба они слишком молодые для семейной жизни. Вдвоем им скучновато, и потому очень радуются, когда приходит гость. А я не только гость: я свой.

— Раздевайся! — И потащила у меня с плеч пиджак.

Лена побежала ставить чай, Ильа начал складывать книжки и чертежи.

— У Нинки был? — спросил он и жалобно поморщился. — Не дождался?.. Не нравится она мне. Чего ей еще надо!

«Знаешь, чего мне надо? — однажды сказала она мне сама. — Любви». И посмотрела на меня так, словно это я обидел ее, словно я виноват в том, что любви у нее нет. Или будто я хочу отнять у нее возможность кого-то полюбить.

Ильа и Лена совсем еще дети. Слова «муж» и «жена» сказаны не про них. Идет Лена мимо, обязательно его по шее щелкнет; Ильа подкрадется сзади и в ухо дунет. И обижаются и смеются. Сегодня в репертуаре их дурачеств что-то новое: время от времени Ильа хлопает себя по животу и смеется. Лена краснеет и бросает в него чем попало. Оказывается, шепнул он мне, Лена забеременела.

— Да?

Мне это удивительно и приятно. Вот уже и у нашего поколения будут дети. Хотя это не первый ребенок у наших одноклассников. Первый был у одной девчушки вскоре после окончания школы. Мы ходили к ней всем классом, и удивлялись, и даже друг на друга смотрели иными, более серьезными глазами — это позже стало все обыкновенно и просто.

Время от времени Ильа вспоминает, что он глава семьи, хозяин, и начинает усиленно ухаживать за мной. То столовую ложку сахара мне в стакан сыпанет, то приосанится, станет обращаться к Лене словом «жена». Принеси то, угости этим.

— Утром моя жена тебе кофе сварит. У нее это неплохо получается.

А та внимательно слушает.

А ведь она непросто досталась ему. Убегала, когда он шел приглашать ее танцевать, пряталась в туалет, если приходил домой. И мы решили попытаться Илье помочь. Встречали Лену и сразу же начинали говорить об Илье. И постепенно выражение равнодушия или даже неприязни на лице у Лены сменилось растерянностью, и растерянность эта не исчезла по сей день. Дело было, видимо, в том, что все достоинства, о которых мы ей толковали,

подтверждались и все еще росли, увеличивались. Так оно и должно было случиться, ибо мы ничего не выдумывали, а только открывали ей глаза.

...Нина, возможно, уже пришла домой. Иван Степанович сердится и потому сидит в кресла спиной к двери. Криво держит газету и слушает ее шаги, определяя по «им, где была, чем так поздно занималась, с каким пришла настроением. И в зависимости от всего этого позволяет себе сердиться, даже негодовать. Но если шаги у нее медленны, а лицо печально, он начинает шутить, бодро ходить по комнате, говорить. Они живут вдвоем, любят друг друга, и ссориться им никак нельзя.

— Папочка?.. — говорит Нина, заглянув к нему. — Не спишь?

— Да, не сплю, — резко говорит он. — Где ты, интересно, шатаешься?

— Ах, папа! — говорит она и, подойдя, целует его. — Не все ли тебе равно где?

Он резко встает, ходит по комнате, делает вид, что его этим поцелуем не купишь, но уже простил и забыл, что хотел сказать.

— Витя приходил, — наконец говорит он.

— Витя?.. — Легкое замешательство, слабое беспокойство появляется в ее темных глазах, но отец молчит, и ее прежнее состояние, с которым она вошла в дом, вытесняет эту незначительную тревогу.

Вот и весь разговор. Таким я его себе представляю. Кое-что прежде мне рассказывала Нина, что-то я понял или представил сам. Но, может быть, все это совсем не так.

«Познакомился» я с Ниной ужасно давно, мы с Артемом в то время еще носились по лужам, а Нинка и вообще ходила пешком под стол. Помню, стояла у дома, маленькая, ужасно толстая и рыжая, и во все глаза смотрела на тучи брызг, которые мы поднимали. Мы вдруг заметили ее, заинтересовались и подошли. У Артема был в кармане кусок хлеба, он секунду подумал и вытащил его. «На, жадина, на», — приговаривал он и деловито заталкивал пальцем хлеб в рот.

Нина смотрела на нас, пучила глаза и глотала. Потом какой-то дяденька гнал нас по улицам, а мы отныне, встречая ее, всегда грозили кулаком.

Хотя, может быть, это была и не она. Слишком она была маленькая тогда и рыжая.

— Нет, — с сожалением говорит и Нина. — Не помню...

— Я ее как-то видел на днях, — говорит Илья. Очень может быть, что на днях он ее не видел.

Просто понимает, что любое напоминание о ней приятно мне, как запах ее духов у другой женщины, как случайно переданный привет.

— Ну что?

— Да ничего... Видел, и все.

В глубине души я досаую на него и сержусь. «Видел, и все». Я бы, например, запомнил многое: одна ли шла, быстро или медленно, что было на лице, как поздоровалась, что отразилось в глазах...

Скорее всего придумал и потому нечего сказать.

— Одна шла или... — говорю я через минуту.

— Тьфу, дурачок... Знал бы, не говорил Лена жалобно смотрит то на мужа, то на меня. Я решил сегодня не звонить.

Мне постелили на маленьком диванчике, я лег и почувствовал, как тяжело устал.

Закрыв глаза, начал засыпать и уже сквозь сон услышал, как нежно целовал Илья свою жену.

Я давно чувствовал тепло возле своей щеки, словно прикосновение пряди волос, чье-то дыхание, знал, что это только лишь солнечный луч, скользнувший мне на подушку, но не открывал глаз; что-то прекрасное приснилось мне к утру; я вспоминал об этом и лежал до тех пор, пока этот луч не пролился мне на лицо. Я вскочил с дивана, потянулся, глубоко

вдохнул из раскрытого окна чистого садового воздуха с парными примесями травы, листы, ягод, почувствовал себя отдохнувшим, сильным.

— Здоров! — сказал Илье.

Илья в белой сорочке и трусах сидел перед кульманом, внимательно вел линию карандашом.

— Ну ты и спишь, — отметил он. — Голодом меня заморил. Десять часов.

Лена заглянула в дверь, улыбнулась, пошла обратно.

— Натягивайте штаны, бессовестные! — сказала она из кухни.

И по голосу было слышно, как она счастлива. И тем, что выдался такой солнечный день, и что в этом доме она хозяйка, и что мы вот сидим себе в трусах, и что скоро у нее будет маленькая дочка или сын.

— Знаешь, как я назову сына? — спросил Илья, а Лена на кухне перестала звенеть стаканами. — Митькой. А если дочка — Ленкой. Ничего?

— Хорошо, — одобрил я. — Приеду поздравить!

— Ага, приезжай, — обрадовался он.

Лена принесла яичницу, поджаренную с кусочками колбасы, чай. Раскладывала ножи, вилки, ставила стаканы. Мы сидели у раскрытого окна, и нас заливал солнечный свет. Видел детский Ленкин профиль, курчавые, рыжеватые от солнца волосы на нежном затылке и думал о том, что она красивая, красивее Нины. Нина выглядела старше, серьезнее, и в глазах у нее постоянно стояла будто печаль, а на самом деле недоумение оттого, что не сбывается то, что должно сбыться, и тревога, что не сбудется никогда. А иногда укор, почти обвинение, что я или мы не можем ей ни в этом помочь, ни хотя бы в чем-то обратном убедить.

— Ты не знаешь, где сейчас Артем? — однажды спросила она.

— Далеко. В Иркутской области, на стройке.

— Можешь ты мне найти его адрес?

Адрес я дал, но, кажется, так она и не написала ему.

— Что вы все на этой Нинке помешались, понять не могу! — ворчит Илья. — Артем зимой приезжал в унтах, треухе — тот же компот.

— Артем? Приезжал?

— А ты не знал?

— Нет...

— Нет, Илья, — говорит-шепчет Лена и ревниво опускает глаза. — Она красивая. И интересная... — Реснички у нее от обиды, что Нина красивая и интересная, дрожат.

— Тьфу, — говорит Илья.

Мы попрощались, договорились, что зайду, приеду, и они вышли за мной на крыльцо.

— Ты вправду так любишь ее? — тихонько спросила меня Лена в коридоре.

Я от неожиданности засмеялся, но Лена не улыбалась, она смотрела на меня, и в глазах у нее светился далекий голубой огонек. Ребенок, совсем еще девочка, чему-то завидует и хочет, наверно, чтоб я взял ее с собой посмотреть, как все это будет.

Занимают они половину небольшого деревянного дома около реки, его им купили родители, чтоб хоть начали без забот, и дом их напоминает гостиницу: все бывшие одноклассники, проезжая, ночуют у них.

Они стоят на крыльце, обнявшись, и смотрят мне вслед.

Я быстро поднимаюсь в гору, в парк, иду к телефону в глухой аллее, откуда звонил вчера, но чем ближе, тем медленнее. Хочу унять дыхание, приготовить, с чего начать. В парке еще пусто, нежарко, слабо лопочет листва да шуршит под ногами песок. Смело перекликаются в ветвях яблони высокими женскими голосами, осторожно посвистывают скворцы. Звуки города не долетают сюда.

Траву еще не выкашивали, и под деревьями и кустами, в холодных тенях высоко поднимается остролист с каплями росы на шейках стеблей.



Кабина автомата старая, деревянная, дверь не закрывается: набрякла от недавних дождей.

За поворотом аллеи послышались голоса, я решил подождать, отступил и увидел мужчину и женщину. У женщины было усталое, растерянное лицо, мужчина что-то глухо и настойчиво говорил, она слушала, но, судя по лицу, не соглашалась или не верила. Мужчина заметил меня и недовольно замолчал.

— Надо позвонить, — виновато сказала женщина.

— Все равно нет дома, — ответил мужчина, но его спутница открыла сумочку, заглянула в нее, встряхнула и жалобно посмотрела на меня.

— Нет монетки, — сказала она и вздохнула, будто сдаваясь, признавая свою неправоту.

Монеток у меня было достаточно, и я протянул ей.

— Спасибо. — Женщина молодо покраснела, посмотрела на своего спутника, улыбнулась и вошла в кабину.

Мужчина нахмурился и сердито задышал носом. Но телефон не отвечал. Лицо у женщины опять стало печальным, и она сказала:

— Наверное, нет дома...

— Я же тебе говорил!

Она еще раз улыбнулась мне, и они ушли.

Я бросил сигарету и вошел в кабину. И телефон опять зазвенел в пустой квартире. Номер я набирал внимательно и ожидал долго. А когда вешал трубку, никак не мог попасть ушком трубки на крючок.

Потом ходил по парку, прятался в тени деревьев, томился на балюстраде над рекой. Это — самое красивое место и в городе и в парке. Здесь люди по вечерам объясняются в любви. А ссорятся, конечно, где попало.

Звонил еще много раз. Знал, что никого не застану, и не волновался. Потом понял, что пора уезжать. Билетов на самолет не было, и я поехал на железнодорожный вокзал.

Однажды, когда я позвонил ей, она, едва узнав мой голос, сказала: «Приходи скорей!» Я взлетел по лестнице, открыл дверь и увидел, что она сидит на подоконнике, за ее спиной заходит солнце и свет льется у нее по прямым длинным волосам, перетекает, на плечи, руки, грудь. Почти нимб, почти сияние. Лицо казалось загорелым, темным. И все это было так необычно, что я подумал, будто это уже судьба, тайный знак от нее на будущее, и потому вдруг воспрянул духом, почувствовал свободу, поверил в силу своих слов и стал уверенно говорить о том, как она сейчас красива и хороша, то есть о своей любви.

И в первый раз у меня хватало слов и уверенности в этих словах, я ходил по комнате, стоял перед ней, курил, думал, размышлял вслух, и казалось, еще немного, и я смогу наконец убедить ее, внушить, заставить. Но поднял голову и увидел, что тайного знака уже нет, исчез, испарился и уже соседнее окно жестким квадратом отпечаталось на стене.

Нина сидела, опустив голову, лицо у нее опять было недоступным, непонимающим.

— И все-таки это все не то... — сказала она, «Дура она, дура! — кричал Илья, когда я рассказал ему об этом. — Логика нет, элементарной логики!»

И тогда Лена, его жена, враждебно посмотрела на него.

— Знаешь, Илья, — сказала она вдруг, — а я ведь тебя не люблю...

## Часть вторая

На доске объявлений нашего цеха приколот белый листок: «Кто нашел часы «Победа», прошу передать в табельную». А ниже другим почерком, карандашом: «Часы нашел, но не отдам. Панов». Панов — начальник цеха. Все это шуточки нашего рабочего по фамилии Тулейка. Ходит с мелом в кармане и, как выдастся свободная минута, тотчас же начинает рисовать.

«Убежище» — написано на подвале, Тулейка добавляет: «от начальства». «Перегон», — выведено на борту машины, Тулейка старательно приписывает: «из ада в рай».

А на двери женского туалета красуется: «Добро пожаловать!» На мужском: «Переучет».

К доске объявлений подходит Панов, читает, пожимает плечами и отворачивается. Но Тулейка не дремлет: он тут как тут. Прыжками несется к нему с другого конца цеха, и ржет, и размахивает руками, привлекая к себе внимание.

— Начальник!.. Часы отдай! Часы!

Панов недоуменно смотрит на него, поворачивает в другую сторону. Бежит сюда и наш мастер, берет Тулейку за руку и с акцентом говорит:

— Ц-ц-ц... Ка-акой дурак!

И Тулейка затихает, идет на свое место.

Он, конечно же, дурак, но он и артист и без одобрения публики работать не может. Однако раскаяние — чувство кратковременное, и уже через полчаса он с воплями несется за какой-то девушкой, делает вид, что догонит и как минимум поцелует, но, получив оплеуху, виновато уходит.

Очень может быть, что все просто: молод, хочет встречаться с девушкой, а как подойти, не знает.

Иногда он останавливается около нас. Серьезно смотрит, как мы работаем, а когда оглядываемся, улыбается, широко раздвигая толстые губы, а в глазах робость, застенчивость. Тоже, вероятно, просто: нужен товарищ, друг.

Работает он прекрасно. Физически крепок, и хоть непрестанно носится по цеху, к концу дня получается, что сделал больше других.

Однажды на собрании начальник цеха зачитывал фамилии лучших рабочих. Среди других назвал Тулейку, вызвал его на сцену, пожал руку и вручил премию. Все улыбались, аплодировали, а Тулейка был так смущен всем этим, поражен и обрадован, что казался вконец униженным и прибитым. Вернулся на свое место в последнем ряду и тут вдруг загоготал, подпрыгнул, сунул локтем соседа, застучал ногами. И на него на этот раз не зашикали, видимо, поняли его непростое состояние и начальнику цеха были благодарны, что не сморщился, не скривился, а спокойно переждал шум.

— Вот дубина, а? — говорит нам старичок Пафнутьич. — Драть таких надо.

Дело в том, что вчера во время обеда Тулейка насыпал ему в щи сахару, в компот соли, а когда тот возмущенно встал, оказалось, что за ногу привязан к столу. Но и на этом Тулейка не остановился. Когда Пафнутьич вернулся из столовой в цех, увидел, что его шланг накрепко привязан к потолку, к ферме, а пришел после работы переодеться — кальсоны завязаны морским узлом.

— Не переживай, дед, — говорит Генка. — На, закури.

И Пафнутьич, хоть не курит, сигаретку берет, долго рассматривает ее, пытается прочесть нерусское название, неумело прикуривает.

— Дорогая, наверно?

— Тридцать копеек.

— Ойе-е.. — пугается тот. — Прямо штаны прокурите. И водку, небось, пьете?

— Нет, лимонад.

Пафнутьич всегда старается держаться поближе к нам и, даже если поливает из своего шланга в другом конце цеха, смотрит в нашу сторону.

— Пафнутьич, — говорит Генка, — что это ты вроде как наблюдаешь за нами?..

— Эх, молодые!.. — вздыхает тот. — Ни семьи у вас, ни детей...

Одевается, кряхтит, но так и не может набрести на нужную ему мысль.

Отношения с нами он поддерживает в основном через Генку, но интересуется его больше, пожалуй, все-таки Толик. Может быть, потому, что он самый молчаливый среди нас. И Пафнутьич говорит о нас, а подразумевает Толика, спорит с Генкой, а краем глаза опять на Толика.

— Вот этот ваш... — сказал он однажды. — Он... ого-го!

— Что он?

— Да ничего... Увидишь. Хе-хе.

— Не болтай, дядя.

— А я и не болтаю. Это ты болтаешь, — вдруг сердится он. — Дурной ты, как пенек.

Но Толик почти не замечает его. А нам и вообще кажется, что в последнее время Толик загрустил. Стал еще более молчалив, идет с работы, будто и слушает, о чем мы говорим, будто и отвечает, но совсем иные мысли, видно, занимают его. По лицу и глазам ясно, что он где-то далеко от нас.

— Про любовь думаешь? — спрашивает Генка.

— А? — спохватывается Толик, но вспоминает и усмехается.

Пафнутьич покряхтывает, поглядывает.

— Меняются люди на заводе, меняются... — говорит он.

— Как меняются?

— А вот так... Помаленьку. Генка смеется:

— Что-то ты крутишь, батя. Загадками говоришь.

— Какими загадками?.. Умные больно стали, грамотные...

— Так это ж хорошо.

— Да, неплохо...

Пафнутьич долго целит ногой в штанину, путается, не попадает. Суставы у него, видимо, болят. Одевается он медленно, оглядывается, где бы сесть, и наконец устраивается на полу.

— Я, когда с войны пришел... Соберемся мы в обед, узелки с картошкой вынем... Солью посыпем... Хлеба по кусочку. А потом все крошечки подбираем... Редко у кого сальца шматок...

— Вкусно было?

— Вкусно... Жить мы готовились. Про жизнь говорили.

— Ну, а мы?

— А вы про девчонок.

Уже и посторонние прислушиваются к нашему разговору. Подходят, прислушиваются к шкафчикам, покурявают, усмехаются.

— Питание стало хорошее, им девки в голову и лезут, — вставляет кто-то.

— Я и говорю! — оживляется, веселеет Пафнутьич, почувствовав поддержку. — Вот ты все к своей крале ездешь, — обращается он ко мне. — На самолете летаешь... Думаешь, не знаю? Знаю, каждым человеком интересуюсь... А посади тебя на картошку, скажешь: гори оно синим огнем!

Все хохочут.

— Нет, — говорит Пафнутьич. — Вы еще не мужики. Я не мужик, потому как мне уже каюк. Я, может, сегодня домой не дойду, а вы соловьи, скворцы...

— Пошли-ка, — усмехается Толик. — А то Пафнутьич нас сейчас бить начнет...

Пафнутьич, который сидит на полу, закручивает портянки, неохотно убирает с прохода ноги. Ему хотелось поговорить еще, тем более что подал голос и Толик.

Идем мимо табельной, встречаем здесь ребят с третьей смены. Они стоят в очереди за пропусками, чистые, распаренные после душа, настроение у них хорошее: отработали, пойдут домой.

— На работу, что ль? — удивляются они.

— На работу, — простодушно отвечает Ваня.

— Вот нечего человеку делать. Пошли домой!

И все хохочут. Потому хохочут, что шутка эта ежедневная, изо дня в день, и каждый раз кто-нибудь ответит всерьез.

Мастер идет навстречу, будто только нас и ждал, с вечера об этой встрече думал. Лицо у него бодрое, шаг четкий, подходит, отдает честь.

— Парни, — говорит он торжественно, как всегда. — Сто десять блоков — и домой. Идет?

— Едет, Илюша, — отвечает Генка. Он давно, сразу освоился, со всеми перешел на «ты». — Девяносто.

— Такие крепкие! Такие красивые! Молодые! Не хорошо! — говорит мастер.

— Сто, мастер, ни грамма больше.

— Ну, ладно. Сто и подарок. Лично мне — десять штук.

— Ладно, Илюша, посмотрим. Мастер поворачивается ко мне.

— Ну, съездил? Не женился? Молодец!.. Я женился в тридцать девять лет, считаю, чуть-чуть поспешил. Еще год можно было гулять. Привет! — Он опять отдает честь и уходит. Так уходит, будто слышит, улавливает далекий духовой оркестр.

«Парни, — сказал он однажды нам. — Хочу в армию. Привык. Не могу на гражданке. Могу, но плохо. Сам понимаю. Привык».

И нас сразу же полюбил, видимо, за то, что мы недавно демобилизовались.

— Приятно на вас смотреть! — сказал.

Сто десять блоков — это не шутка. Это только-только успеть в обеденный перерыв перекусить и сократить перекуры до минимума.

— А что? — говорит Генка. — Давай обрадуем старика?

Степа, бригадир, вместо ответа поднимает молоток.

И мы начали работать. Начали в таком темпе, какой героям тридцатых годов, когда было принято устанавливать рекорды, наверное, и не снился. Они при их тогдашнем питании попадали бы бездыханными, и энтузиазм их легким паром ушел бы под облака. Да и мы вскоре выглядели уже не такими боевыми, как в начале смены. Мокрыми стали не только майки, но и штаны липли к телу. У Вани, нашего молодожена, не то слезы катились, не то пот лил градом по лицу. Даже Толик кривился, раздувал щеки, выставив нижнюю губу, сдувал с кончика носа пот. Генка рубил, казалось, не только руками, но и носом, глазами, головой.

Но постепенно движения замедлялись, ватными становились руки, будто даже кости размягчались, превращались в хрящи. Начали оглядываться, скептически усмехаться, будто каждый посмеивался над самим собой, над тем порывом, который только что испытал.

Подошел мастер.

— Эй-эй! — крикнул он и, конечно, отдал честь. — Не отставай! Шире шаг! Запевай!

— Маруся, раз-два-три!.. — закричал Генка. Мастер держал руку у виска и маршировал на месте.

И к нам пришло второе дыхание. Высохли от пота тела, обрели точность в новом темпе движения, успокоилось дыхание, а мышцы подавали энергию экономно и строго.

Подходили на нас посмотреть. Начальник подходил, Байбич, но ничего не понял или не поверил и ушел. Тулейка сплясал обезьяний танец, потом постоял, подумал и понесся по цеху за какой-то женщиной. Пафнутыч пришел, долго поливал землю вокруг нас и печально кивал головой.

«Молодые, молодые... — наверно, думал он. — Силы много, а ума нет. Куда рвутся, зачем?.. Не поймешь вас: вроде работать не хотите, а работаете хорошо... И все равно не работа это, забава... Учиться надо, больно умные стали все...»

Мужчины постарше снисходительно, а в глубине души завидуя, посмеивались: «Ишь, развоевались, скворцы». Женщины с любопытством останавливались, переговариваясь между собой. Девушки группами бегали мимо нас в туалет.

— Ррыжая! — кричал Генка. Они явно выделяют его среди нас.

И Соня была довольна. Хлопала ладошкой по нашим оголенным спинам, смеялась. Вероятно, ей было приятно, что работает среди молодых людей.

Сдали мы в тот день сто пятьдесят блоков, почти в два раза больше обычного. И только когда вымылись под горячим душем и шли домой, почувствовали, что устали. Шли молча, подставляли ветру ладони, лица.

— А ведь Пафнутьич прав, — вдруг сказал Толик. — Все это в самом деле напоминает игру.

— Да, — засмеялся Генка. — К девкам я сегодня не пойду. Ваня, у тебя медовый месяц кончился?

— Вообще кончился, — охотно ответил Ваня. Подумал и добавил: — А вообще нет... Мы захохотали.

— Медовый пряник дожевываю.

— А ведь это важно, — мудро сказал Генка. — Жену найти и работу.

Мы заулыбались и замолчали. Уверены были, что найдем.

Получка! Большой день на производстве. Все ходят с расчетными книжками, прислушиваются, любопытствуют, кто сколько получил.

Здесь же околачиваются и мастера: у рабочих в этом месяце хороший заработок, и они чувствуют себя именинниками.

— Покажи! — Ильяс смотрит в мою книжку и спрашивает: — Хватит?

— Нормально.

— Деньги — вода, — учит он. — Сразу купи штаны. Или ботинки. Понял?

Из бухгалтерии одна дорога — в столовую. Там уже шумно. Мужики толпятся возле столика с горкой соли, пьют пиво, разговаривают.

Мы киваем знакомым, берем по две бутылки пива и направляемся в угол, к столику за колонной. Но столик этот был уже занят, там сидели глухонемые и прятали что-то у ног.

— Поливают! — засмеялся Генка.

Они увидели нас и, оглядываясь, жестами начали приглашать к себе. Налили по сто граммов и показали, что обидятся, если не выпьем.

Кое-как объясняясь жестами, мы уселись с ними, разлили пиво, а они похлопывали нас по спинам и совали стаканы с водкой.

Генка выпил, они сразу удовлетворенно замычали, закивали на него, видимо, ставили Генку нам с Толиком в пример.

Эти глухонемые работают, пожалуй, лучше всех в цеху. Они крепкие парни и очень серьезно относятся ко всему. У них никогда не бывает прогулов, а попасть в «Крокодил» считают полным бесчестьем.

Недавно одному из них присвоили звание ударника коммунистического труда — он стоял на сцене, смотрел в зал и постанывал от волнения и счастья.

Мы не знаем их имен, это и не требуется. Если нужно, их называют по фамилиям.

Тот, что сидит со мной, молод. Я видел минувшей зимой, как он с другом ухаживал за двумя тоже глухонемыми девочками. Что-то объяснял своему товарищу, а девочки стояли, согнувшись в поясе, и били носками сапожек в снег. А потом подняли головы, и лица у них оказались радостными и светлыми.

Он трогает меня рукой.

— Э-э-э! — говорит он. — Э-э-э! — И показывает руками женскую грудь. Спрашивает, есть ли у меня жена или девушка. Для них это одно и то же. Если девушка, значит, будет жена.

— Да. — отвечаю я. — Есть. Нина.

— А-а-а! — обрадованно кричит он. — Хорошо! — почти четко произносит он, и хохочет, и крепко жмет мое плечо. — Ты ее... — И прижимает руки к груди и целует пальцы.

— Да, — отвечаю я. — Очень люблю.

— А-а-а! — кричит он. — А-а!

Недавно он подошел ко мне с бумажкой. «Прошу одолжить два рубля до получки». Денег у меня не было, и он с листком пошел дальше.

В столовой водку пить запрещено, но когда здесь собираются глухонемые, заведующая, очень крикливая женщина, машет рукой: «Пусть их... Пусть...»

Мы допили пиво и вышли.

Почти неделю до этого дня шли обильные дожди, но вот распогодилось, и тополя на цеховом дворе, освобожденные от пыли, легко держали густые кроны. Казалось, весна только начинается, и все это в первый раз — и тепло и солнце.

Один глухонемой показал мне на солнце и радостно засмеялся. «Сы-ынце! — сказал он. — Сы-ынце!» Я кивнул и тоже показал большой палец.

За проходной мы похлопали друг друга по плечам, пожали руки и разошлись.

Глухонемые шли быстро, и если надо было что-то сказать, один забегал вперед и говорил. И если это было важным, они останавливались и быстро махали руками.

Толик не хотел ехать сюда, в этот город, на этот завод. Он хотел вернуться в свой маленький городок-поселок, где текла речка Реченька — десять метров в ширину, с невидимыми ключами по плесам, с тропинкой по берегу, с разошедшимися деревянными мостками между зарослей лозы. Там, с краю поселка, старый бор истекал в жаркие дни пахучей смолой, по вечерам таинственно накрывался древним сумраком; там молодые сосенки легко протягивали к солнцу ветки, похожие на зеленые канделябры, и пели соловьи на блеклых рассветах, словно предчувствуя и предсказывая по-особому ясный, бестревожный день.

Однако перед самой демобилизацией Толик загрустил.

— Поеду с вами, — сказал он однажды и сразу после этого повеселел, посветлел, будто не только принял важное решение, но и понял, что оно правильное.

И вскоре мы весело ехали в поезде, пили с утра до вечера дешевое, по рублю литр, вино, шатались по вагонам в поисках знакомств и приключений, говорили о жизни так, что слышно было сразу во всех купе, поглядывали на попутчиц-девочек и на молодых женщин с обручальными кольцами. И вдруг на одной из остановок Толик бросился в тамбур, а когда поезд тронулся, все тянул через плечо проводницы голову, пытаясь не то что-то запомнить, не то рассмотреть.

— Что ты там нашел? — спросил я. Толик улыбнулся и промолчал.

А позже и я увидел на холме маленький городишко, парк высоко над рекой, лодки под желтым обрывом, два голубых купола в чистом небе, а по краешку горизонта синей дымкой пробежался сосновый лес.

— Что за город? — спросил я у проводницы. — Что за речка?

Но лицо у нее было усталым и равнодушным.

— Еще один проспал, — презрительно сказала она. И вот теперь мне показалось, что Толик опять загрустил.

Необычного в том не было ничего. В армии, например, этому горю в два счета помогал старшина. Входил, подозрительно осматривал загрустившего и неодобрительно говорил:

— Скучаешь, Иванов? О женщинах думаешь? А ну-ка, за-пе-вай!

Теперь же некому было помочь. Мастер, правда, однажды подошел.

— Витя, — спросил он меня, — а Толик, он что?

— Как что? — не понял я.

— Скучает или как?

— Да нет, вроде ничего...

— Скучает, — сказал мастер. — Увольняться будет. — И пошел.

С какого-то не запомнившегося нам дня Толик начал работать с неохотой, к концу смены выматывался, уставал и облегченно вздыхал, выйдя за проходную, когда завод оставался позади.

— Давай-давай-давай! — кричал ему, паясничая, Генка, но Толик не отвечал.

— Э-эх, малокровные! — кричал Генка, азартно вонзал зубило в чугунок, но скоро и сам успокаивался, утихал.

Работать мы стали хуже, с трудом вытягивали задание; мастер наш огорчился, но помалкивал, только вопросительно иногда поглядывал на нас.

Но хуже всех был, конечно, Толик. Он и прежде был молчалив, теперь же с неохотой отвечал даже на вопросы; уходил куда-то по вечерам из дому, а вернувшись, сразу ложился лицом к стене, притворяясь, что устал, спит.

Однажды я проснулся ночью и увидел, что койка его заправлена, Толик сидит у раскрытого окна, курит.

— Ты чего? — спросил я, и сна как не бывало.

— Бессонница, — усмехнулся.

Выглядел он не как всегда. Отутюженные брюки, свежая сорочка, бритый, вымытый, даже волосы уложены, будто собирался на свидание, бал.

— Что, — сказал я, — прямо с утра на танцы? Толик усмехнулся, промолчал, но я видел: он был рад тому, что я проснулся.

— Что с тобой? — спросил я. — Что ты задумал? Он посмотрел на меня, будто пытаюсь определить, как я отнесусь к тому, что он скажет, но сейчас же отвел глаза.

— Чего ты мучаешься? Говори прямо. Уехать хочешь?

— Да, — сказал он. — Не могу здесь жить. Хочу домой.

— Что ж, решай...

— Да я решил. — Он усмехнулся. — Вон чемодан собрал...

— Сегодня, что ль?

— Да нет,.. Не знаю...

Мы оба замолчали. Потому замолчали, что и прежде говорили об этом, все было выяснено. «Не люблю я этот город, этот завод», — сказал он однажды. Но тогда он еще не собирал чемодан и слушать его можно было вполуха.

«Если б я сейчас совершил преступление, никто бы не удивился, все приняли бы это как факт. Если бы подвиг — то же самое».

«Ну и ну, — сказал я тогда. — Я бы, например, удивился. Генка, ты бы удивился?» Генка лежал на постели, читал газету и, не поворачивая головы, показал нам фигу.

«Не в том дело, — продолжал Толик, — что я собираюсь убить кого-нибудь или спасти, а просто чувствую разрыв с другими людьми. Мне не до них, им не до меня. Здесь у меня только вы, а все главные связи остались там, дома...»

Далеко, за домами и деревьями, ухал, вздрагивал от ударов прессов завод. Днем его не слышно; ночью же, кажется, чувствуется, как вздрагивает земля.

Было уже светло, небо прояснилось, видимо, за домами встало солнце. В раскрытое окно вливался охладившийся и очистившийся за ночь воздух, на уровне окна трепетал листьями молодой клен.

— Даже воздух этот меня угнетает... — сказал Толик.

— Нормальный воздух.

— Нормальный... При хорошем питании жить можно и в дымовой трубе.

Генка заворочался на постели, поднял всклокоченную голову.

— Сволочи! — сказал он. — Ни жить не дают, ни спать... А при хорошем питании жить можно даже в унитазе. — Собирался заржать, но Толик отвернулся, и он помрачнел, — А насчет «разрывов» ты помолчи, — сказал он, и в его голосе появилась злость. — Я так понимаю, что ты просто работать не хочешь.

— Да, — ответил Толик. — Не хочу. ...Семнадцатилетним парнем он получил права шофера и со слезами выпросился в командировку, на уборку урожая в Акмолинской области. Три месяца жил вместе с пожилыми шоферами в холодном бараке-палатке, бегал для них за табаком и водкой, слушал их разговоры, спал по четыре часа в сутки, по утрам бодро вскакивал, наскоро обливался из ковша водой, наскоро хлебал свой макаронный суп и,

наконец, бежал к машине, новенькому «газику», который ему после долгих сомнений и придиричьего экзамена вручили в атбасарской автобазе. И первым подъезжал к комбайнам.

Подставлял руки под тяжелый поток зерна из перегруженного бункера, сигналил встречным машинам, мчался по укатанным степным дорогам, радовался огням токов на горизонтах, дышал рвущимся в кабину воздухом, был счастлив и не мог сдержать своих чувств — пел песни о подвигах и о любви.

А если начинались дожди и комбайны останавливались, он шел к знакомому трактористу, поднимавшему поля под зябь, шел весело, вприпрыжку, и тракторист всегда немного удивленно, но обрадованно прыгивал на землю, шел спать, а Толик садился за рычаги и, видя, как переваливается за плугами земля, опять чему-то радовался и снова был счастлив от головы до ног. Впрочем, счастлив он в то время был всегда — с утра и до утра.

А тот пожилой тракторист изредка оглядывался на уходивший трактор, и на лице его вместе с усмешкой появлялось понимание и легкая зависть к молодости этого странного, а может, и обыкновенного паренька...

— Я работал, — говорил Толик, — и радовался не только результату своего труда, но и самому процессу. А здесь мне безразличен и процесс и результат... Единственное, что чувствую, — это насилие над собой... Я так не могу. Я хочу свою работу любить.

Мы невесело замолчали, потом поднялись, долго одевались, умывались, заправляли койки.

— Ты сегодня-то на работу пойдешь? — спросил я.

— Сегодня пойду.

Мы вышли из общежития.

«Если вдруг почувствуешь, что тебе плохо, — сказал однажды Толик, — это первый сигнал, что живешь не так, как написано на роду. Значит, нагрузка либо слишком большая, либо малая, и начинается все не так. Ждать нельзя, иначе втянешься, смиришься, потом оглянешься, а ничего там не видать. Так же, как и впереди... Ты стерпел унижение в любви, Генка втянулся в тяжелую, не приносящую удовлетворения работу, я привык к этому чужому городу... Все мы начали с того, что отступили...»

— Не знаю... — возразил я. — Многие так живут. «Согласен, конечно, согласен, но чем все это может мне помочь?»

Когда в детстве, либо отрочестве я вдруг задумывался о той жизни, которая еще будет, вдруг охватывало меня странное чувство ликования, почти восторга перед ней, счастье от собственного существования. Исполнение желаний, казалось, наступит само собой, во-первых, без усилий, во-вторых, без границ.

И вот благополучно дожил до того примерно времени, на которое смутно ориентировался тогда, и ощущаю неопределенность, беспокойство — от того, что расстояния не сократились, а будто увеличились еще. А отсюда и один шаг до сокращения тех желаний и надежд, до того подытоживающего, ироничного, защитного: «Мечты, мечты!..»

— Не знаю... — повторяю я.

— Просто у тебя на повестке дня другой вопрос. Подожди, вот кончится твоя любовь...

Генка молчал, но мне казалось, что сегодня он на стороне Толика.

Дорога до завода сплошь обсажена липами. Недавно они зацвели, и запах их льется вдоль улиц, поднимается вверх, через раскрытые окна наполняет комнаты. Газоны в нашем районе засевают по весне луговой травой и не подстригают, не вычесывают. Трава вырастает высокая, наполненная соками, и тогда приходит откуда-то старичок с косой, коротко поплеывает в сухие ладошки, оглядывается, прикидывая что-то вокруг, и маленькими шажками, будто осторожно, начинает двигаться. А когда мы возвращаемся с работы, трава уже лежит густыми валками и пахнет лесом, первым покосом, напоминает об утреннем зное, звоне, чистых голосах на лугу.

— Илья, — сказал я мастеру, — Толик уезжает.



— Что?! — крикнул он. — Говорил, да? Решил?.. Э-э, плохо, жалко. Хороший парень. Очень хороший. Лучше всех.

Степа узнал и тоже вроде бы загрустил. Дадут нового человека в бригаду — надо его учить, да и что он еще будет за человек?

Но сам Толик будто повеселел. Может, оттого, что и решился и сказал мне.

«Может, не уедет?» — подумал я. Все-таки вместе четвертый год. А когда уезжает один из друзей, меняются отношения между другими.

— Порадуем старика? — сказал Толик, обращаясь к нам. — Все-таки последний день. Дадим блоке? сто десять?

— Какая разница, — ответил Генка, — сто, сто десять!

И настроение снова упало.

Мастер ходил по цеху, поглядывал и не решался подойти. Не хотел ускорять события. Тоже, наверно, думал: «Вдруг передумает»? На то у него и свои причины: работать некому. В обрубщики люди не очень охотно идут.

— Лучше бы две бабы уволились! — позже сказал мне.

В обеденный перерыв узнал и Ваня. Удивился, шмыгнул носом, притих. Он все еще поглощен молодой женой, ничего не видит, ничего не знает, и эта новость для него удар, свидетельство неблагополучия, тайная угроза его безоблачному счастью.

Я думал, что напрасно Толик хочет уезжать. Конечно, родные места, старые друзья, счастливое детство, отец, мать... Но прошло больше чем три года, отношения с людьми прервались, выпали звенья, и надо начинать сначала, а здесь три-четыре человека, которые его любят и им дорожат.

После обеда подошел мастер.

— Не надо уезжать! — жарко сказал он. — Увольняться не надо! Я тебе отпуск дам, никто знать не будет, неделю, десять дней, сколько хочешь! Едь и возвращайся! А?.. Я тебя понимаю, моя родина — Казань. Татария. Как заболит душа, так я еду на десять дней. А?.. Возвращайся! Приедешь, ты молодой, я тебя с племянницей познакомлю, красавица девка, захочешь — женись!

Толик смотрел на него, улыбался и молчал.

— Не захочешь — не возвращайся, сам документы вышлю, сам перед начальством кланяться буду, слово даю, а?

Опершись на молотки, мы стояли, смотрели на Толика. Толик слушал, улыбался, но молчал.

— Хорошо подумай! Две недели не приезжай! — И вдруг совершенно рыночным манером хлопнул Толика между лопатками. — А? — крикнул. — Хороший парень. Лучше всех!

Провожали Толика в воскресенье.

Купили бутылку водки, кое-какой закуски, сели за стол и вдруг замолчали: неизвестно было, за что пить — то ли за отъезд, то ли за возвращение.

— Не знаю, — неохотно сказал Толик. — Не обещаю. Посмотрю...

Выпили, потянулись к закуске.

Я подумал, что все это когда-то видел. Так же сидели мужчины за столом, пили и разговаривали. То ли отмечали чей-то отъезд, то ли праздновали возвращение. Да, видел. Дома, давным-давно. Входили со двора усталые мужчины, облакачивались на стол, приглушенно, терпеливо переговаривались, а матушка моя носила на стол чугунки, горшки... Бутылка у нас была одна, и мы поднялись.

— Маловато, — сказал Толик, чтобы поддержать общее настроение.

— Вернешься — добавим, — ответил Генка. Потом пошли на вокзал.

Часть третья

Мы сидели вдвоем с Генкой в комнате и мало говорили между собой. Толик уехал, и это каким-то образом сразу сказало даже на наших с Генкой отношениях. Мы стали более близки друг другу, но и одновременно более независимы, будто воочию убедились в непрочности отношений между людьми.

Последнее время Генка с Толиком между собой много спорили. Почему-то Толику надо было убедить Генку, а Генка ни в чем не желал соглашаться.

У него тоже был родной город, но вырос он в детдоме, и теперь его там никто не ждал. Однажды мы заговорили об отпуске и начали хвастаться друг перед другом своими рыбалками на синих речках, лесами с земляникой, молоком с клубникой, а когда пришел черед говорить Генке, он сказал:

— Я на юг поеду, на море. Там, говорят, девок миллион.

Нечто подобное сказал он мне и сейчас:

— Что-то скучно жить стало... Жениться, что ль?.. На втором году службы Генка получил отпуск на пятнадцать дней.

— Куда поедешь? — спросили мы.

— Не знаю, — засмеялся он. — На вокзале решу. — А позже добавил: — К дядьке, пожалуй. Есть у меня дядька под Москвой.

Мы собрали ему кое-какие деньги. Генка уложил свой новенький фибровый чемоданчик, пришел целлофановый подворотничок, начистился до зеркального блеска и, прощаясь, крепко жал нам руки, будто расставаясь надолго, чуть ли не навсегда.

Вспоминали мы его не часто, недалеко все-таки, не надолго уехал, и тем более удивились, увидев его в части через неделю.

— Ты что? — спросил я. — Не нашел?

— Нашел, — усмехнулся он. — Да не пришелся... Позже рассказал, что пробыл у дядьки одни сутки, а потом уехал в Москву и семь дней кряду, с утра до вечера, ходил в кино. Пересмотрел все фильмы, прожил деньги и вернулся.

Мы сидели с Генкой вдвоем. Я иногда поглядывал на него, думал о том, что за последнее время произошло, и вдруг заметил, что он тоже изредка посматривает на меня.

— Ты что хочешь сказать?

— Да нет, ничего...

Ясно было, что Генка после отъезда Толика тоже, будто настал его черед, загрустил. Какие-то обрывки мыслей из тех, что в свое время произносил Толик, стали появляться в его словах, так же, как Толик, он вдруг надолго умолкал или уходил по вечерам из дому. <

И еще мне показалось, будто он начал испытывать ко мне особую привязанность, почти нежность, — впрочем, может быть, это испытывал я сам и только наделял его своим отношением. Нежность, как перед прощанием, когда оглядываются на прожитую вместе жизнь. Он легко сблизился с людьми, первым среди нас освоился в цеху с рабочими, в этом, видимо, сказало его детдомовское детство, но сблизился всегда до определенной степени, и друзей у него, кроме нас, не появилось, будто он испытывал недоверие к людям, кроме тех, кого знал надежно и давно.

— Уж не собираешься ли и ты следом? — спросил я.

— А что? — усмехнулся он. — Давай вместе куда-нибудь махнем?

— Куда?

— Не знаю. К Толику, например!

Я тоже подумал, что это было бы хорошо. Что, возможно, мы еще не понимаем, как важно быть нескольким человекам вместе, надеяться друг на друга, рассчитывать одному на другого, доверять. И что, возможно, понимал это среди нас только Генка, потому и грустил, когда Толик собирался уезжать, потому и не соглашался с ним, протестовал.

И еще мне казалось: что-то должно произойти.

Через два дня после, того, как уехал Толик, мастер подошел к нам с каким-то незнакомым пареньком.

— Вот! — сказал он и ободряюще похлопал паренька по спине. — Ученика вам привел!.. Студента!

Мы с любопытством посмотрели на него. Было ему лет девятнадцать-двадцать, худой, тонкий, по сложению напоминающий скорее девушку, чем двадцатилетнего парня. Он смутился от этого общего внимания и отвел глаза.

— Что, из колхоза убер? — спросил Генка.

— Нет, — ответил тот. — Я городской.

— Я же говорю, — сказал мастер, — студент. Паренек глянул в нашу сторону.

— Степа, — обратился мастер к нашему бригадиру. — Ты это самое... Помаленьку бы, а?..

— Да ясно, — отмахнулся тот. — На подрубку поставлю. Через неделю заработает.

— Ну-ну, — обрадовался мастер. Рабочих не хватало, и дорожить приходилось каждым человеком. Тем более обрубщиком.

Как-то приехал к нам шахтер из Донбасса. Увидел молоток — обрадовался. «Это, — говорит, — дело нехитрое». Поработал два дня — плюнул и ушел.

— Не трусь, мастер, — говорит Генка. — Хочет — научим, не хочет — заставим.

И мастер в знак удовлетворения и окончания разговора вытягивается, подносит руку к виску.

— Студент, значит? — спрашивает Генка.

— Да. Был студент.

— Что ж, выгнали?

— Нет, — сказал тот. — Старики хворают. Деньги нужны.

И мы опять внимательно посмотрели на него. Парень как парень, втянется, будет работать. Разве вот слишком тонок в кости.

— Ничего, — говорит Степа, видимо, подумав о том же. — У нас не кость главное и не сила. Выносливость нужна — это да.

Нам в свое время Степа говорил нечто похожее. «Ничего, — успокаивал. — Втянетесь. Сила — это главное. А может, и не сила, а кость. Вот у меня.,» Костей у Степы было достаточно.

— Ладно, — говорит Степа. — Пошли.

Показывает пареньку, куда подключать воздушный шланг, как держать молоток, затачивать зубило. Парень молчит и время от времени кивает головой.

— Нет, — говорит мне Генка. — Он работать не будет.

— Почему?

— Увидишь.

Бьется в руках молоток, высекает искры, звенит чугун, прыгают лопатки у Степы, играет желваками Генка, будто злится, сражается со стокилограммовым блоком. Ваня рядом упирается руками в ручки наждака, наклоняется, землю пашет, сдувает с носа капли пота, дергает, потряхивает головой.

Контролер Соня в хорошем настроении, с любопытством поглядывает на студента, снимает с головы платок, показывает укладку.

Мастер ходит туда-сюда, поглядывает. Уговаривал Толика не уезжать, а сам не верил, что останется, вот и нового человека привел и сегодня уже не вспоминал о нем. Все правильно: что о нем вспоминать! Даже мы с Генкой привыкаем, хоть прожили вместе больше чем три года. Ваня — тот давно отвык от всех нас, у него любовь, жена любимая, первые месяцы после свадьбы.

Где сейчас Толик? То ли радуется, то ли печалится, то ли ходит в растерянности и не знает, что предпринять. Может, все-таки не надо было ему уезжать? Может, достаточно только съездить время от времени в родные края, а жить там, где появились новые, хоть и недавние, но надежные друзья? А может, и так, что каждому свое?

Нина, например, вообще всего этого не понимает, не признает. У нее другая беда: она хочет любви. Но никто не может ей ее дать, а в себе она ее не находит. Но ведь однажды

каждый остановится на чем-нибудь, сделает выбор. Может быть, что остановится она на мне. «Я за тебя выйду замуж, Витя, — сказала она. — Только я тебя не люблю». И я, наверно, не только с этим смирюсь, но и обрадуюсь. «Вот в чем твоя беда, — сказал мне однажды Толик. — Дай тебе половину — и успокоишься. А я хочу рискнуть».

— Смотри-ка, академик-то плывет...

— Кто?

— Студент. Академик.

Новичок наш утопал, захлебывался в поту. И уже не рубил, а, казалось, старался не упасть, не упустить, удержаться за осатаневший молоток.

— Эй! — крикнул Генка.

Тот разогнулся, потерянно посмотрел на нас.

— Каков дурень, — сказал Генка. — Завтра на работу не пойдет.

Степа подошел к студенту, отнял молоток.

— Иди проветришь, — сказал он. — Сказано было: помалу. Ночь спать не будешь.

Тот без слов повернулся и пошел к двери. Рубашка прилипла у него к спине, обрисовав нежные, женственные лопатки.

— Это не задачки решать, — сказал Генка. — Не хлеб есть.

Мы опять взяли за молотки.

Несмотря на то, что трудно представить себе работу легче, чем у Пафнутьича, он к концу смены устает и раздевается в гардеробе, сидя на полу. Сидит, крихтит. Это, вероятно, возраст. Впрочем, если крихтит, значит, еще и недоволен чем-то, хочет высказать, покритиковать.

— Еще одного дурака сегодня привели, — наконец начинает он. — Институт кинул, в обрубку пошел.

Имеет в виду, конечно, нашего студента.

— Один поумнел, уехал — другой тут как тут. Дураков не сеют, сами они растут...

Если Пафнутьич критикует всех подряд, значит, очень устал. Впрочем, не удивительно: семь часов на ногах.

Мы не отвечаем ему, и потому Пафнутьич, побряхтев, переходит в наступление:

— Вы тоже хорошие. Замучили хлопца. Поставили с молотком на весь день... Совести у людей мало, да, мало...

— Не скрипи, дед, — говорит Генка. — Никто не заставлял.

Пафнутьич минуту молчит, развешивает в шкафу штаны, портянки, потом опять тяжело вздыхает.

— Мало совести у людей. Мало...

Домой мы с Генкой идем вместе, но молчим, почти забываем друг о друге. Однако думаем, вероятно, о чем-то похожем.

Я поглядываю на него сбоку, но он этого не замечает, какие-то мысли, чувства бродят у него по лицу. День был напряженный, но не труднее других.

— А вообще Толик прав, — неожиданно говорит он. — Будто шли мы куда-то и не дошли... Стоим и переминаемся с ноги на ногу...

Вот произнес и он. Теперь, пожалуй, события будут развиваться быстрее. И однажды он скажет: «А знаешь, Витя...» Не обязательно уедет, просто решится, что-то предпримет независимо от меня. Потому что существует одна не соизмеримая ни с чем ценность — своя жизнь.

Возможно, что Толик прав. Дай мне половину от целого, и я успокоюсь, смирюсь.

И еще я подумал, что не потому уехал Толик, что его потянуло вдруг в родные места, не потому загрустил Генка, что тяжела работа и нет у него друзей, кроме меня, не потому и я уцепился за любовь, что в ней единственное мое спасение и счастье, а потому, что пришло время снова осмыслить старую истину: жизнь одна и смерть одна; истину эту осмысливают не

однажды и навсегда, а много раз на протяжении жизни, и каждый раз она по-новому определяет то, что прожито и что предстоит прожить.

И появилась у всех нас жажда удачи, счастья, и показалось, что есть строго определенное время, место, люди, чтоб его найти, и казалось, что оно не там, где его ищут или ожидают другие, и потому мы вдруг заторопились и разошлись.

Время показало, что не во всем мы были правы, во многом ошибались, но оно показало и другое, то, что мы имели право и основание так поступить. Хочешь дойти до реки — бери за ориентир синеющий на горизонте лес. Хочешь до горизонта — бери звезду.

Прошла неделя, а у студента по-прежнему работа не клеилась. Выскакивало из рук зубило, пот брызгами летел с головы, а выражение лица с каждым днем становилось все более неуверенным, виноватым.

Мастер сокрушенно покачивал головой, Пафнутьич подолгу осуждающе глядел на нас и сочувственно на него и все лил и лил свою воду; помалкивали и мы.

Наступил тот момент, когда студент должен был все понять сам и уйти. Но он не понимал. Он не уходил.

День был душным. Мы еще не работали, переоделись и уже взмокли. Пришли в цех и увидели, что Пафнутьич давно стоит со своим шлангом, поливает землю. К своей работе он относится очень добросовестно и всегда приходит заранее, чтобы освежить цех до начала работы. Но это помогает мало. Как только ударили молотками, тяжелая влажная пыль повисла на уровне наших голов, ртов. Люди беспрестанно подходили к крану с газированной водой, а когда поднимали головы и обтирали губы, лица у них были отчужденными, усталыми.

Потом появилась Соня в рваном халате, растрепанная, и мы сразу поняли, что сегодня от нее добра не ждать. Подошла к обрубленным блокам, ткнула пальцем и сказала:

— Рубить. Рубить. Рубить.

Это означало еще час-полтора работы. Блоки были обрублены не хуже и не лучше, чем всегда.

— Дура! — вдруг сказал Генка. — Как тебя земля носит?

Мастер было кинулся к нам, но Генка не дал ему и подойти.

— Иди...

И вот шагнул мимо, втянув голову.

— Кончай работу! — сказал Генка. — Пусть начальство зовет!

И мы бросили молотки.

Ваня весело перепрыгнул к нам, он не считал возможным расстраиваться по таким пустякам. Степа грустно крутил головой. Потому грустно, что надо было все-таки работать, но и работать с Соней, если она не в духе, нельзя.

— Пусть начальство идет, — еще раз сказал Генка. — Будем разбираться.

Тогда и студент отложил молоток, вопросительно посмотрел на нас. А Генка вдруг со злостью глянул на него и крикнул:

— А ты работай!.. Руби, академик, руби! Студент побледнел и растерянно улыбнулся. Но улыбка тут же сошла с лица, он отступил, взялся за молоток и сразу же снова отложил его. Повернулся спиной к нам и пошел. Мы растерянно смотрели ему вслед.

— Зачем ты? — испуганно спросил Степа. Генка промолчал.

Потом пришли начальник ОТК, начальник участка, мастер, Соня, о чем-то спорили между собой, ссорились, мирились, но нам уже не было до этого дела. Мы стояли в стороне и думали о своем.

Два дня назад студент подошел ко мне во время перерыва.

— Работенка! — сказал, намеренно бодрясь, улыбаясь, обращаясь ко мне, но поглядывая на всех, видимо, хотел поговорить, сблизиться, подружиться, почувствовать

наше отношение к себе. — Сперва думал: не выдержу. Руки болели — спать не мог... А теперь лучше...

— С полочки бутылку готовь, — сказал я.

— Обязательно, — обрадовался он. — Не бутылку, а сколько надо. Я вас всех домой бы пригласил, но такая история... Старики мои заболели. Сразу оба, отец, мать. Сколько здесь в среднем платят?

Генка насмешливо посмотрел на него.

— Рано интересуешься, академик. Сперва работать научись.

Студент смутился, покраснел.

— Да нет... — сказал он. — Я ведь так... И умолк.

— Ты что это? — спросил я Генку. Он хмуро посмотрел на меня.

— Ты думаешь, у меня руки ночью не болят? Болят.

Был снова день полочки.

Деньги нам выдает кассирша Шурочка. Ей двадцать восемь лет, но она еще не замужем. Смотрит на нас ласково, но уже и с тайной робостью. Однажды я встретился с ней в кино. Она стояла около стены в вестибюле, смотрела на проходивших мимо людей, и на лице у нее была печаль и одиночество. Увидела меня и очень обрадовалась. Крепко взяла под руку и не отпускала уже до конца сеанса. Фильм был о какой-то несчастной, без любви и надежды, женщине. Шурочка просидела два часа не шелохнувшись, а потом, когда вышли, сказала:

— Проводи меня.

Мы пошли с ней под фонарями по улице, по густым аллеям, под деревьями, и иногда она останавливалась, поднимала лицо вверх, словно прислушивалась, и тогда казалась мне необыкновенно красивой и молодой. Я вспомнил, как шел когда-то так же с Ниной, и она тоже прислушивалась, но не к моим словам, а к чему-то другому, что происходило, может быть, вверху между деревьями, и теперь все это на меня нахлынуло, и когда подошли к дому, где жила Шурочка, сердце у меня забилося, я обнял ее за шею и почувствовал ее несмелую руку на своем плече.

— Был бы ты старше, — сказала она, — я бы окрутила тебя... Или ты бы окрутил меня.

Высвободилась и пошла вверх по лестнице, словно я и не стоял внизу, не обнимал ее только что. И теперь она улыбается мне печально и застенчиво и иногда без очереди выдает деньги.

— Только водку не пей, Витенька, — говорит она. — Пусть ее мужики сами пьют.

Студент получил деньги и подошел к нам.

— Я хочу выпить с вами, — сказал он.

Я взглянул на Генку. Тот стоял нахмурившись, смотрел в землю. Студент ждал.

— Ты знаешь... — начал я. — Дело у нас есть... Прости, но просто некогда.

— Много времени на это не надо, — сказал студент. — Если хотите — давайте завтра.

Со студентом будто что-то случилось за последние несколько дней. Лицо у него было спокойным, даже уверенным, и ничего больше не напоминало о нем девушку или подростка.

— Ну? — сказал он.

Генка, наконец, поднял на него глаза.

— Слушай, старик... — сказал он. — Ты не сердись. День был тогда тяжелый.

— Все правильно, — сказал студент — Я сам понимаю. Ну, так как?

Мы все-таки выпили с ним в этот день. Мы стояли на перекрестке, обнявшись, никого не задирали, клялись друг другу в дружбе и верности, но у каждого из нас жила в груди трезвая, счастливая мысль о том, что это и в самом деле так, что не напрасно мы встретились, недаром подружились, а в будущем надо быть только сдержанней и умней.

Бродили по улицам, пели песни и уже глубокой ночью завалились спать. Студент, веселый, шатаясь, отправился к своим старикам.

Слабость я почувствовал, когда шел на работу. Но переоделся, начал работать, и показалось, что превозмог себя.

Однако через час мне стало плохо. Сел в стороне, вытирал рукавом пот на лице и чувствовал, как колотится вдруг ослабевшее сердце. Может, главное было дотянуть до обеда, но не хватало сил подняться, взять молоток. Когда ребята вопросительно поглядывали на меня, я усмехался, но тут же с гримасой отворачивался в сторону.

Мастер долго ходил по цеху, озираясь на меня, и наконец подошел.

— Заболел, — виновато сказал я ему навстречу. — Кажется, заболел.

Мастер неодобрительно смотрел на меня сверху вниз.

— Водку пьешь и мастера обманываешь, — сказал он. — Иди домой. Спи.

В душевой никого не было, тихо шумела вода. Я медленно помылся, подолгу подставляя лицо, плечи, голову.

Улицы завода были пустынные, только вздрагивали цеха от ударов прессов, молотов.

Вышел за проходную, обдало лицо свежим ветром, и стало легче. Расстегнул сорочку, ветер побежал по груди к спине.

Было еще утро. Солнце поднялось невысоко и освещало только одну сторону деревьев, другая сторона хранила еще ночную влагу и густоту. Перед утром прошел небольшой дождь, листья были тяжелы и не шуршали под ветром. Сзади, постепенно затихая, громыхал завод.

Однажды всем нам сразу показалось, что молодость прошла. Видимо, до того каждый не раз думал и вспоминал об этом, ибо заговорили все разом, будто даже обрадовались, заговорили и посмеялись, потому что, конечно же, она еще не прошла. Посмеялись, а потом легли на постели и притихли, и каждый думал о своем, о чем никогда не говорится вслух. Сопоставляли свои жизни с жизнями других людей, тех, которые моложе, и тех, кто старше, и словно увидели себя посреди какого-то пространства, посреди времени, множества других людей.

Прежде, когда я почему-либо вспоминал о людях, живших до нас, я всегда испытывал сожаление, сочувствие к ним, казалось, что главное время, Золотой век начинается именно сейчас. Но если прежде казалось, что уже благодаря нашему времени мне гарантирована прекрасная жизнь, то теперь я знал, что в конечном счете все зависит от самого себя. И от этого становилось невесело, будто обманулся в отношении мира к себе...

Думал иногда, что для каждого человека в самом деле возможна прекрасная жизнь, но мы накапливаем ошибки и изменяемся до такой степени, что уже не в состоянии поправить их, разобраться, и недоуменно задаем вопрос: «Зачем жил?» А потому надо спешить. Может быть, однажды среди промахов и ошибок натолкнешься на ту алмазную жилу, которая и есть истина, которая определит тебя и осветит дальнейший путь.

Заводская аллея кончилась, я вышел на городскую улицу, оглянулся и здесь увидел Ивана Степановича. Он шел мимо, не замечая меня, лицо у него было сосредоточенным, а тяжелые очки скрывали постоянную складку между бровей. Когда он снимал очки, выражение лица у него вдруг оказывалось иным: неуверенным и огорченным.

— Иван Степанович! — крикнул я.

Он недоуменно обернулся, просто на всякий случай, зная, что окликают не его. Увидел меня и шагнул навстречу.

— Витя! — воскликнул он. — Вот неожиданность!.. Впрочем, ты же здесь работаешь...

И я почувствовал, что в этот момент он подумал о чем-то другом.

— Вы в командировке?

— Я?.. Ах, да, конечно...

— Как Нина?

Он снял очки и посмотрел на меня.

— Ты разве... Она говорила мне...

— Нина вышла замуж?

— Да, Витя. Да... — И он снова посмотрел на меня. — Она должна была тебе написать... — И взял меня под руку.

— Иван Степанович... — сказал я. — Я, пожалуй, пойду, а?

— Ну что ж, Витя... Иди.

Я шел и чувствовал, что Иван Степанович стоит, повернувшись мне вслед, но смотрит вниз и время от времени покачивает головой.

Потом он наконец поднял голову и пошел по своим делам.

Дорога к общежитию шла вниз, я шагал быстро, и казалось, чем быстрее буду идти, тем скорее мне станет легче.

Шагал в тени деревьев, в солнечных пятнах между ними.

«Тут у меня лещ есть, Нинка вчера купила, сейчас мы его уговорим...»

Вот так просто мы с ним расстались.

На углу улицы, где стояло общежитие, я остановился и почувствовал, что не могу идти в ту пустую комнату, думать и сидеть. И пошел дальше. Пошел быстро, потом увидел подходивший троллейбус и побежал бегом. Прыгнул на подножку, какая-то девушка у двери улыбнулась и доверчиво посмотрела на меня, но я не мог ей ответить и отвернулся к окну. Троллейбус бы пуст, ехал медленно, позванивал. И я скоро вышел. Люди входили и выходили из троллейбуса, переходили улицу, открывались и закрывались двери магазинов, домов. Все были озабочены, заняты. Вероятно, это и была обыкновенная жизнь: ни горя, ни беды. И потому мне стало здесь одиноко и неприкаянно, и я повернул домой.

Видимо, до сих пор я был очень возбужден. Потому что, как только повернул назад, снова почувствовал усталость и слабость. Едва поднялся к себе на третий этаж и, не раздеваясь, упал в постель.

— Ты очень хороший, — сказала мне однажды Нина. — Но ведь я тебя не люблю.

— Я на твоём месте давно бы отказалась от меня, — сказала она в другой раз. И усмехнулась: — И вот тогда бы я стала раскаиваться и страдать... Почему ты думаешь, что я тебе нужна? Все-таки настоящая любовь — это взаимная...

— Ты получишь меня, — сказала она в третий раз, — и увидишь, что ошибался...

— Иногда я ненавижу тебя, — говорила она. — Иногда мне кажется, что ты хочешь помешать мне, отнять надежду. Но в другой раз я думаю о тебе и жду... Это когда мне плохо и я больше не надеюсь на судьбу...

— Я ничего не могу сказать тебе наверное... Но если мне все-таки повезет, я знаю, что не пожалею тебя... Как и все.

— Не знаю, — говорил мне как-то Иван Степанович, когда мы с ним сидели на кухне и ждали Нину. — Я пожилой человек и потому, наверно, упрощенно смотрю на эти явления. Мне бы, конечно, хотелось, чтоб вы подружились по-настоящему. Но ведь вы, к счастью, молодые... А у каждого возраста свои ценности.

— Может случиться, — говорил он в другой раз, — что ты получишь половину того, на что рассчитываешь. И это будет скучная жизнь. Прожить без любви — хуже этого для человека ничего не придумаешь. Хоть в прошлом, хоть короткое, но у каждого должно быть самое безоблачное счастье. Иначе разьест душу сомнениями.

— Опять мы ее не дождалась... Что тебе сказать? Я сам свою дочку не понимаю. А ты мог бы и разобраться, большой...

«Ладно, — иногда думал, иногда отвечал я им. — Я скоро приеду опять. Лучше меньшая половина, чем ничего. Хоть одному счастье, чем никому. Ничего я отнять у тебя не хочу. Разберемся, Иван Степанович. А что касается сомнений — у кого их нет... Все я давно понимаю, да только сделать ничего не могу».



Вероятно, ничто не проходит напрасно для нас, даже те минуты и чувства, когда потеря кажется неизмеримой, когда организм в самом себе делает отметку, веху и от нее начинает новый отсчет. Так, видимо, в свое время грусть породила надежду, разочарование — веру, одиночество — любовь.

Может, оттого и становится нам так плохо, когда мы теряем надежду или любовь — возвращаемся к тому опыту, который известен, и надо начинать сначала. И появляется ощущение, будто напрасно прожил это время, даром потратил силы и теперь повторить все еще раз труднее, будто меньше стало душевных запасов, чтоб пойти опять в эту дорогу, — меньше сил и меньше надежды. И, возможно, именно потому некоторые вообще не могут найти свою удачу и счастье, ибо попервоначально почти у каждого человека на все достает сил.

Но тут я почувствовал, что снова вернулось беспокойство и даже волнение за завтрашний день. То был вполне обыкновенный день. Но дело в том, что его еще предстояло прожить.

Разбудил меня стук в дверь. Это был Генка. Он всегда стучит, словно в коридоре пожар.

— Живой? — сказал он и протянул два письма. Одно было от Нины, другое, распечатанное, от Толика.

Ребята, — писал он. — Я пока еще ничего не понял и не нашел. Но — не обижайтесь — я не приеду. Попытаюсь где-нибудь еще. Передайте мастеру, что...

Я разорвал другой конверт.

Витенька, милый! Я вышла замуж. Люблю моего мужа так, что не берусь и писать об этом. Молюсь на него, боюсь его, трушу, ужасаюсь и не понимаю, как жила все эти годы. Ликую даже во сне — дождалась! Готова поверить в судьбу, во все что хочешь. Прости меня. Целую.

Я прочитал и вдруг почувствовал облегчение. Опять надежда, что ли?.. Протянул письмо Генке.

— От Нины.

Она прежде никогда не писала мне, и потому Генка недоверчиво взял листок. Прочитал и огорченно крикнул.

— Вот так новости!

— Я уже знал. Отца ее сегодня видел.

— Да... — протянул Генка и опасливо посмотрел на меня. Может быть, ожидал, что я сейчас сорвусь и ударю головой в подоконник.

Прошелся по комнате и остановился передо мной с вопросительным выражением в лице.

— Тяжелый день... — сказал он. — Может, выпьем, а?

— Давай.

Он обрадованно ухмыльнулся и нырнул в дверь.

Я поднялся с постели, вымыл стаканы, нарезал колбасу, хлеб. Магазин был рядом, и в окно я видел, как Генка бегом пронесся через улицу. Запыхавшись, появился в двери.

Сели, налили.

— За что? — спросил я.

— Знаешь... За Толика и твою Нинку.

В общежитии опять было шумно: расселяли по комнатам новое армейское пополнение. Парни бродили по коридорам, гремели сапогами, с любопытством заглядывали

в комнаты. Нетерпеливо толпились в вестибюле, подмигивали нашей молоденькой буфетчице, галантно увивались даже около коменданта — еще не старой, красивой женщины.

— Сми-ирна! — рявкнул им Генка, проходя мимо. — Равнение на пра...ву!

— Здравия желаем! — мгновенно хором откликнулись они.

Мы вспомнили, как почти уже год назад сами толпились в этом вестибюле, возбужденные и радостные, и весело затопали с Генкой к себе, на третий этаж. Вечером к нам постучали.

Незнакомый паренек — рыжий, чуб замасленный — с любопытством заглянул в комнату и, не решаясь, остановился на пороге.

— Здоров, старички!

— Привет, салага.

Тот заулыбался, вошел.

— Закурить не дадите?

— Закури.

Подошел к столу, взял сигарету, покрутил в пальцах. Прикурил и тотчас закашлялся и засмеялся одновременно.

— Я вообще не курю, — сказал он. — Так уж, за компанию.

Генка удивленно взглянул на него.

— Может, тебе и пожрать дать за компанию? Тот улыбнулся еще шире.

— Нет, только из столовой... А вообще — ладно, давай. Черт ее знает, на два рубля сегодня наел и голодный... — И он, изображая легкое смущение, продрал пятерней шевелюру.

Генка захихикал, поднялся с койки. Отломал кусок колбасы, хлеба, и этот малый с аппетитом принялся жевать.

— Ну, как тут?.. Жить можно?

— Да можно.

— Вот и я так думаю. Главное — до первой получки дотянуть, — сообщил он нам. — А там пойдет. Верно я говорю?

— Верно... Это ты здесь, по соседству, поселился? — спросил Генка.

— Ну да! — И захохотал: вот, мол, как ловко устроился! — С девахой вчера познакомился... Ну, сильна! Старовата, правда, с моего года, но сильна!..

Мы с любопытством смотрели на него. Рыжий, чуб торчком, рот до ушей дотягивается — неужели и мы так в прошлом году?..

— Житуха начинается!.. — опять рассмеялся, даже покраснел от радости. — Аванс обещали выписать... Как вы тут зарабатываете?

— Смотря где. С молотком две сотни получишь.

— Ух ты!.. Отвык от таких денег. Мотоцикл куплю к лету. А там учиться поступлю. В общем, чувствую, дело пойдет. Я ведь такой: как взялся, так и поволок.

Кровь из носу, а если что задумал... Иначе капут. Верно я говорю?

В стенку забарабанили.

— Это меня! — радостно спохватился он. — Новоселье собираемся отмечать. Может, и вы, а?

— Нет, — сказал Генка. — Язва у нас.

Тот захохотал, счастливо оглянулся в двери и вышел.

Я подумал, что не все так просто, как кажется сейчас этому рыжему пареньку, но если я и скажу ему об этом, — не поверит и не поймет.

— Ясное дело! — скажет. — Само собой!

И будет прав. Вероятно, об этом же думал и Генка. И мы не стали ничего говорить. Только собственный опыт может помочь. И лишь во-вторых — чужой.

А потом я подумал, что, может быть, никакая помощь ему и не нужна. И никакой заслуги в моем опыте нет. И вот придет такой парень, не имеющий тревог и сомнений, и все сделает так, как хотел и мечтал. А мы с завистью будем смотреть на него.

Но все-таки то будет исключительный случай. Для всех же других нужно время и труд.

Хорошо, что он зашел к нам. Глупости говорил, в сущности, но мы вдруг почувствовали, что так же молоды, как он, и потому должны жить с такой же надеждой. Что нет у нас оснований для меньших надежд. Словно мы отчаянно трясли двери, пытаясь выйти на улицу, но забыли повернуть ключ. А этот парень выпустил нас и засмеялся, довольный. И мы засмеялись вместе с ним. Нет неоткрывающихся дверей — вот, видимо, в чем был смысл. Хотя верно и то, что каждый открывает их по-своему...

Мы рано поднялись сегодня, еще до того, как зазвенел будильник; окно у нас было распахнуто, и на горизонте виднелось розовое пятно зари. В комнате было прохладно, Генка сбросил одеяло, пожегся и босиком, в трусах пробежал к окну. Перевесился через подоконник, глянул вниз, вверх, мы встретились с ним взглядами и поняли, что нам обоим сегодня хорошо.

Оделись и побежали умываться. В комнатах уже тархтели будильники, мученически скрипели кровати.

«Подъем!» — вскрикнули в соседней комнате. Те ребята, что поселились вчера.

— Ы-а-о-у!.. — отозвались тем.

Мы с Генкой шли на работу.

Улицы уже наполнялись, гулко хлопали двери подъездов, люди торопливо выбегали и вливались в общий поток. Я оглянулся, и показалось мне, что увидел на лицах какое-то особое значение, незнакомое доселе выражение, будто что-то в мире произошло.

«Что же это за день сегодня? — подумал я. — Нет, обыкновенный, будний...»

А может, и необыкновенный был день. Может, вчера закончился какой-то важный период у меня, у Генки, у кого-то еще и теперь начинался новый, и хоть вовсе не обещал он иной, легкой жизни, что-то у нас уже было за душой.

Потому сегодня мы чувствовали облегчение, и не было усталости, и не страшилось всего того неизмеримо более серьезного, что каждому предстоит.

А необычного в выражении лиц людей все-таки не было ничего. Скорей всего то была обыкновенная уверенность, спокойствие за очередной день, который предстояло прожить. Но, поняв это, мы словно приблизились ко всем этим людям, почувствовали себя такими же, как они: моложе, старше, но у всех нас была уже во многом одинаковая, общая жизнь.

Словно в многолюдной толпе ты волновался, перебегал с места на место, старался заглянуть через головы и, наконец, понял, что твое место ничуть не хуже других, только не надо суетиться, а пойти с ними в общем ряду. Мы уже приобрели свой опыт и усвоили чужой. То был разный опыт, и самые разные стороны коснулись нас.

«Молодые, молодые... — печально говорил Пафнутьич. — Ни семьи у вас, ни детей. Я, может, сегодня домой не дойду, а вы... Мы картошку солью посыпали, все крошечки подбирали, а вы...»

«Не надо уезжать!.. Моя родина — Казань, как заболит душа, так еду на десять дней... А?.. Возвращайся! Хороший парень! Лучше всех! Приятно на вас смотреть!..»

«Старики мои заболели. Сразу оба, отец, мать... Сколько здесь в среднем платят?»

«Ничего, втянетесь. Сила — это главное. А может, не сила, а кость...»

«Был бы у меня миллион — отдал бы ей, и все».

Генка на мгновение обернулся, взглянул на меня, но ничего не сказал. Может быть, хотел уловить, о чем я думаю. Не о том ли, что и он...

У проходной стояли девушки, мужчины. Вероятно, поджидали с третьей смены мужей, жен.

Пронеслись мимо нас, как угорелые, те солдатики, что поселились рядом. Мы заулыбались и снисходительно посмотрели им вслед. А когда миновали проходную и пошли по центральной заводской аллее, а потом свернули к цеху, Генка толкнул меня:

— Смотри!

Я оглянулся и увидел десяток знакомых лиц: скачками несся Тулейка, распугивая и потешая народ; подволакивая ноги, торопился Степа, коптил, как паровоз; мастер Ильяс сосредоточенно вышагивал, четко ставил каблук. Видно, в бытность рядовым он ходил на левом фланге. Там всегда старательно печатают шаг и очень громко поют: никому не хочется быть последним... Увидел нас, сбился с ноги:

— Здравствуй! — и взял в сторону, словно освобождая для нас место рядом с собой.

Я опять подумал, что напрасно уехал Толик. Что бывает у каждого такое состояние, когда кажется, будто главные события идут стороной, и холодит душу опасность повторить чьи-то напрасно, неважно прожитые жизни, испытываешь тайное смятение перед днем, когда придется сознаться в этом, — но если преодолеть его, увидишь, что дело не в событиях, а в самом тебе. Видимо организм чувствует свои возможности и требует им применения, то есть то, что ты делал до сих пор, должен делать лучше, и это касается работы, учебы, отношений с людьми.

Толику показалось, что проще начать сначала где-то в другой стороне... А мы с Генкой все-таки останемся здесь, на этом заводе... Надо, конечно, учиться, придется еще многое переоценить и обдумать; но главное всегда помнить: одна она — жизнь, одна!

Впрочем, особенно беспокоиться за Толика тоже причин не было. Толик всегда был настойчивым парнем. А что касается отношений между ним, мной и Генкой, то наша дружба не исчезнет бесследно.

У табельной Ильяс притянул нас к себе за руки и заговорщицки спросил:

— Настроение есть?

— Есть.

— А сила? —

— Более менее.

— Парни. Надо сегодня поработать. Пере-выполнить!

И засмеялся сам.

г. Минск.

## СТИХИ

Виктор Урин

Беспартийные большевики

Мне вспомнились народные полки,  
как брали доты  
мы, беспартийные большевики,  
мы — патриоты.  
Вот мы идем по взорванным полям...  
разрывы... свисты...  
Пусть партбилетов не вручали нам.  
Мы — коммунисты.  
Забуду ли, как шел среди могил  
по Приднепровью!  
Я первый взнос партийный оплатил

своею кровью.  
Не знаю, ошибемся, может быть,  
однако скажем:  
свой труд окопный вправе мы сравнить  
с партийным стажем.  
И посреди лютующей зимы  
была отрада,  
что все же члены партии и мы —  
одна бригада.  
И разницы меж нами в этот час  
не видно даже,  
поскольку и задача-то у нас  
одна и та же.  
Мы всюду вместе — почками весны,  
цветеньем лета,  
и гаванью, откуда до Луны  
дошла ракета.  
Люблю свои партийные ряды —  
они огромны:  
в строю — электромачты и сады,  
копры и домны.  
Становится и ярче и видней  
за вехой — вежа  
в партийной, личной карточке моей  
и в судьбах века.  
Маршруты наши отданы векам.  
Пути тернисты.  
Пусть партбилетов не вручали нам.  
Мы — коммунисты.  
Как нестареющие родники  
живой работы  
мы — беспартийные большевики,  
мы — патриоты.

Из книги «Земной шар — XX».

Роберт Рождественский

Латышские стрелки

Берзини, Спрогисы, Клявини...  
Годы людей переплавили.  
Перемололи. Прославили.  
Перетряхнули. Расслабили.  
И разделили их надвое  
не по богам,  
не по нациям,  
не по семейным симпатиям,  
а по фронтам и по партиям.  
Кровью и вьюгами кашляя,  
время спросило у каждого:  
«Ты за кого!..»

Ленцманы, Лепини, Крастыни  
шли, будто в молодость, —  
в красные!  
И застывали — помолвленно —  
го в караулах у Смольного,  
то на простреленном бруствере...  
Сжав кулаки заскорузлые,  
шли батраки и окопники  
в краснознаменные конники.  
Не за церковными гимнами,  
не потому, что прикинули:  
где посытней...

Петерсы, Калныни, Зарини...  
В душном  
вздохмаченном зареве  
под почерневшими листьями  
снились им  
улучки рижские,  
звали их  
дюны прохладные...  
Только дорога до Латвии  
долгой была, как отчаянье.  
Шла сквозь шрапнель Волочаевки.  
Лезла, темнея от голода,  
сквозь Перекопы,  
сквозь Вологды  
и Ангары...  
Янсоны, Лацисы, Кришьяны...  
Над островерхими крышами,  
над Даугавой неслышною.  
над мостовую булыжную,  
над голосащими рынками,  
над просветленную Ригую,  
сквозь переплеты оконные  
на сочинения школьные,  
на палисадники бурые,  
на электричку до Булдури  
падает  
снег...

И из него, как из марева,  
люди выходят  
громadne, —  
вовсе не тени,  
не призраки.  
Смотрят  
спокойно и пристально,  
смотрят  
сквозь ветер напористый...  
Ждут не восторгов,

не почестей,  
не славословий  
за подвиги...  
Просят о малости:  
помните!  
Дозиты, Лутеры, Луцисы  
отдали все Революции.  
Все, что могли.

Шум в сердце

«У вас шум в сердце...» —  
врач сказал...  
Увы, пора кончать  
базар.  
Шум в сердце!  
Надо же!..

Хотя,  
наверно,  
это — шум дождя.  
А может, — госпитальный стон...  
Бинты — светлее,  
чем престол.  
Мы шефы.  
Нам по десять лет.  
Нас ждет  
взаправдашний обед.  
Мы шефы.  
Мы даем концерт.  
У главврача  
смешной акцент,  
когда он нас благодарит...  
Рыдает нянечка.  
Навзрыд.  
Постель пустая, как бельмо.  
На ней —  
невскрытое письмо...

Шум в сердце!  
Странный шум тайги  
пылающей.  
И крик:  
«Беги!!»  
Шофер  
в дымящемся  
рванье.  
Таймень, сварившийся  
в ручье...  
И полз по веткам  
и дрожал  
хрустящий оголтелый

жар.  
Медведица —  
седая вся —  
визжала, лапою тряся...

Шум в сердце!  
Шум метели той.  
Пурги, как флотский борщ,  
густой.  
Бортинженер пропал тогда...  
Давила спины  
корка  
льда.  
Мы,  
как в негнущейся броне,  
брели, хрипя, по целине.  
Брели.  
Костры до неба  
жгли.  
Стреляли.  
Гак и не нашли...

Шум в сердце!  
Отзвуки твоих  
шагов.  
Я снова слышу их.  
Ты шла  
по медленному дню.  
В надежду.  
В новую родню.  
Шла в сплетни.  
Шла в больные сны.  
Шла в губы.  
В звание жены.  
В пеленки.  
В зарево плиты.  
В любовь.  
Так приходила  
ты!..

Шум в сердце!  
Жаркий шум толпы.  
Хмельной,  
встающей на дыбы.  
За мертвых и живых пьяны, —  
солдаты  
ехали  
с войны!  
Солдаты победили смерть...

А где же им  
еще шуметь!



\*

Я богат.  
Повезло мне  
и родом  
и племенем.  
У меня есть  
Арбат.  
И немножко свободного времени...  
Я подамся  
от бумажных  
запутанных ворохов  
в государство  
переулков,  
проспектов  
и дворишков.  
Все, что я растерял,  
отыщу в мельтешении радужном,  
где витой канделябр  
и бетонные глыбины —  
рядышком.  
Где гитары щекочут невест,  
где тепло  
от варений малиновых,  
где колясок  
на каждый подъезд  
десять —  
детских  
и две —  
инвалидных.  
Там, где будничны  
тополя перед спящими школами.  
Там, где булькают,  
как вскипевшие чайники,  
голуби.  
Выхожу не хвалить,  
не командовать уличной вьюгой.  
Просто так улыбаться и плыть  
по Арбату  
седеющим юнгой.

\*

Горбуша в сентябре  
идет метать икру...  
Трепещут плавники,  
как флаги на ветру.  
Идет она, забыв о сне и о еде.  
Туда, где родилась.  
К единственной воде.  
Угаром, табуном,

лавиною с горы!  
И тяжелеют в ней дробиночки икры...  
Горбуша прет, шурша,  
как из мешка — горох.  
Заторы сокруша.  
И сети распоров.  
Шатаясь и бурля,  
как брага на пиру,  
горбуша в сентябре  
идет метать икру!..

Белесый водопад  
вскипает, будто пунш,  
когда в тугой струе  
торледины горбуш.  
И дальше — по камням.  
На брюхе — через мель!..  
Зарыть в песок икру.  
И смерть принять взамен.  
Пришла ее пора, настал ее черед...  
Здесь даже не река.  
Здесь — малый ручеек.  
В него трудней попасть, чем ниткою в иглу...

Горбуша в сентябре идет метать икру!..  
Потом она лежит дождейкой на стекле...

Я буду кочевать по голубой земле.  
Валяться на траве,  
пить бесноватый квас.  
Но в свой последний день,  
в непостижимый час,  
ноздрями ощутив  
последнюю грозу,  
к порогу твоему  
приду я, приползу.  
Приникну.  
Припаду.  
Колени в кровь сотру...  
Горбуша в сентябре  
идет метать икру.

Джемс Паттерсон

Африка

Твои мудрые сказки  
для меня, как священный бальзам.  
Твои ритмы и краски  
я веками вынашивал сам.  
Твои жаркие ласки  
на меня наплывали,

как зной.  
Твои древние маски  
говорили со мной.  
Я родился в те мрачные,  
как наваждение, дни,  
когда одноплеменников  
на бусы меняли вожди  
и текли вереницы людей,  
как скользит якорь-цепь через клюз,  
твои предки,  
Поль Робсон,  
и предки твои,  
Ленгстон Хьюз!..  
Темнолицая женщина,  
молча ко мне подойди.  
Ты не бойся.  
Все худшее — позади.  
Обнаженная ночь замерла, не дыша.  
Я дивлюсь: до чего же ты хороша!  
Все в тебе безупречно.  
Я вижу сейчас  
безупречные  
очертания глаз,  
безупречны  
две маленькие ступни.  
Выйди к свету!  
Мне руки свои протяни!  
Долго плыл твой корабль,  
словно плыл в никуда,  
плыл он сквозь эпидемии, страхи, года.  
Страшно кануть на океанское дно,  
но страшней,  
если в рабстве жить суждено...  
А сегодня,  
прошу тебя,  
вспомни, скажи,  
сколько раз полыхали в тебе мятежи  
и шептала ты ненависти слова,  
умирала  
и все ж оставалась жива!!

## ПРОЗА

### ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

#### О РОМАНЕ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА «ЛЮБОВЬ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ»

О жизни революционеров можно и нужно писать романы. Роман-хроника Василия Аксенова — это несколько страниц из биографии удивительно яркого и сложного человека — большевика, одного из старейших соратников Ленина — Леонида Красина. Именно несколько страниц: студенческие годы, тюрьма, работа в партии накануне первой русской революции, а главное — в дни самой революции 1905 — 1907 годов.

О том, кем стал Красин после Октября, когда под ленинским воздействием в полной мере проявился весь его талант крупного политического деятеля и вся многогранность его личности, читатель может узнать из других книг и другой литературы. Из них узнает он и о наиболее трудных периодах жизни Красина: об отходе от партии в 1910 году, о колебаниях в 1917-м. Но об этих страницах своей жизни не любил вспоминать и сам Красин. Уже давно и хорошо сказано: в истории есть огонь и есть пепел. Время развеивает пепел, огонь ему не дано загасить. Да и нас сегодня в биографии революционера, вероятно, гораздо больше интересуют именно те ее страницы, которые освещены огнем революции.

В романе Аксенова широко используется хроника событий 1905 — 1907 годов, переписка, протоколы и другие документы. И это не фон для романа, а органическая его часть. Но роман Аксенова не панорама, имя которой «905-й год».

Можно было бы тут составить перечень того, о чем автор забыл и что он недосказал.

Боевая группа при ЦК партии, которой руководил Красин, была связана в 1905 — 1907 годах с крупнейшими пролетарскими центрами России, Уралом и Кавказом, Латвией и Эстонией. Помимо экспроприации и транспортировки оружия, боевики готовили дружинников, охраняли партийные совещания и уличные демонстрации, а главное — помогали партии готовить восстание, опиравшееся не на группы боевиков, а на широкие массы рабочих. Но и эта работа была лишь частью их деятельности, тесно связанной с гораздо более многообразной деятельностью всей партии.

Но о том, что выпало из поля зрения автора, опять-таки можно прочесть в специальных исследованиях. Важнее другое. Историк должен ответить на вопрос, когда, что именно и как делали те или иные люди. Роман Аксенова о том, что думали, чувствовали, о чем мечтали эти люди, совершая поступки, вошедшие во все учебники истории.

Перед читателем пройдет пестрая вереница частью реальных, частью вымышленных героев, «человеческие» ситуации, тоже частью вымышленные, а частью исторически точные. Все это создает представление и о времени и о людях революции, о которых Горький сказал как-то, что «к числу радостей, испытанных мною, я искренне причисляю мое близкое знакомство с некоторыми из этих людей».

В романе читатель встретит и боевиков-эсеров, анархистов, тех, которые после поражения декабрьского восстания постепенно превращались в сборище «профессиональных» террористов, фанатиков, авантюристов, а то и просто уголовников, потерявших связь с какой бы то ни было революционной целью или идеей. Именно в этой атмосфере заговора, авантюры и бесконтрольности стала возможной появляющаяся на страницах романа фигура провокатора Азефа — руководителя эсеровской боевой организации.

Встретит читатель и галерею тех, кто «железной рукой» пытался подавить революцию. Это сборище Уевых, Ехно-Егернов, Укучуевых и т. д., заканчивающееся самим Столыпиным-вешателем. Царизм, воплощавший в себе дикость и надругательство над личностью, мог защищать свое существование лишь самыми варварскими средствами. Это и породило столь известный в литературе, довольно однообразный, но классический тип тупого и жестокого русского держиморды — от «простого околотошного» Уева до самого Николая-кровавого.

Им всем и противостоят в романе Ленин, руководители большевистской партии, Леонид Красин, семья Бергов, столь похожая на семью пресненского «фабриканта»-большевика Н. П. Шмидта, рабочий Лихарев и другие рядовые рабочие-партийцы и большевики-боевики, люди кристальной душевной чистоты и убежденности, мужественно делающие свое трудное дело — для партии, революции, народа.

В. ЛОГИНОВ, кандидат исторических наук

ЛЮБОВЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

РОМАН-ХРОНИКА  
(Журнальный вариант)

ГЛАВА I

Нина и Никитич

Да ведь не кричать же?! Не бросаться же в чужие двери! Ну вот, ну вот, скоро уже кофейня... Черт его занес в Авлабар! Гюли могла бы и подождать!

Дождь не уставал. Казалось, что идешь, сквозь ночь, раздвигая стеклярусные шторы. Бурные потоки с пузырями неслись вдоль узких тротуаров. Мтацминда уже слилась с черным небом. Тифлис погрузился во тьму. Сквозь ставни кое-где струился слабый свет. Но ведь не бросаться же к этим ставням, не молотить же в них, не вопить! Да и есть ли причина для такой паники? Силуэт юноши, мелькнувший впереди под фонарем? Юноша в нахлобученной фуражке, толкнувший его плечом и буркнувший «Pardon»? Что они хотят со мной сделать? Я ведь и не знаю ничего, кроме... кроме ерунды вещей... Да, может быть, и юноша-то этот случайный, совершенно случайный, равнодушный прохожий, иностранец, быть может.

Расскажу все, что знаю. Да, все. Жизнь дороже. Молодая жизнь дороже. Кто бы ты ни был: филер! охранки или агент межпартийной контрразведки, — я расскажу все, а потом удеру в Персию...

Авессалом Арчаков не мог сдвинуться с места: от страха. Он стоял, прислонившись к диковинно изогнутой чугунной решетке на крыльце какого-то словно вымершего дома. Вернее, не он сам стоял, тело его стояло, тело Авессалома Арчакова, с которым хозяин его ну никак не мог сладить.

Впереди на углу тускло желтел спуск в спасение — I в кофейню «Отрада». Изредка из «Отрады», поднимались, качаясь, пьяницы и, набычившись, шли через дождь, никого не боясь, — счастливы.

Арчаков двинул-таки свое тело вперед, начал поднимать и опускать ноги. С каждой секундой «Отрада» приближалась. Арчаков уж было совсем осмелел, когда впереди скрипнула дверь и в полосе света появился юноша. Невысокий и ладный, как гимнаст, с тонкими усиками и сахарной улыбкой, он даже не взглянул на Арчакова, нелепо поскользнувшегося в луже, он возился с зонтом и что-то тихо говорил тоненькой барышне, провожавшей его. Да-да, даже не глядел на Арчакова, ему не было до него никакого дела. Эдакий фронт с Головинской, может быть, и князь, завел себе романчик в Авла-баре с купеческой дочкой или внучкой, внучкой-штучкой, курочкой-дурочкой.

Подбадривая себя этой нехитрой рифмовкой, Арчаков дотащился до «Отрады», где обычно после свидания с шерочкой-машерочкой со зверским таким молодечеством хлопал рюмку коньяку и таинственно подмигивал хозяину, а потом тыкал себя большим пальцем в грудь и сокрушенно тряс головой — перед вами, мол, старый греховодник.

Двадцатипятилетний Авессалом очень любил напустить туману, просто-таки обожал недомолвки, ухмылки, кивочки, подмигивания, многосмысленные фразы. Очень он любил показать публике, что он не просто так себе железнодорожный конторщик, что за его плечами тайна, скрытый смысл, грех или опасное дело. Может быть, для того, чтобы и действительно что-нибудь было эдакое, вступил Арчаков не так давно в «Союз социал-федералистов», хотя никакой особой злобы к существующему порядку вещей не питал.

Хозяин, знавший Арчакова, выбежал из-за стойки.

— Что с вами, господин? На вас лица нет.

— Шалва-батано, пошли-ка за извозчиком, — синими губами пробормотал Арчаков, — а мне, Шалва-батано, дай коньяку...

Он упал на стул и закрыл лицо руками. В этом уже был некоторый театральный эффект. Сквозь пальцы он осмотрел зал и огорчился. Никто, кроме хозяина, оказывается, не обратил на него внимания.

В углу за большим столом пиновала компания — человек десять. Только и слышно было: «за нашего дорогого гостя», «за мудрого», «за высокочтимого»...

Заглянула в дверь лукавая худая физиономия кинто. С усов его еще текла вода.

— Привет честной компании! — крикнул кинто и подмигнул сразу двумя глазами. — Есть хороший товар!

Хозяин пугнул плута оскорбленным за честь заведения басом.

Все это Авессалом слышал как бы со дна, все как бы плыло перед ним.

— Послал мальчика за фаэтоном, господин, — сказал хозяин, наливая ему коньяку.

Арчаков не успел и отхлебнуть живительного напитка, как в кофейню спустился и сбросил на стул крылатку... некий юноша... да-да, это тот самый... ужасный, который не терял его из виду весь этот день, а может быть, и всю неделю... может, все время с того проклятого утра, когда откололась доска на ящике и Арчаков увидел...

Невысокий и ладный, с тоненькими усиками и сахарной улыбкой, юноша сел напротив Арчакова и спросил бутылку вина.

Он поднял стакан и приветливо кивнул совершенно уже липкому, как мышь, Авессалому.

— Гагемарджос! Будьте здоровы!

Вошли еще двое в студенческих фуражках и сели справа от Арчакова. Они улыбались ему. Компания, пиновавшая в углу, тоже обернулась к нему — все такие улыбчивые, мягкие.

— Гагемарджос, генацвале, гагемарджос! Хозяин перетирал посуду и прямо весь лучился.

Какие у него собрались приятные господа!

Авессалом хотел было встать — ноги не слушались.

— Шалва-батано... — еле слышно позвал он хозяина.

Вдруг движения вернулись к нему, но в каком-то непристойном, суетливом, трепещущем виде. Достав из жилетного карманчика серебряный рубль, он протянул его хозяину. Рубль прыгал в дымном воздухе «Отрады».

Тот самый... тот ужасный... медленно встал и подошел к Арчакову. Опершись на стол кулаками, он приблизил к Арчакову свое лицо, чуть тронутое оспой. Зрачки его были похожи на затуманенное от холода темное стекло.

— Хочешь, убью? — тихо, но вполне отчетливо спросил он.

— Нет! — с исключительной искренностью ответил Арчаков.

— Иди за мной!

В сводчатой темной комнате, в которой, казалось, навеки устоялся запах вина и нечистот, к Арчакову приблизились три пары глаз и еще один пустой зрачок — бельгийского пистолета.

— Ну, теперь рассказывай! Пей коньяк и рассказывай!

Арчаков жадно выхлестал полстакана — дрожь унялась...

— Кто вы? — тихо вымолвил он.

Юноши молча усмехнулись. Пустой зрачок приблизился.

— Кто вы? — умоляюще сложил руки Авессалом.

— Он хочет знать, кто мы, — сказал один из трех, видимо, главный. — Он хочет знать, кого продает — охранку или «революционеров. Мы социал-демократы... и он это прекрасно знает.

Авессалом вздрогнул, уронил голову в ладони и быстро заговорил. Он стал рассказывать о своем «кружке», о том, что участвовал в собраниях...

Раздался смех.

— Ну да, какие уж это были собрания, так, -пикники, куда уж им до вас, господ социал-демократов... до вас, товарищи...

— Собака тебе товарищ!

— Pardon! И вот недавно я, Авессалом Арчаков, оформлял груз в 6-м пакгаузе, и при этом присутствовали...

— Старшина артели грузчиков Гулиава и городской Потапов?

— Да, господа, вы совершенно правы, именно эти лица. В пакгаузе было много грузов разных фирм, и среди них несколько ящиков фирмы «Перетти и Мирзоянц» — из Баку через Москву в Либаву. Да, господа, при передвижке совершенно случайно у одного ящика отвалилась доска, и выпала пачка... хм... литературы, листовки, листовки, господа, прокламации!

А было так: едва взглянув на эту проклятую пачку, Арчаков сразу понял, что это такое, потому что все-таки на неких крамольных пикничках иной раз и зачитывалось нечто подобное. Быстро сунув пачку обратно, он накричал на грузчиков, велел поаккуратнее зашить ящик, обернулся и увидел, что старшина грузчиков и городской смотрят на него к а к-т о странно. Он похолодел, да, похолодел, нервы никуда уже не годятся, напрочь расшатаны.

Неужели Гулиава и Потапов догадались, что за груз в ящиках фирмы «Перетти и Мирзоянц»? Но почему они молчат? Ждут его действий — ведь он здесь главный. А может быть, они ничего и не поняли, а просто смотрят на него с привычной своей воловьей тупостью?

Всю ночь Арчаков думал об этих взглядах, всю ночь прислушивался — может, уже идут за ним?

Под утро возникли какие-то непонятные зловещие звуки. Они приближались. Он бросился к окну и увидел конницу. Медленно по их улице в сторону Кутаисского тракта шел драгунский полк. Он долго смотрел на это движение, на покачивающихся в седлах драгун, на темляки сабель, карабины, на лица — одно к одному, усатые, без тени сомнения, без тени чувств, на мощные, матово светящиеся крупы лошадей. Потом пошли артиллерийские упряжки, пушки, зарядные ящики... Куда двигались эти войска?

Арчакова охватил ужас, когда он представил себе всю мощь, малая толика которой прошла сейчас под его окнами, и всю империю от Царства Польского до японских морей, всех драгун и казаков этой империи, все пушки и новое адское оружие — пулемет, — всех жандармов и околоточных надзирателей... А броненосные эскадры, закрывающие своим дымом полнеба? И все это движется непостижимыми для малых сих путями, все движется целенаправленно по мановению руки венценосца... Что рядом с этим жалкие бумажки, взывающие к справедливости? Что такое демократия, конституция, парламент? Что такое он, Авессалом Арчаков? Как эфемерна его...

— Подумайте сами, господа, чего мне стоила эта ночь.

— Ну, довольно, — оборвал его тот, главный. — Короче говоря, утром ты был уже в охранке. Кто тебя допрашивал?

— Его высокоблагородие полковник Шаринкин, Трое многозначительно переглянулись.

— За ночь ящики с прокламациями куда-то исчезли. Арестованы были и Гулиава, и Потапов, и еще ряд лиц со станции. Меня держали в охранке двое суток. Оказалось, что фирмы «Перетти и Мирзоянц» не существует ни в Тифлисе, ни в Баку, а ящики были отправлены из Баку, господа... Там, возможно, тоже кого-то взяли...

— Федералистов всех выдал?

— Всех, кого знал... Но их не тронули, господа... На третий день и меня выпустили.

— Какое получил задание?

— Господа! Можете мне не верить...

— Слушай, Арчаков, ты должен понять, что теперь вся твоя жизнь взята на мушку. Даже его высокоблагородие не спасет тебя от этой штучки... Говори!

— Мне поручили усилить свою революционную деятельность, нащупать связь с вами, господа, с другими кружками... Сообщать полиции все, что я услышу о Нине...

— О какой Нине?

— Не знаю... Они сказали: как услышишь что-нибудь о Нине, сразу беги сюда. Кроме того, их интересует человек по имени Никитич...

— Ну, иди, Арчаков, гуляй пока. Но мы о тебе помним. Ты это знай.

Дверь «Отрады» закрылась.

«...Совершенно необходимо уехать в Персию», — подумал Арчаков, и тут же от стены отделился мокрый мужичонка с рысьими глазами. Охранка!

На исходе 1903 года Тифлис заливали бесконечные дожди...

## ПОЛИЦИЯ

### ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ. ОСОБЫЙ ОТДЕЛ 102. 1891 г. № 457(1)

О сыне надворного советника Леониде Борисове Красине.

Листок надзора составлен 3 мая 1891 посла исключения Л. Б. Красина из С.-Петербургского технологического института за участие в беспорядках во время похорон Шелгунова.

Отец Борис Иванович — окружной исправник в Тюмени.

Мать — Антонина Григорьевна...

...Господин товарищ Министра признал нужным воспрепятствовать Л. Б. Красину жительство в столицах и городе Казани в течение трех лет (лето 1891).

### ИЗ ПИСЬМА С ПОДПИСЬЮ «ЛЕОНИД КРАСИН» ОТ 3/X.1891 ИЗ Н. НОВГОРОДА В С.-ПЕТЕРБУРГ

«...может быть, «виды» государственной безопасности и побудят кого следует воспрепятствовать мне докончить образование (образованный техник почему-то признается более вредным, чем недоучка), но я все же буду пробовать пристроиться к этой сфере деятельности.

Вообще радужных надежд на возвращение не питаю, потому что Делянов... с истинно министерскою беззастенчивостью аттестует «подлецами, мерзавцами, мошенниками» всех выгнанных за шелгуновские похороны... оказывается «Шелгунов-то с Чернышевским был знаком!»

## СПРАВКА ОСОБОГО ОТДЕЛА

«...В 1892 году Л. Б. Красин был привлечен к дознанию по делу о Московском тайном, кружке («Временный исполнительный комитет»). При обыске у него нашли письмо, писанное к родным и неотправленное, где автор дерзко порицает действия Правительства и объявляет решимость примкнуть к протестующей молодежи».

### ИЗ ПИСЬМА ВОЕННОГО МИНИСТРА. ПО ГЛАВНОМУ ШТАБУ 3.7.1892.

«...служащий с октября месяца 1891 г. вольноопределяющимся Красин продолжал сношения с неблагонадежными элементами и с деятелями тайных кружков, ввиду чего арестован и передан Московскому управлению».

...В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ... ОТ 16/X11-94

«...привлеченный в качестве обвиняемого в... преступлении и отданный под особый надзор полиции дворянин Леонид Борисов Красин не принял присягу на верноподданность его Величеству Государю Императору...»



...Заключен в Воронежскую тюрьму сроком на три месяца по предложению Господина Товарища Министра Внутренних дел.

...От Департамента полиции объявляется сыну надворного советника запасному унтер-офицеру Л. Б. Красину, что на основании Высочайшего повеления, последовавшего в 7 день декабря 1894 г., в разрешение дознания по обвинению его в государственном преступлении он, Красин, подлежит одиночному тюремному заключению на три месяца с подчинением затем в одном из северо-восточных уездов Вологодской губернии надзору полиции на три года...

#### ...ИЗ ПРОШЕНИЯ ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ВНУТРЕН. ДЕЛ СЫНА НАДВОРНОГО СОВЕТНИКА ЛЕОНИДА КРАСИНА ОТ ЯНВАРЯ 1895

«...продолжительное одиночное заключение в Московском тюремном замке... послужило источником упорной грудной болезни, делающей для меня настоятельно необходимым пребывание в местах, где всегда можно было бы пользоваться советами врачей и где климатические условия были бы благоприятны или по крайней мере привычны для моего организма: ни того, ни другого нельзя ожидать в глухих местностях северо-восточной части Вологодской губернии.

...Почтительнейше ходатайствуя перед Вашим Высокопревосходительством о разрешении мне отбыть срок наказания в месте постоянного жительства моих родителей, я имею в виду не только удовлетворение своей собственной сыновней потребности, но и возможное облегчение того нравственного бремени, которым лежит на моих родителях постигшая меня участь.

Прискорбное стечение обстоятельств... прервало и мое техническое образование в Технологическом институте, в котором успешно пройдены первые 3 курса.

...Питая надежду, что Вашему Высокопревосходительству угодно будет принять вышеизложенные обстоятельства во внимание, я решаюсь почтительнейше просить о зачете мне в наказание времени, проведенного в предварительном тюремном заключении, о возможном применении ко мне милости Высочайшего Манифеста и о замене назначенных мне для житья северо-восточных уездов Вологодской губернии городом Иркутском... который как одно из средоточий работ по постройке великого Сибирского железнодорожного пути позволит рассчитывать на возможность практики и заработка по технической части...»

#### ИЗ ПИСЬМА ВОРОНЕЖСКОГО ГУБЕРНАТОРА (АПРЕЛЬ 95)

«...сын надворного советника Л. Б. Красин 23 февраля сего года приведен к присяге на верность подданства...»

Он вошел в буфет первого класса и небрежно протянул швейцару свою богатую меховую шапку, подаренную вчера старым другом Робертом Классоном. Менее уверенно он освободился от выдавшего вида коврового портплекда, приобретенного еще в пору студенческого питерского житья и служившего ему по назначению, а также в качестве подушки, кресла, а иногда и единственного друга по всем тюрьмам и этапам. Он дерзновенно улыбнулся прямо в глаза швейцару, но пышнобородый идиот с изумлением уставился на его сапоги, и только всплывающий в буфет купчина отвлек его от этого зрелища.

Что ж такого особенного в его сапогах? Нормальные, почти целые сапоги. Разбитые. Пусть разбитые, но зато начищены-то как! Какой неотразимый блеск! А как разит ваксой! Сразу на всю залу! Вон барышня в углу под пальмой морщит носик, даже не понимая, откуда проник этот мощный запах.

Бодро он прошествовал мимо барышни и занял столик у окна.

— Графинчик, закуски, кофею и «Биржевые ведомости», — распорядился он и замер, напрягся, стиснул зубы, чтобы скрыть восторг, когда на стол легла месячная «Биржевка» на лакированной палке.

Да-да, вот так запросто спросить газету, читать газету без разрешения его высокоблагородия полковника Иванова, опрокидывать запотевшую рюмочку, подцеплять вилочкой ломтик семги или грибок, не напрягаться при резких звуках за спиной — это не «глазок» открылся, а просто кто-то двинул стул... О сладкий запах свободы! Вот это и есть свобода, и пахнет она лимончиком, чистой скатертью, свежим хлебом. Маленькая жалкая свободочка, оценить которую может только бывалый арестант.

А какой ценой ты это купил? Почтительнейше ходатайствую... прискорбное стечение обстоятельств... Приведением к присяге на верность Его Императорскому? Еще три месяца назад ты отказался от этой присяги, чем поверг своих тюремщиков в священный ужас. Ты был горд и одинок тогда. Впрочем, какой прок биться без конца с ветряными мельницами? Все эти фразы, пусть унижительные для мыслящего человека, всего лишь форма. А присяга тирану? Разве может она наложить на тебя какие-нибудь моральные обязательства? Главное — сбить их с толку. Надо накопить силы, надо выбраться из ссылки и непременно стать инженером, получить диплом. Ты должен научиться строить по-настоящему, не хуже, чем в Европе, лучше, чем в Европе, ты должен постичь электротехнику, постичь смысл электричества, ты... Да, Ваше Высокоосиятельное Толстобрюшие, мне еще нет двадцати пяти лет, и я буду инженером, буду первоклассным инженером, а там посмотрим, посмотрим...

Посмотрим пока, что происходит в мире. Так, Япония и Китай подписали в Симоносеки мирный договор, тогда как Италия героически сражается с Эфиопией, а Франция милосердно установила протекторат над Мадагаскаром. Одновременно с этими событиями многоопытный садовник-пчеловод, удостоенный призов и наград, предлагает свои услуги по весьма умеренной цене... Вот любопытное сообщение из Франции. Некие господа Люмьеры, братья, изобрели движущиеся фотографии. Эффект движения удивительный, парижская публика потрясена. Что-то происходит с человечеством: открытия одно удивительнее другого чуть ли не каждый месяц поражают умы. Еще в Воронежском центре он прочел о проникающих икс-лучах Рентгена, об опытах флотского офицера Попова над беспроводным — подумать только! — телеграфом. Мир стоит на грани удивительных событий в науке и в общественной жизни. Сумеет ли он стать участником событий?

Он посмотрел в окно на перрон. Там пробегали вековечные российские бабки с мешками, лепил мокрый мартовский снег, валил дым из высоких паровозных труб, в толпе под сонным оком железнодорожного жандарма шли мелкие торговые операции. Зазвонил колокол, и, словно от этого звона, через полуоткрытую форточку в буфет залетел ветер, пахло мокрым снегом, бесконечным простором страны, и вчерашний арестант мгновенно взбодрился. Перед ним была ссылка, Сибирь. Но Сибири он не боялся, а, напротив, знал ее и любил. Впрочем, не было сейчас такого угла на земле, который бы испугал его.

Он отважно протопал через залу в своих, правда же, отличнейших сапогах, получил богатую свою шапку и замечательный свой портплед и вскоре прошествовал мимо окон по перрону, провожаемый долгим взглядом барышни из-под пальмы.

— Какое одухотворенное лицо у этого юноши! — проговорила барышня. — В нем есть что-то от народовольца.

— Вздор! — выперхнул ее спутник через заливную поросятину.

ПОЛИЦИЯ

ОТ ИРКУТСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

«...за время проживания в г. Иркутске Красин ни в чем предосудительном не замечался и поведения вполне одобрительного».

#### ИЗ ПРОШЕНИЯ Л. Б. КРАСИНА

«...стремясь к законченному техническому образованию... честь имею почтительнейше ходатайствовать перед Вашим Превосходительством о разрешении мне окончить образование в Санкт-Петербургском технологическом институте Императора Николая I...»

#### ОТ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ

«...признается возможным разрешить жительство Красину в Харькове или Риге, если он будет принят в один из институтов».

#### ИЗ ПИСЬМА Л. Б. КРАСИНА БРАТУ ГЕРМАНУ (ФЕВРАЛЬ 1898)

«...В последние дни, вероятно, чтобы разнообразить хоть несколько мое существование, полиция завела со мной переговоры. По словам глуповатого помощника пристава, «Министр вн. дел интересуется знать, поступили ли вы в Технологический институт».

30.V.1900 Л. Б. Красин выбыл из Харькова в Москву, но туда не прибывал.

В июле 1901 года начальник Харьковского губернского жандармского управления уведомил, что Красин выбыл из Харькова неизвестно куда.

В апреле 1902 года начальник Бакинского жандармского управления уведомил, что состоящий под негласным надзором полиции Л. Б. Красин обнаружен на Биби-Эйбатской станции об-ва «Электрическая сила» близ г. Баку, где служит заведующим ее с 1900 года...

Несмотря на непогоду, работы на Баиловом мысу возле Баку не прекращались. Отчаянно свистели и пытели локомобили, ухали в трех местах чугунные бабы, со всех сторон неслись крики десятников, ругань и пение рабочих, волжское оканье, московское аканье, пронзительная татарская речь, иной раз сквозь этот хор прорывались сольные партии иноземцев: немцев, шведов, англичан — кого только не было на строительстве Биби-Эйбатской электростанции!

Красин тревожился за группу рабочих на плоском островке саженях в ста от берега, которые ставили там опоры для эстакады. В обычное время к этому острову можно было пройти пешком по мелководью, что эти рабочие и делали ежедневно, но сейчас северо-восточный ветер гнал такие огромные серо-зеленые валы, что и островок сам и люди, там находившиеся, окончательно скрылись из виду.

Красин пробежал, балансируя, по доске, брошенной через грязное месиво, к своей командной вышке, вскарабкался на нее, приставил к глазам бинокль. Рабочие на островке почти все собрались на небольшой кочке, размахивали руками и пытались перекричать шторм, и только трое продолжали кайлить землю, не обращая внимания на свирепую стихию; работа, должно быть, их успокаивала.

Красин закричал в рупор, который рабочие по привычке называли «матюкалкой».

— Баранов! Плоцкий! Немедленно найдите лодку! Нужно протянуть туда канат! Если ветер усилится, им будет худо!

С острова, видимо, заметили фигуру на вышке. Суматоха прекратилась, люди начали сооружать навес из мешковины и досок.

Наверняка они узнали Главного, а Главному на стройке привыкли верить. Молодой начальник, строгий, а вроде бы и свой.

Вышка скрипела и качалась под порывами ветра, однако Красин не спускался. Он оглядывал роящийся муравейник стройки, законченное уже главное здание станции, три жилых дома, асфальтовые дорожки... Сколько слов он потратил для того, чтобы убедить бакинских тузов в том, что «электрическая система передачи энергии самая лучшая»! И вот теперь работа почти закончена, и он гордился, отчаянно гордился своим, таким невероятно могучим первенцем. Успех в этом деле заряжал его энергией и уверенностью в собственных силах. Так или иначе, он сбил «их» с толку, он вырвался. А остальное — впереди.

За спиной его заскрипели доски. Он обернулся: инженер Майкл О'Флаэрти карабкался на вышку.

— Хау ду ю ду, мистер Красин! Элау ми, сэр...

— Давайте по-немецки, Майкл, или по-русски, пора бы научиться.

— Олл райт! По-русски. Ай идет от ваш команд ин тери час остро афтанун, бат, сорри, однако...

— Нет уж давайте по-немецки! — рассмеялся Красин.

О'Флаэрти отчаянно захохотал. Сорокалетний жилистый ирландец никогда не упускал возможности изо всех сил расхохотаться.

— Я пришел, Красин, ровно в три часа, — сказал он. — Не «часика в три», как обычно говорят русские, а точно по вашему приказанию...

— Ну-ну, Флаэрти, вы же видите, какой шторм. Мне пришлось отложить все дела. Мы займемся с вами, когда вытащат тех, на острове.

Ирландец облокотился о перила. Ветер трепал его светлые, с редкими сединками бакенбарды.

— Да, красиво! Я не думал, что здесь может быть такой шторм. Как в Калифорнии... Кстати, отсюда я еду в Калифорнию, подписал контракт с одной американской фирмой. Хотите, поедем вместе?

— Что, в Калифорнию? — удивился Красин. — Нет, спасибо, у меня и здесь много дел.

— Но там больше возможностей и колоссальные деньги! Я работал в пятнадцати странах, но нигде не зарабатывал столько, сколько в Штатах. Такой инженер, как вы, может стать там миллионером.

— Почему же вы им не стали? — усмехнулся Красин.

— У меня есть порочные склонности, — вздохнул ирландец. — Я игрок. (

Красин увидел в бинокль, что рабочим удалось протащить лодку через линию берегового взброса, линзы приблизили к нему немо оружие мокрые лица, вздувшиеся жилы, слипшиеся бороды.

— В самом деле, хотите, я напишу о вас в Сан-Франциско? — спросил О'Флаэрти.

— Спасибо, но у меня и дома очень много дел. Очень много...

— Понимаю, вам хочется строить на родине, вы патриот, но мне кажется, что в России скоро нельзя будет строить.

Это прозвучало так неожиданно, что Красин даже на минуту забыл о лодке.

— Это почему же, сэр? Почему вам так кажется?

— Видите ли, Красин, я был, как вы знаете, месяц назад в Москве и видел там в один день две демонстрации. Одна несла портреты царя и иконы, другая — красные флаги и социалистические лозунги, каких и в Европе не увидишь. Это очень страшно, Красин, когда сталкиваются две противоположно заряженные массы. Поверьте старому бродяге, это страшно...

— Вон вы чего боитесь! — усмехнулся Красин и снова взялся за бинокль.

— Я слежу за вашими газетами, читать по-русски я умею гораздо лучше, чем говорить. Вчера один студент убил министра внутренних дел Сипягина. Что это, по-вашему? Россия на пороге страшных событий. Так что, если хотите строить электростанции, едем со мной в Калифорнию.

— Лодка перевернулась! — закричал Красин и бросился вниз.

— Куда вы, сэр? — заорал О'Флаэрти.  
— Туда! Хотите со мной? Я слышал, что ирландцы смелые ребята!  
— Вас не обманули! — захохотал инженер и, выпятив для храбрости подбородок, последовал за Красиным.

## ПОЛИЦИЯ

### ПРОШЕНИЕ Л. Б. КРАСИНА ОТ 29 ИЮЛЯ 1902

«...О снятии запрещения проживать в столицах мне до сих пор не было объявлено, из чего я должен заключить, что оно остается в силе. Между тем мне по служебному моему положению нередко представляется надобность бывать в Петербурге и Москве...

...Поэтому я имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство снять с меня упомянутое запрещение и разрешить мне въезд в обе столицы».

...22 августа 1902 года Департамент полиции сообщил Московскому генерал-губернатору и СПб-му градоначальнику о разрешении Л. Б. Красину проживать в столицах.

Бакинское «общество», промышленники и финансовые тузы, было приятно взбудоражено гастролями Комиссаржевской. Казалось, что знаменитая артистка принесла с собой дыхание непонятной кипящей жизни беспокойного Севера, тревожный ветерок обеих столиц. Знаменитость чествовали непрерывно, приемы и обеды следовали один за другим.

Провинциальная роскошь стола забавляла Комиссаржевскую, смешили долетавшие из-за хрусталя разговоры, в которых либеральные восклицания сменялись гастрономическими восторгами.

— Господа, сегодня в газетах: суд приговорил кишиневских печатников-эсдеков к пожизненной ссылке! Какое варварство!

— Рыбы, господа! Попробуйте рыбы! Божественна!

— Дикость! Когда это наконец кончится?!

— А по-вашему, орденами заговорщиков должно государство награждать?

— Да почему орденами?! Варварски свирепый приговор! Азия неистребимая!

— А вы как считаете, Леонид Борисович?

— Конечно, чересчур суровый приговор.

— Ох, либералы, либералы, всех бы... пардон...

— Внимание, господа, гвоздь программы — индейка с орехами!

Перед Верой Федоровной на столе лежал невероятный букет, приподнесенный купечеством, букет из сотенных ассигнаций. Иногда актриса поднимала букет и смешно морщила нос, словно нюхая столь необычные цветы, чем вызывала вокруг умиление. Ай да мы, ай да бакинцы! Знайте, милостивая государыня, это вам не какой-нибудь Тамбов!

Лишь один, на дальнем конце стола, человек с прямой осанкой, с красивой, коротко остриженной головой словно бы совсем не обращал внимания на именитую гостью, а если и взглядывал иногда, то во взгляде его Вере Федоровне чудилась быстрая лукавая усмешка. Она прислушивалась к разговору на том конце.

— Значит, Леонид Борисович, вы считаете, что 'приговор слишком строг?

— Я считаю, что индейка бесподобна, сударь. Так и передайте.

...Ночью Комиссаржевская тихо вышла на веранду и положила букет из ассигнаций на балюстраду. То ли от каменных плит, то ли от близкого фонтана повеяло сыростью. В глубине сада скрипнули петли железной калитки, и по узкой аллее, испещренной тенями крупных южных листьев, быстрой, легкой походкой прошел некто, таинственный в ночи... Вот он взбежал по ступеням на веранду. Комиссаржевская зябко закуталась в шаль, стараясь унять волнение.

— Ваши цветы пахнут типографской краской...

## ПОЛИЦИЯ

Сведения, полученные при наблюдении к декабрю 1903 года.  
«...Л. Б. Красин ни в чем предосудительном не замечен».

Хлопья снега летели в окно и покрывали стекло так быстро и ловко, словно занималась этим не ранняя капризная зима, а некий расторопный дворник.

Андреева, Горький и Савва Морозов ужинали втроем после очередного спектакля «На дне». Савва Тимофеевич много ел, много пил и много говорил о горьковской драматургии, о перспективах Московского Художественного театра и был весьма удивлен, чуть ли не испуган неожиданным вопросом Андреевой:

. — Савва Тимофеевич, как ваши электрические дела в Орехове?

— Ничего, подвигаются... Нашими расейскими темпами.

— А я вам нашла случайно великолепную кандидатуру, — оживленно заговорила Андреева. — Талантливый молодой инженер, настоящий европеец...

— Кто же это?

— Леонид Красин. Он...

— Он уже дважды рекомендован мне вами, сударыня, — усмехнулся Морозов. — Максимыч, вас не волнует этот неожиданный интерес Марии Федоровны к электричеству?

— Не волнует, — прогудел Горький. — Я сам интересуюсь электричеством.

Морозов промолчал. Он прекрасно понимал, чем занимается этот «настоящий европеец», помимо электричества, и почему за него так рьяно хлопочет Андреева.

Два крупных жандармских чина, а именно Бакинского губернского жандармского управления полковник Укучуев и прибывший третьего дня из Петербурга подполковник Ехно-Егерн, тихо беседовали в ложе бенуара бакинского театра.

— Прекрасный певец, не так ли, Александр Стефанович?

— На мой вкус, сладковат, Михаил Константинович.

— Это в вас столичная пресыщенность говорит...

— О, нет!

Полковник Укучуев был чуть ли не в два раза старше подполковника Ехно-Егерна, этого пшюта столичного, полячишки с моноклем, французика квелого, паркетного шаркуна, которому, видите ли, певец замечательный не нравится, солист Его Величества, преотличнейший певец с тончайшим голосом.

...Мое сердце любовью трепещет.

Но не знает любовных цепей, —

спел певец и сделал рукой энергичный и как бы вдохновенно-сумасбродный жест. Певец был усат, носил модную эспаньолку и походил скорее на гвардейского офицера, чем на певца, что не было удивительно: всей музыкально грамотной публике, включая государя, было известно, что кровей артист отменных.

В антракте в ложе бенуара мирная и вроде бы не лишняя приятности, во всяком случае, вежливая беседа продолжалась.

— Рискую показаться неразвитой натурой, Михаил Константинович, я все же должен вам сказать, что отношусь к опере критически... — Говоря это, Ехно-Егерн поблескивал моноклем, наблюдая ловкие движения капельдинера, откупоривающего бутылку «Финь Шампань». — Порой при разыгрывании оперных сцен с современными певцами случаются нелепейшие конфузы. Вот, например, этот самый господин, наш сегодняшний кумир, в Мариинском театре разыгрывал с одной итальянской дурой пудов эдак восьми «Похищение из сераля»...

«Что ты тут бормочешь, что ты тут лепечешь, жмудь болотная... — думал полковник Укучуев, ласково щуря глазки, кивая носом. — Меломан, видите ли, знаток! Чухонец!»

Молодой подполковник прибыл из Санкт-Петербурга с поручением вроде бы незначительным и не особо спешным, но все местное начальство, а Укучуев уж в первую голову, понимало, что вояж этот инспекционного свойства, что выскочке предписано составить мнение о закавказских слугах порядка, об их рвении, умении, об их ловкости. Укучуев перед шаркуном столичным гнуться не собирался, однако и не выказывал провинциального чванства, беседовал ласково, отечески, каждое словечко подвешивал и осматривал как бы со стороны — подойдет ли. «Полячишка» тоже, надо отдать должное, искусно вел игру — держался скромно, почтительно перед старшим по званию и по возрасту, только лишь моноклем напоминая, кто он таков. Так вот они и беседовали уже третий день, прощупывая друг друга, проясняя, примериваясь. Вопрос ведь так еще стоял — кто на кого первым напишет.

— Я вам не надоел, Михаил Константинович?

— Помилуйте, Александр Стефанович, с преогромным любопытством жду обещанного рассказика.

— Ну-с, итальянку, кряхтя, уносит со сцены в замок десяток — полтора янычар, и она из замка поет божественным голосом. Пылкий влюбленный, распевая арию, лезет по лестнице, башня скрипит, качается. Влюбленный прыгает на башню, башня рушится, а за нею и весь сераль, и перед изумленной публикой предстает примадонна в распушенном корсаже...

Полковник гулко похотал, гулко, но умеренно:

— А все же согласитесь, Александр Стефанович, верхнее «до» у нашего гастролера отменное...

— Согласен, Михаил Константинович. Слава этого артиста вполне заслуженна. Я ведь только о своем личном вкусе говорил, о своих взглядах на вокальное искусство...

— Известно, что государь всем тенорам предпочитает этого. Так ли? — Полковник чуть прищурился от удовольствия — вроде бы малость подловил поганца.

— Да-да, — небрежно подтвердил Ехно-Егерн и этой небрежностью полковника весьма ущемил.

— Кстати, Михаил Константинович, вам известно, что певец этот не однофамилец, а родной брат государственной преступницы?

— А за что же мне жалованье платит имперская канцелярия, позвольте спросить? — В тоне Укучуева впервые что-то раздраженно звякнуло.

Ехно-Егерн весело рассмеялся.

— Простите, ваше высокоблагородие, за нашими спорами я совсем и позабыл, что мы с вами одного ведомства. Я просто лишний раз подумал, как разны порой складываются судьбы близких друг другу людей. Старшая сестра вот уж два десятка лет в Шлиссельбурге, а брат — благополучнейший из смертных, благоухающий талант, любимец государя... Что же остановило молодого человека, что помешало ему вступить на опасный путь сестры?

— Вовремя понесенное сестрицей суровое наказание, — сказал полковник, — вот что остановило его.

— Помилуйте, Михаил Константинович, мы-то с вами знаем и другие примеры. Ну вот вам... брат одного из казненных в 1887 году — сейчас лидер эмиграции, виднейший социал-демократ... вы знаете, о ком я говорю...

— Я бы предусмотрел какую-то степень наказания для членов семей государственных преступников, — с неожиданной мрачностью сказал полковник.

— Михаил Константинович! Ну уж знаете ли!

— Ну, не наказания, но какого-то пресечения, — поправился полковник. — В столицах должны понять: наш либерализм до хорошего не доведет. Большие и тайные организованные силы ведут разрушительную работу в государстве.

Ехно-Егерн поставил свой бокал на полированный столик и внимательно посмотрел на полковника, с лица которого сползла наконец защитная маска добродушного хозяина. Вот наконец они набрали на серьезную тему. Именно в этом направлении поручено было подполковнику прощупать настроения в провинциях. В Петербурге лучше, чем в Баку, было известно о силах, подтачивающих империю. Что делать, как обуздать крамолу? Искоренить ли одним решительным ударом или направить в другое русло, изолировать, завести в трясину?

— Должно быть, вам известно, Михаил Константинович, что паровая машина снабжена обязательным клапаном, через который отходят излишки пара, — тихо заговорил Ехно-Егерн. — Такие клапаны предохраняют машину от взрыва...

— Понимаю, к чему, вы ведете, Александр Степанович... — начал было полковник, но молокосос мягким прикосновением длинной руки остановил его.

— Я ничего не утверждаю, Михаил Константинович, я пытаюсь размышлять. Не ожесточаем ли мы молодежь неумеренными порой репрессиями? Возьмите позапрошлогодную историю с манифестацией у Казанского собора. Ну, пошумели бы студенты, покричали, в конце концов во всех цивилизованных странах вполне спокойно относятся к таким эксцессам. Англичане, так те даже считают, что демонстрации оживляют повседневность.

Гость не сводил внимательного взгляда с лица полковника. Лицо полковника не выражало ничего.

— Кстати, один из резидентов нашей заграничной агентуры рассказал мне интересный случай, — продолжал Ехно-Егерн. — В Лондон приехал какой-то наш ужасный революционер, беглец из Нарымского края. И вылез однажды с речью перед «братьями по классу» — докерами. Долой, кричит, всех лордов и капиталистов, да здравствует власть рабочих! Прямо перед ним цепочка полицейских. Наш борец только раскаляется — он уже английские кандалы как бы примеривает... Ну-с, докеры ему аплодируют, а «бобби» молчат. «В чем дело, — спрашивает бунтарь у своего товарища, опытного эмигранта, — почему они меня не заковывают в железа, не тянут в Тауэр?» «Вот если бы ты вздумал рвать цветы на ближайшем лауне, тогда бы тебя поволокли в кутузку. А так — сотрясай на здоровье воздух, сколько твоей душе угодно...»

Монокль взлетел и запрыгал под трель молодого, здорового смеха. Укучуев еле выдавил из себя улыбку.

— В том-то и дело, голубчик, что русский мужик первым делом на лаун ваш... сами знаете что сделает, не говоря уже о наших азиатах. Ну, а что касается англичанцев, — он нарочно, от злости сказал «англичанцев», — то они в Индиях своих не особенно-то церемонятся. Давно ли бурам-то кишки выпускали?!

— Много справедливого есть в ваших словах, Михаил Константинович, — продолжал провоцировать Ехно-Егерн, — но... — он наморщил лобик, изображая напряженную работу мысли, — но, понимаете ли, в среде молодежи формируется новый тип, тип разрушителя, бомбиста, фанатика... Это как бы каратель карателей. Суд на суд, расправа за расправу... В ответ на события у Казанского собора Карпович убивает министра Боголепова. В прошлом году мы потеряли министра внутренних дел. В этом году сразу после расстрела смутьянов в Златоусте убили губернатора Богдановича... И самое ужасное, что террорист, агитатор, революционер становится среди так называемой передовой молодежи популярной, если хотите, модной фигурой. Нет, Михаил Константинович, как хотите, с молодежью у нас неблагополучно. Одной дубинкой с ней уже не сладишь. Нужно изобрести клапан...

И при этих словах Егерн извлек стекляшку из глазной впадины и выжидательно уставился на полковника.

Укучуев налился кровью, тревога стеснила грудь, но прошло полминуты, и отпустило... он с облегчением подумал: «Ловишь, да не поймашь. Есть у меня принцип, и никуда я от него не отойду. Не сшибешь, не запутаешь, норвежец малосольный!»



— Позвольте уж не согласиться с вами, — с некоторой даже сухостью начал он. — Да вы часом не либерал ли? Никаких клапанов нам изобретать не надо, а опыт нашим ведомством накоплен немалый, — конец этой фразы прозвучал весомо, чугунно, самому понравилось, — и четырежды строгостью можно лишь уберечь нашу молодежь от пагубного влияния иностранцев и евреев. — Тут вдруг полковника вроде бы озарило, и он даже привстал, вглядываясь в лицо своего гостя. Уж не выкрест ли? Увы, никаких семитских примет опытный его взгляд в лице этом не заметил. — Строгостью, и только строгостью! Да вот вам пример! — оживленно продолжал он, бокальчиком тыча в зал, куда уже возвращалась из фойе публика. — Взгляните на господина в третьей ложе бенуара. Ну да, вон тот, что подвигает сейчас кресло даме...

Ехно-Егерн увидел стройного молодого мужчину, вечерний костюм обтягивал его фигуру, как перчатка. Мужчина сел рядом с темноглазой дамой, что-то сказал ей, улыбнулся, тронул маленькую бородку. Дама взглянула на него и тотчас опустила глаза, как бы пытаясь скрыть смущение и нежность.

— Инженер Леонид Красин, заведующий Биби-Эйбатской станцией общества «Электрическая сила», — шепотом пояснял Укучуев. — Тоже в юности шалил и понес наказание, к счастью для него, строгое. И вот расстался с социалистическими бреднями, возглавил крупнейшее в губернии строительство. Вы бы видели, как работал — ну, просто американец! Вот что значит вовремя жилку подрезать, а вы говорите — клапан...

Красин не слушал певца. Даже ария Каварадосси, всегда волновавшая его, сейчас прошла по границе сознания мутной полосой тревоги. Он думал о Любе. О Любе и о прошлом, о будущем, о Любе... Впервые они сидят в театре рядом, вдвоем, впервые им ничего не угрожает...

Заслонившись ладонью, он украдкой смотрел на ее поднятое лицо, на высокую шею с первой поперечной морщиной, на глаза, светящиеся неподвижным и словно бы вечным счастьем. Он боялся шелохнуться, чтобы не вывести ее из этого блаженного оцепенения.

Когда они впервые встретились? Лет пятнадцать назад. В тот день они с Брусневым час или полтора просидели над сиротскими, ослизлыми котлетами, рассуждая о «Капитале», о российских противоречиях, о народниках. Столовая «Техноложки» была единственным местом, где можно было не опасаться педелей.

Потом он вышел на Забалканский проспект, увидел зеленый балтийский закат и захлюпал по осенним лужам, подставляя лицо морскому европейскому ветру, чувствуя какую-то непонятную, счастливую тревогу.

Через несколько шагов они встретились ему — шумная ватага, человек десять. Там были Классон, юный Кржижановский, какой-то субъект лет тридцати, с внешностью вечного студента, отошедший уже в прошлое тип длинноволосого нигилиста; были там две-три девушки, и, когда взгляд Любы остановился на нем, он вздрогнул.

Да нет, вовсе он не влюбился в нее с первого взгляда. Толчок этот, мгновенную паузу сердца вызвало незнакомое ранее чувство проникновения сквозь время, смутное ощущение судьбы.

Классон и Кржижановский с хохотом включили его в компанию. Оказывается, направлялись все на квартиру к «нигилисту». Какой-то кавказец получил посылку, и вот намечалась вечеринка.

Было весело. «Враги унутренние — скубенты» всласть потешались над г-ном Деляновым, министром просвещения. Не забывали и тихого своего государя, у которого, кроме игры на тромбоне, была еще главная страсть — одеть всю Россию в форму. Кто-то читал приплывшее из забубённой Москвы стихотворение:

Царь наш юный — музыкант.  
На тромбоне трубит.  
Только царственный талант  
Ноту «ре» не любит.

Чуть министр преподнесет  
Новую реформу,  
«Ре» он мигом зачеркнет  
И оставит «форму».

Стучали жестяные кружки и граненые стаканы, кахетинское кружило юные головы.

В тот вечер они с Любой и словом не перемолвились, старались держаться друг от друга подальше, лишь смотрели втихомолку, и только уже в Нижнем, в ссылке, когда она приехала к нему связной от Бруснева...

Как молоды они были! Огромная Волга под откосом, музыка с пароходов...

Мурашки по коже, сцепленные пальцы, устремленные в мировую даль юношеские взгляды...

Твой милый образ, незабвенный.  
Он предо мной везде, всегда...

Порой, забывшись, слушая ее голос, он думал о счастье, которое ему преподнесла судьба. Как они смогли найти друг друга в людском море? Кто привел их на эту скамью? Люба — его избранница на всю жизнь... Мы думаем вместе и вместе мечтаем... глаза в глаза, пространство сужается, все исчезает, когда рот прижат ко рту, и близко-близко дрожат ресницы, касаются твоей кожи... у нас общая кожа, и счастье проходит по ней одной волной...

Когда нечто внешнее — побрякивание ли шпор, сытый смех за кустами, мимолетно брошенная скабрёзность, цоканье копыт, щелканье кнута, скрип петель, кошачий визг, гудки, музыка с пароходов — разъединяло их, отделяло друг от друга, что-то внутри сжималось, уходило в раковину, хоть руки и тянулись, пальцы сцеплялись в отчаянии.

Твой милый образ, незабвенный.  
Он предо мной везде, всегда,  
Недостижимый, неизменный.  
Как ночью на небе звезда...

Да, оба они уже знали, что их любовь обречена. С достаточной трезвостью профессионала-революционера он видел впереди ссылки, этапы, подпольное существование, рубли партийной кассы. Они не имеют права на счастье, ибо...

«...каждый из нас обязан быть готовым во всякую минуту с другими себе подобными кинуться туда, где сделана самая крупная брешь». Так он писал тогда брату, уверенный, что брешь вот-вот будет пробита.

Много лет прошло. Все изменилось в их жизни... И все же — зыбкость в этом счастливом оцепенении...

Снова произошло немыслимое: они вместе! Он встретил снова «свою избранницу на всю жизнь»! Сколько раз, когда другие женщины, красивые, гордые, милые, жалкие, появлялись в его судьбе, ему казалось, что теперь-то он забыл эту «свою избранницу» навсегда! Всякий раз он говорил себе: «С Любой покончено, она забыта навсегда». Все эти годы он внушал себе эту мысль, пытался обмануть себя, но будущее, оказывается, готовило им новую встречу.

Они встретились уже в том возрасте, когда знают, как недолговечно счастье, но пусть... пусть нельзя его удержать, зато она, «его избранница», теперь с ним, и ее-то он удержит со всей ее усталостью и памятью о прежних мужьях, с ее детьми, с ее обидами и робкой надеждой. Дверь ложи чуть приотворилась.

— Леонид Борисович, вас к телефону со станции...

В директорской приемной он снял с рычага рожок микрофона. Слышался знакомый хрипловатый голос:

— Козеренко?

— Я, Леонид Борисович, вас здесь ждут.

— Кто?

Последовало короткое, но для Красина вполне красноречивое молчание, и Козеренко произнес:

— Приехал гость из правления фирмы. «Касьяну или Игнату не ко времени. Значит, кто-нибудь повыше», — подумалось Красину.

Он вернулся в ложу, склонился к Любове Васильевне и тут заметил какой-то мгновенно промелькнувший лучик — это блеснул монокль жандармского подполковника, взглянувшего на него из ложи напротив.

— Люба, меня вызвали на станцию, — достаточно внятно для соседей сказал Красин. — Там что-то случилось в котельной. За тобой заедет Козеренко или я сам, если управлюсь...

Он выпрямился и посмотрел через зал. Незнакомый подполковник с бесцеремонным, но доброжелательным любопытством разглядывал его. Знакомый же полковник Укучуев сердитым шепотом как бы пытался удержать соседа от такой неучтивости.

«По всему видать, столичный гость», — подумал Красин и быстро вышел из ложи.

Возле театра он разыскал свою коляску. Верный его оруженосец Дандуров покуривал трубочку, сидя на козлах.

— На станцию, Георгий, и побыстрее!

Он ловко прыгнул на подножку. Лошади тут же тронули.

Гость поднялся к нему навстречу из кожаного кресла, высокий, сутулый, с широкими худыми плечами; странноватый, как бы слегка рассеянный взгляд, смутная улыбка. Член ЦК Глебов (Носков)!

Красин шагнул к нему, тряхнул за плечи.

— Владимир!

— Здравствуйте, Леонид, — тихо сказал Глебов.

Даже приезды постоянных связных Игната и Касьяна делали Красина счастливым. Что же говорить о визите члена ЦК?! Такие встречи рассеивают сомнения, тревоги, лишний раз понимаешь, что ты не один, что вас, единомышленников, даже не десятки, не сотни, а тысячи, что вы организованы, сплочены, что вы партия!

— У меня к вам много дел, Леонид Борисович, — покашливая в кулак, говорил Глебов, — но главное — это «Нина».

— Вы хотите лично побывать там?

— Если это возможно...

Красин возбужденно прошагал по кабинету, заглянул в окно, в мазутную черноту. Там маячило несколько огоньков.

Увидеть «Нину» еще раз и ему давно уже хотелось страстно, но он осторожности ради не позволял себе этого.

— В таком случае, Владимир, — он повернулся к Глебову, — вам нужно прежде привести себя в порядок.

— В порядок? — удивился Глебов. — Да мне казалось, что я настоящий денди! Видите — галстук, манжеты...

— На которых можно писать мелом, — усмехнулся Красин. — Небось, ехали-то третьим классом? Идем ко мне мыться.

— Послушайте, Леонид, да у вас тут Европа, настоящее европейское предприятие! — с восхищением сказал Глебов, оглядывая светящееся в ночи главное здание электростанции.

— Вам нравится? — воскликнул довольный Красин и тут же с большим энтузиазмом, с напором, крепко держа Глебова под руку и ведя его через двор, стал рассказывать о строительстве этой станции.

Глебов, схваченный крепкой рукой, оглушенный потоком слов, только посматривал любовно на энергический профиль «Никитича»; этот человек ему очень нравился.

— Вы любите все это? — спросил он. — Стройку, промышленность, электричество?

Красин остановился, взгляд его застыл.

— Да-а, — улыбнулся он после некоторого молчания, — я это люблю. Люблю почти так же, как свое главное дело...

...Они неторопливо ехали в коляске по набережной. Редкие фонари покачивались под легким бризом. В море мелькали огоньки судов. Изредка появляющаяся среди туч луна освещала странный контур восточного города.

— Что вы думаете о расколе? — спросил Глебов.

— Я на стороне большинства.

— Жму вашу руку. Вам известно о вашей кооптации в ЦК?

— В этом качестве я уже провел совещание в Кутаисе и встретился в Киеве с Клэром.

— О вашей работе во время июльской всеобщей стачки известно и дома и за границей. — Глебов кашлянул. — Вы просто молодчина, Красин. .

— В июле было замечательно! — воскликнул молодым, веселым голосом Красин. — Власти были потрясены размахом событий. Безусловно, «Искра» разожгла бакинский костер. Мы опасались, что нефтяники ограничатся только экономическими требованиями, но они вышли с искровскими лозунгами.

— Недавно мне писали, Леонид Борисович, что Старик 1 отзывался о вашей деятельности весьма одобрительно.

1 Старик — подпольная кличка В. И. Ленина.

— Это приятно, — проговорил Красин.

Положив на английский манер подбородки на набалдашники тростей, они покачивались в рессорном ландо и производили весьма благопристойное впечатление. Полковник Укучуев из своего экипажа со сдержанным одобрением приложил палец к козырьку.

Красин чуточку небрежно приподнял щегольскую шляпу.

...Персидский ленивый ветер все-таки развеял тучи над Баку, и луна без помех уже заливала светом землю, когда Красин и Глебов по узкой улочке татарского города подходили к дому, где размещалась подпольная типография «Нина». Белые глухие стены и резкие тени.

Лай собак...

Маленькую дверцу в воротах открыл уже предупрежденный «Семен» — Трифон Енукидзе. Он провел гостей через дворик, где пахло осенней травой, открыл еще одну дверь и уже в комнате, освещенной слабой керосиновой лампочкой, громко сказал:

— Добро пожаловать, товарищи!

После этого открылись двустворчатые двери большого шифоньера, пахнуло нафталином. Семен раздвинул руками какое-то тряпье, шагнул в шкаф и пригласил: .

— Пожалуйста, сюда!

В полной темноте они спускались по узеньким крутым ступеням, и вдруг вся лестница залилась ярким светом: Семен распахнул дверь в просторное помещение, где на асфальтовом полу лежали два ковра, а под потолком висела калильная лампа.

Печатники отдыхали. Сильвестр Тодрия, сидя в углу, тихо наигрывал на гитаре. Ваню Стуруа и Караман Джаши вдвоем читали какую-то книгу. Ваню Болквандзе и Владимир Думбадзе играли в карты. Они вскочили, когда распахнулась дверь.

— Никитича вы знаете, товарищи, — сказал Семен. — А это член ЦК товарищ Глебов.

Пока Глебов знакомился с товарищами, Красин оглядел стены и, с удовольствием отметил, что потайной ход совершенно не виден.

— Ну-ка, Владимир, попробуйте найти ход в типографию!

Перемигиваясь с печатниками, Красин наблюдал за попытками Глебова обнаружить что-нибудь подозрительное.

— Учтите, товарищи, что Глебов — опытная подпольная крыса! Что же тут делать тупым жандармам? Ну-ка, Семен, давай!

— Сезам, откройся, — сказал Семен, и часть стены прямо перед носом Глебова уехала вниз.

— Невероятно! — воскликнул Глебов.

— По чертежам Никитича изготовлено, — похвалился Болквядзе.

Глебов был поражен «Ниной», организацией работ, новенькой печатной машиной Аугсбургского завода, техникой исполнения. Он никак не мог отличить брошюры, изготовленной в Баку, от такой же, отпечатанной в типографии «Искры». Красин тоже не скрывал своего удовольствия.

Он гордился своей «Ниной».

— Ничего удивительного, — объяснял он Глебову. — Шрифт мы заказываем в словолитне Лешака, а «искровскую» бумагу нам поставляют из Лодзи.

Посмеиваясь, Красин показал Глебову только что отпечатанную «Эрфуртскую программу» Карла Каутского.

— Неплохо? Один экземпляр мы послали автору. Геноссе был восхищен и растроган. Кстати, мы продаем эту книжку либералам и выручаем неплохие деньги.

После осмотра типографии состоялось совещание. Глебов волновался, то и дело смахивал со лба редкие белокурые волосы.

— Товарищи, я благодарю вас от имени ЦК! Ваша типография — это всероссийская печка, она согревает весь наш пролетариат...

Затем начались разговоры о съезде. Подпольщики держались ленинской линии, один лишь Караман Джаши говорил об авторитете Плеханова и Мартова, об аргументации меньшевиков. Товарищи ему возражали, русская речь перебивалась грузинской; • перед носом Джаши мелькали сложенные в характерную щепоть пальцы.

Красин глядел на бледные от подземной жизни лица друзей. Какая духовная сила у этих людей, добровольно вычеркнувших себя из нормальной жизни, какая преданность идее!

В конце разговора он сообщил печатникам самое главное.

— В Тифлисе наши товарищи перехватили провокатора. Из его слов видно, что охранка что-то пронюхала о «Нине», но пока не знает, что это такое: дама, лошадь или адская машина.

Нужно утроить меры предосторожности. После провала кишиневской и петербургской типографий ЦК принял решение сделать «Нину» центральной подпольной типографией партии...

## ГЛАВА II

Ну-ка, сабелька моя

Зима 1903 года на Карельском перешейке началась свирепыми штормами.

По дороге на станцию приходилось чуть ли не кричать: сосны под зимним балтийским ветром скрипели, гудели, трещали, позванивали обледенелые веточки, порывы ветра несли через дорожки струи песка, смешанного со снегом, за краем ледяного припая

ревел, накатывая белые валы, залив — мирный Сестрорецк, казалось, стал средоточием всех стихий.

— Итак, Алексей Максимович, вы меня сводите с Морозовым через три дня?

— Да уж как договорились...

— Благодарю. Всего доброго.

Горький посмотрел вслед крепко идущему по перрону Красину в щегольских английских ботинках, кожаных перчатках и сдвинутой чуть набок шляпе и подумал:

«Вот новый тип революционера. Деловитый, энергичный, уверенный в себе. И никакого пафоса». Спустя недолгое время Красин был уже в Москве.

— ...Вам нравится это вино?

— Да, нравится, но лучше поговорим о вине после. Алексей Максимович, очевидно, уже передал вам суть нашего разговора?

— Я могу давать двадцать тысяч в год. Вас устраивает?

— Двадцать четыре тысячи устроили бы нас ровно на четыре тысячи больше.

Морозов засмеялся и поднял бокал.

### «ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП

...Я по-прежнему настаиваю, чтобы сюда обязательно прислали Бориса, Митрофана и Лошадь<sup>1</sup>, обязательно, ибо надо людям самим увидеть положение... а не плести лапти издалека, пряча голову под крыло и пользуясь тем, что отсюда до ЦК три года скачи не доскачешь.

1 Лошадь — одна из партийных кличек Красина. В этом отрывке из письма Старика (Ленин) речь идет о борьбе за созыв Третьего съезда РСДРП. Красин вначале занимал в этом вопросе примиренческую позицию. Письмо написано в феврале 1904 г.

Нет ничего нелепее мнения, что работа по созыву съезда, агитация в комитетах, проведение в них осмысленных и решительных (а не соплявых) резолюций исключает работу «положительную» или противоречит ей. В этом мнении сказывается только неумение понять создавшуюся теперь в партии политическую ситуацию.

...Я думаю, что у нас в ЦК в самом деле бюрократы и формалисты, а не революционеры. Март овцы плюют им в рожу, а они утираются и меня поучают: «бесполезно бороться!»...

Старик

Доклад в Московском политехническом обществе об энергетических установках в Баку прошел блестяще, однако мысли докладчика, идущего по вечернему Арбату к себе в гостиницу, были заняты отнюдь не проблемами электричества.

Завтра предстоит встреча с цекистами Носковым, Гальпериным и Кржижановским. Центральный Комитет должен наконец выработать свою решительную точку зрения на предложения Старика о созыве III съезда. Очень огорчительны эти бесконечные раздоры в наших заграничных организациях... Ленин и Мартов атакуют друг друга, Ленин призывает к «объявлению войны» мартовцам и ЦО. К чему эта война? За границей кажется, что нет ничего важнее их борьбы друг с другом, а нам тут кажется, что эта борьба не стоит и выеденного яйца. Попробовали бы сами налаживать связь, транспорт литературы, устраивать типографии, вести агитационную работу на заводах, доставать деньги... Легко разводить разные там теории на берегу Женевского озера.

Надо бороться с самодержавием, а не с Мартовым, после разберемся, кто лучший марксист... Удачно, что теперь можно будет на совершенно законных основаниях перебраться поближе к столицам. Молодец Морозов! Как он ловко легализовал мои с ним отношения!

Красин улыбнулся, вспомнив, как после доклада к нему пробрался, поблескивая узкими глазками, Савва Тимофеевич, представился, словно они незнакомы, и тут же предложил завидную должность на его предприятиях в Орехово-Зуеве. Промышленники и инженеры, собравшиеся вокруг докладчика, только многозначительно переглянулись: эка, сам Морозов!

## Л. Б. КРАСИНУ 1

1 Письмо Ленина, отрывки из которого приведены здесь, написано не ранее 26 мая 1904 года в Женеве.

От старика Лошади личное.

...Здесь был недавно Ваш «друг» и обнадежил насчет Вашего приезда, но Нил опроверг это известие. Крайне жаль будет, если Вы не приедете: это было бы во всех отношениях безусловно необходимо, ибо недоразумений тьма и они будут расти и расти, тормозя всю работу, если не удастся повидаться и обстоятельно поговорить. Напишите мне непременно, приедете ли...

...Если мы не хотим быть пешками, нам обязательно надо понять данную ситуацию и выработать план выдержанной, но непреклонной принципиальной борьбы во имя партийности против кружковщины, во имя революционных принципов организации против оппортунизма. Пора бросить старые жупелы, будто всякая такая борьба есть раскол, пора перестать прятать себе голову под крыло, заслоняясь от своих партийных обязанностей ссылками на «положительную работу»...

Жму крепко руку и жду ответа Ваш Ленин

Сквозь густую листву светилось широкое окно и видны были мужчины, сидящие вокруг стола в вольных позах, без пиджаков и в расстегнутых по случаю ужасной жары жилетах. Мужчины были увлечены своей серьезной и неспешной беседой, барабанили пальцами по столу, курили, поворачивали друг к другу умные лбы. Иногда появлялась в комнате милая дама, наливала чаю, подкладывала варенья. Собеседники тогда что-то говорили ей, она что-то отвечала им, смеялась и выходила из комнаты с не погасшей еще улыбкой.

Случайный зритель подумал бы, вероятно, что за столом этим собрались члены какого-нибудь научного или коммерческого общества, а может быть, и просто друзья, может быть, за столом идет столь обычный для России тех лет бесконечный интеллигентский чай на тему о смысле жизни, о долге перед народом, о религии, о литературе, о невероятных летательных аппаратах с двигателями внутреннего сгорания — «не прообраз ли, милостивые государи, стальных птиц Апокалипсиса?»...

Что касается неслучайного зрителя, человека по долгу службы не в меру любопытного, то ему пришлось бы трудновато: очень густ был кустарник перед домом, к тому же вдоль забора палисадника протянута была тайная проволока с жестянками, и неслучайный зритель поднял бы, пробираясь к окну, ужаснейший шум, и в довершение он, этот неслучайный любопытствующий бедняга, рисковал быть пойманным за шиворот в темноте чьей-нибудь весьма крепкой рукой.

Между тем за уютным столом обсуждалась «июльская резолюция» ЦК и участниками обсуждения были Носков, Красин, Гальперин.

— А не наломали ли мы дров, друзья?

— Послушайте, партии сейчас необходимо единство, как никогда. Социал-демократии сейчас угрожают две опасности. Первая, общая для всех революционных сил, — дикий угар квасного патриотизма, связанный с войной...

— Я полагаю, что угар этот скоро развеется стараниями наших доблестных генералов и адмиралов.

— ...вторая опасность — это то, что мы из-за нашего внутреннего раздора окажемся во втором порядке революционных сил. Посмотрите, как активизировались в последнее время эсеры. Евгений Шауман смертельно ранил финляндского генерал-губернатора, Сазонов казнил Плеве. Как бы мы ни отвергали тактику индивидуального террора, эти акты бешеной смелости и самопожертвования производят очень сильное впечатление на общество, а особенно на молодежь. Наконец, эсеры начали проникать в нашу заповедную область — в рабочее стачечное движение. Если мы углубимся в раздоры, мы отдадим рабочих эсерам и гапоновскому «Собранию». Нам нужно идти сейчас на заводы, а не заседать на съездах в далеких палестинах.

— Однако за съезд выступили Одесский, Екатеринославский, Тверской, Петербургский и Казанский комитеты партии.

— Это работа Старика. Доходят слухи, что он метал на наши головы целые охапки молний.

— Предпочитаю носить кличку «примиренец», чем называться раскольников.

— Итак, мы осуждаем агитацию за 111 съезд, ограничиваем обязанности Старика как заграничного представителя ЦК только лишь обслуживанием литературных нужд ЦК, исключаем из ЦК Землячку и кооптируем Любимова, Карпова и Дубровинского...

— Все трое наши молодцы-примиренцы!

— Все-таки не наломали ли мы дров, друзья?

— Послушай, что ты, Леонид, заладил со своими дровами? Уже не смешно!

— Хорошо, я попробую сейчас возражать при помощи аргументации Старика. Просто для того, чтобы сфокусировать другую мысль, хотя она и так уж выражена с предельной четкостью. Итак, мы обманываем сами себя, думая, что восстанавливаем единство партии. На самом деле мы идем на поводу у Мартова и Плеханова. Наша деятельность может привести к тому, что перед лицом решительных событий мы можем из боевой партии превратиться в партию межеумочную, в конгломерат кружков говорунов-теоретиков. Чем вы ответите на это?

Ответить на это можно только, повторив наше сегодняшнее собрание с самого начала.

— Значит, надо новый самовар ставить.

— А для этого надо... наломать побольше дров! Все пятеро так громко расхохотались, что хозяйка дома, испуганная, заглянула в дверь.

— Вы что, есть захотели, товарищи?

## ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА О РАЗРЫВЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ПАРТИЕЙ

декабрь 1904

«...я считаю себя вправе и обязанным принять участие в третейском разбирательстве... с... обвинением против членов ЦК Глебова, Валентина и Никитича...

...Я обвиняю их в том, что они употребили власть, полученную ими от II съезда партии, на подавление общественного мнения партии, выразившегося в агитации за III съезд.

...они не имели никакого права распускать Южное бюро за агитацию за съезд. Они не имели ни формального, ни морального права выносить порицание мне, как члену Совета партии, за подачу мной в Совете голоса в пользу съезда...

...Они не имели никакого права отказывать мне в сообщении протоколов Совета и лишить меня, без формального исключения из ЦК, всех и всяких сведений о ходе дел в ЦК,



о назначении новых агентов в России и за границей, о переговорах с «меньшинством», о делах кассы и пр., и пр.

...Они не имели права кооптировать в ЦК трех новых товарищей (примиренцев), не проведя кооптации через Совет, как того требует устав партии в случае отсутствия единогласия, а единогласие отсутствовало, ибо я заявил протест против этой кооптации».

#### ГАЗЕТЫ. АГЕНТСТВА

1/1. 1905. БОМБОЙ ВЗОРВАН ДОМ ГУБЕРНАТОРА В СМОЛЕНСКЕ.

2/1. НЕУДАЧНОЕ ПОКУШЕНИЕ В МОСКВЕ НА ТРЕПОВА.

3/1. НАЧАЛО ЗАБАСТОВКИ НА ПУТИЛОВСКОМ ЗАВОДЕ. ДЕПУТАЦИЯ ОТ 12.000 РАБОЧИХ ПРЕДЪЯВИЛА ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ ФУЛОНУ ТРЕБОВАНИЕ УВОЛИТЬ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА СМИРНОВА.

#### ВЫСОЧАЙШИЙ ПРИКАЗ ПО АРМИИ И ФЛОТУ

«Порт-Артур перешел в руки врага. Одиннадцать месяцев длилась борьба за его защиту. Более семи месяцев его доблестный гарнизон был отрезан от внешнего мира.

...Мир праху и вечная память вам, незабвенные русские люди, погибшие при защите Порт-Артура: Вдали от Родины вы легли костями за Государево дело, исполненные благоговейного чувства любви к Царю и Родине.

Доблестные войска мои и моряки! Да не смущает вас постигшее горе!

Со всей Россией верю, что настанет час вашей победы и что Господь Бог благословит дорогие мне войска и флот дружным натиском сломить врага и поддержать честь и славу нашей Родины.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества

Рукою написано

Николай».

«...4.1.05. Опытный садовник-пчеловод, одинокий, с 17-летней практикой, с рекомендациями и отличной аттестацией ищет место годично. Всевозможные работы выполняет добросовестно и аккуратно по весьма умеренной цене».

5/1. Собрание русских фабрично-заводских рабочих «обсуждает текст петиции к Царю».

6/1. Во время водосвятия на Неве пушка, которая должна была произвести холостой выстрел, выстрелила картечью по помосту, где находился Царь.

8/1. Депутация петербургских литераторов и общественных деятелей направляется к Витте и Святополку-Мирскому с просьбой остановить надвигающееся побоище.

9/1. В столице не вышла ни одна газета.

Марсово поле было черным, а вокруг все мельтешило, мелькали пятна снега и крови, распоротые овчины, бабьи платки, шапки, оскаленные рты, кулаки и глаза, глаза, глаза...

Красин с подножки коночного вагона увидел вдруг в толпе в самой непосредственной близости от драгун голову Горького, патлы из-под меховой шапки, моржовые усы. Рядом с ним, блестя полубезумными глазами, что-то кричал красивый кудрявый человек, кажется, Бенуа... К ним пробивался через толпу мальчишка-драгун с крутящейся саблей над головой. Видно было, что он визжит от каких-то собачьих чувств. Должно быть, он думает, что Горький и Бенуа — главари. Он может покалечить их, убить!

Красин прыгнул с подножки на чьи-то плечи.

— Господа, там Максим Горький! — закричал он. — Товарищи, там Горький! Спасите его!

Он бешено заработал локтями, но продвинуться не удалось ни на шаг.

Толпа сносила его в сторону Летнего сада. В хаосе перемешались манифестанты и любопытные. Сквозь пар, клубящийся над городом, тускло светился Петропавловский шпиль. Красин уже потерял из виду Горького и Бенуа. Позади слышались рыдания. Он оглянулся и вздрогнул от ужаса: за плечом какого-то рабочего рыдало рассеченное надвое лицо. Лицо, кажется, женское, рыдало от непоправимости того, что произошло.

— Платок! Возьмите платок! — закричал не своим голосом Красин.

Кто-то схватил белый платок, передал назад. Движение ускорилось, словно неведомая сила подхватила толпу и понесла ее вдоль Лебяжьей канавки, за которой в глубоком и белом спокойствии стояли деревья и зашитые досками скульптуры Летнего сада. Со стороны Дворцовой площади донесся мощный ружейный залп.

Содрогаясь от омерзения, но раскаляя себя ненавистью к врагам отечества, драгун Петунии рубил направо и налево. Иной раз, когда клинок его перебивал с маху крупную жилу, кровь вражья взлетала, и брызги попадали на розовые круглые щеки, на торчащие пшеничные усики и даже в голубые, остекленевшие от ярости глаза Петунина.

Вокруг деловито рубал направо и налево его полувзвод. Кони дыбились, ржали, солдаты смачно кричали.

«Витязи! Богатыри былинные! — захлебнулся в коротком рыдании Петунии. — СОЦ-Я-ЛИСТЫ... красные гады... проклятые пархатые, шелудивые, кровь сосущие... красавчики-умники вонючие... селедкой провоняли... социализмы окаянные... гадючье семя... Ну-ка, сабелька моя, пор-раб-бо-тай... крысы подпольные шепелявые, вшивые... государя душисть, кровь сосать... хитрые, коварные, золотом набитые японским... красные прихвостни... иконками прикрываетесь православными... в живот, в глаз... наймиты английские... по целковому... япошки косоглазые... наследника нашего душисть... дерьмом басурманским престолы завалить... Вижу, вижу моржовый ус главного хриstopродавца Максима Горького, сейчас в ухо, в голову, в пах, красавчик рядом — кучерявая обезьяна, саблей достану».

— Господи! Что они с нами делают?!

— Драгуны, псы! Русские вы аль нет?

— Палачи кровавые! Собаки!

— Ироды, что же вы делаете?!

— Вы бы так с японцами воевали!

— Мальчонку, мальчонку задавили!

— Убийцы! Сволочи! Бейте!

— Как скот режут!

Пехота зябла. После второго залпа ее работа, собственно говоря, была окончена. Вперед вынеслись драгуны. Пехотинцы прыгали, толкались, пытаясь согреться.

— Бухтин, Бухтин, чего рот разинул? Страшно? Чичас галка залетит!

— Ой, страшно, господи меня спаси! Люди ведь!

— Бухтин, Бухтин, вухи-то потри! Чичас отвалятся!

— Штаны-то подтяни, ж... потеряешь! Эй, Бухтин! Драгуны медленно, но верно отодвигали толпу от Троицкого моста. Пехотные унтера спорили, сколько народу осталось на снегу — за сотню или меньше. Стали считать — выходило за сотню.

— Виктор, видишь этого драгунского молокососа? Больше всех старается. Попробуй-ка ему засветить!

Камень, пущенный с крыши двухэтажного дома, угодил Дмитрию Петунину в голову. Даже не вскрикнув, воин свалился на шею коня. Конь прынул в сторону, вынес его в боковую улицу...

Красин бежал в толпе по набережной Мойки. Возле дома Пушкина группа молодых рабочих и студентов выворачивала булыжники из мерзлой мостовой. Он обрадовался: наконец-то сопротивление! Ярость колотила его. Он оглянулся — поблескивающий сабельками строй всадников быстро приближался.

Чьи-то руки обхватили Красина, потащили под арку дома.

— Красин, с ума сошли? Не хотите до революции дожить?

Кандид (Кириллов) и еще один партиец, фамилии которого Красин никак не мог припомнить, долго влекли его по проходным дворам, где в подъездах перевязывали раненых. Наконец они вышли на Невский, к углу Садовой.

Между тем Петунии в беспмятстве скакал по Петербургу, словно майнридовский «всадник без головы». Каким-то чудом он не выпадал из седла, л конь его петлял по улицам в тщетных попытках набрести на родные, единственно любимые запахи конюшни, овса, своего лошадиного, теплого, ибо хоть он и был боевым конем, но запаха крови и пороха не любил.

Наконец Петунии очнулся и обнаружил себя на набережной какого-то канала. Вокруг не было ни души, а многочисленные замерзшие окна еще усиливали ощущение одиночества. Он испугался, не узнавал местности. Оглянувшись, он слегка приободрился. Вдалеке несколько казаков гнали небольшую толпу. Это происходило в полной тишине: звуки оттуда не доносились. Вдруг поблизости гулко бухнуло — треснул лед канала. Петунии даже задрожал. Он развернул коня и погнался вдогонку за казаками.

Казаки уже настигали злосчастных бунтовщиков, когда те вдруг скрылись в каких-то дверях, Вот хитрое семя!

— Гей! — крикнул Петунии, как бы подбадривая казаков, но те в этом и не нуждались: сорвав двери, разбив стекла, прямо на конях ворвались они в трактир, где пытались найти спасение преследуемые.

Когда Петунии подскакал и заглянул в развороченные двери трактира, все уже было кончено. Пол был завален телами в черном грязном тряпье, за разграбленным буфетом лежал икающий от ужаса трактирщик. Казаки по одному выезжали на набережную. Один из казаков дул водку прямо из горлышка и ничуть не смутился, увидев драгунского офицера.

— Молодцы, казаки! — крикнул Петунии.

— Стараемся, ваше благородие, — с ленивой нагловатой улыбочкой ответил казак и отбросил опорожненную бутылку.

Казаки поскакали дальше. Звук копыт, бьющих по обледенелой мостовой, удалялся, а Петунии все не мог тронуться с места. Он переводил взгляд с одного неподвижного лица на другое, и ужаснейшая мысль терзала в этот момент все его существо: «Нет, не похожи они на евреев...» Конь его переминался с ноги на ногу перед открытой дверью и разбитыми стеклами разгромленного трактира, когда в глубине зала скрипнула дверь и порог переступил румяный юноша богатырского сложения. Одет он был в короткую шубу грубого, уж не волчьего ли, меха и в меховые высокие сапоги. Поблескивая ясными глазами, перешагивая через убитых, юноша направился прямо к Петунину, а тот тронуться с моста не мог, словно замороженный.

— Попался, мясник, — с веселой улыбкой сказал юноша, когда подошел вплотную к конской морде. — Слезай!

Петунии трясущейся рукой вытащил шашку, но тут запястье его словно обхватили стальные клешни. Шашка, зазвенев, упала на мостовую, и сам драгун оказался выброшенным из седла...

Он тут же вскочил и схватился за револьвер, но юноша ясноглазый мгновенно, ребром ладони ударил Петунина в горло, тычком ладони — под ложечку и за воротник поволол обмякшее тело драгуна в глубь трактира. «Бандюга, шкура жандармская, — бормотал он, — скальп с тебя сниму, паразит!»

Лихач на дутых шинах резво бежал по правой стороне Невского к Адмиралтейству. Нахлобучив меховую шапку и уткнув нос в воротник шубы, Красин безотчетно считал выплывающие из дымной морозной темноты газовые фонари в оранжевых кругах. Его трясло. Он испытал неведомое ранее чувство — чувство биологической ненависти, и именно от этого чувства его сейчас трясло.

Ближе к Дворцовой на тротуарах все чаще попадались неуклюжие фигуры дворников. Пешнями они откалывали окровавленный лед, скребли лопатами тротуар, поливали кипятком из ведер.

На Адмиралтейском лихача приостановил конный патруль. Казачий офицер внимательно посмотрел на Красина, махнул рукой — проезжай! Барин в хорьковой шубе не вызывал подозрений. Красин оглянулся: казаки, покачиваясь в седлах, удалялись, стройные и словно бы удлиненные в красноватой рассеянной тьме. Может быть, он и убил бы их всех, будь у него сейчас в руках пистолет.

Промчались мимо знаменитого дома, где «с поднятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые»... Дальше — громада Исаакия, не оставляющая сомнения в том, что империя, воздвигшая оную громаду, простоит вечно... Сенатская площадь, Медный всадник с кучкой снега на голове... От жалкого кулачка Евгения, от его невнятного «ужо тебе» — к партии, что бросает теперь вызов целой империи: в этом уже нет сомнения. Заваривается какая-то новая каша, неслыханные дела скоро стрясутся на Руси!

Предстоит бой. Ленин его уже предвидел. Он смотрел еще дальше. В бой должны идти солдаты, а не компании ораторов. В этом главная цель, «Примиренчество» наше обанкротилось!

Промчались мимо Манежа, здания прекрасных античных пропорций, и дунули по бульвару в сторону Новой Голландии.

...В прихожей Красина встретил Любимов. Безотчетно они схватили друг друга за плечи, заглянули друг другу в глаза.

— Ну-с, дружище, — проговорил Красин, — теперь ты видишь, что мы были не правы. Прав Старик. Нужно собирать съезд.

Дверь в комнаты была открыта, и там стоял шум, слои папиросного дыма пересекались энергично жестикулирующими людьми.

«В сущности, мы все еще довольно молоды», — с неожиданным приливом бодрости подумал Красин.

.....

Всю ночь стонали и бредили в городе Санкт-Петербурге пять тысяч раненых. На следующий день заказчики получили тысячу гробов.

## ГАЗЕТЫ И АГЕНТСТВА

...Закрытие гапоновского «Собрания русских фабрично-заводских рабочих».

...Арест делегации литераторов к Витте... В Риге арестован и препровожден в Петропавловскую крепость Максим Горький.

...Закрытие высших учебных заведений в Петербурге.

...Баррикады в Варшаве. Начало всеобщей стачки в Москве, Ярославле, Ковно, Вильно, Ревеле, Саратове, Киеве, Риге. Минске, Могилеве.

...Забастовка в Орехово-Зуеве.

...Членом, боевой организации партии с. р. П. П. Каляевым убит бывший московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович.

...Массовое избиение черносотенцами и лабазниками студентов в Казани.

Сражение под Мукденом закончилось поражением русской армии.

20 января в Зимнем, Его Величества Дворце были собраны 34 представителя рабочих различных заводов и фабрик ...

..Ровно в 3 часа к рабочим вышел Его Императорское Величество Государь Император в сопровождении министров.

Его Величество Государь Император осчастливил депутацию рабочих столичных и пригородных заводов и фабрик в Александровском Дворце Царского Села милостивыми словами. После речи, обращенной Его Величеством к рабочим, произведшей сильное впечатление, рабочие низко поклонились...

Государь Император обходил рабочих, устаивая милостивыми расспросами и разговором, после чего простился с рабочими. Нужно было видеть этот момент общения представителей рабочих со своим венценосным Монархом'

После приема рабочие проследовали в зал, где для них было приготовлено угощение.

Довольные, счастливые, с веселыми лицами возвращались рабочие в Петербург, унося неизгладимое на веки впечатление о Царском приеме и твер\* до запечатлев Царевы Слова.

...Мы вступили в полосу страшных политических бурь... На преступлениях и жизни ближних фанатичные люди пытаются создать какое-то более чем проблематичное, лучшее будущее.

...Сын Царя-Освободителя убит среди бела дня у самого Кремля, как раз в тот исторический момент, когда все общество ждало вещаго призыва с вершин Престола...

«СПб Ведомости».

...Вследствие происшедших... на наших заводах стачек всем рабочим объявлен расчет и производство прекращено.

Правление товарищества Российско-Американской Резиновой Мануфактуры.

«Опытный садовник-пчеловод, одинокий, с 17-летней практикой, с рекомендациями и отличной аттестацией ищет место годично. Всевозможные работы выполняет добросовестно и аккуратно по весьма умеренной цене. На выставках удостоен разных наград».

### ГЛАВА III

Ночи этой не было конца

Снег крупными хлопьями заваливал Большую Никитскую. В окнах магазинов зажигались уже огни. Москва, обжитой, скрипучий дом, в этот теплый день устоявшейся зимы была особенно уютной. Два студента, один в распахнутой шинели, а другой застегнутый на все пуговицы, шли по мостовой и оживленно спорили.

Лишь на минутку, возле Консерватории, когда сквозь замазанные рамы донеслось разноголосое пение скрипок, сольфеджио и фортепьянные пассажи, студент-аккуратист отвлекся от спора, распустил тугий узел морщин, собравшийся на лбу, улыбнулся как-то очень по-детски, поднял румяное, обтянутое тугой кожей лицо, взглянул на барышню, тут же прикрывшую муфтой носик, улыбнулся ей, что-то суматошно и радостно пикинуло в его душе, но только на минутку.

Его спутник не унимался вовсе. Он размахивал руками, заглядывал в лицо собеседнику и даже в лица встречных, словно приглашая их принять участие в споре.

— Значит, ты считаешь, что экономика сама по себе коренным образом изменит общество?

— Я в этом убежден.

— Значит, все десятилетия борьбы были напрасны?

— Перестань орать!

— Но так или нет?

— Борьба эта может разрушить все, что создано.

— Значит, сиди и жди, когда правительство, восхищенное развитием экономики, дарует нам европейскую конституцию?

— Ты можешь не орать? Полемизируй вон с городовым, если не можешь говорить нормально.

Студенты эти были родные братья, Павел и Николай Берги. Возвращались они с благотворительного концерта «в пользу недостаточных курсисток». В концерте этом принимали участие знаменитые артисты, включая Федора Шаляпина, в зале собрался цвет московской интеллигенции, писатели Леонид Андреев, Скиталец, Бальмонт, актеры МХТа, крупные адвокаты, профессора и даже несколько промышленных тузов — Савва Морозов, например, и вот они, юные Берги...

Все, не исключая тайных и явных филеров охраны, отлично были осведомлены, что сбор (весьма солидный) идет на сей раз не курсисткам, а в пользу боевых революционных партий. Поговаривали, что к этому концерту имеет отношение даже таинственный Никитич, один из главных деятелей РСДРП. После 9 января вместо ожидаемой депрессии в стране распространился какой-то энергический дух, чувствовалось, что время петиций, деклараций и благотворительных деяний прошло, что вот-вот грянут события.

— Послушай, Коля, — Павел Берг заговорил потише, — ведь ты же сам говорил, что даже электротехника не может развиваться при абсолютизме... Ведь говорил же?!

— Я и сейчас так считаю, — ответил Николай, — и уверен, что в конце концов абсолютизм сдаст позиции. Электротехника нужна обществу больше, чем этот обветшалый государственный строй.

— Сдаст позиции! — возмущенно воскликнул Павел. — Он будет уничтожен еще в этом году одним ударом рабочего кулака!

— Сейчас мы окажемся в участке, — спокойно сказал Николай. Он приостановил брата и застегнул на нем шинель. — Возможно, что и одним ударом, Павел, но вместе с ним будет уничтожена и наша маленькая электротехника. Начнется анархия, обвалятся железнодорожные насыпи, заржавеют паровозы, верфи затянутся паутиной...

— Может быть, так и произойдет, — с неожиданной задумчивостью произнес Павел, — но на развалинах этих, Коля, возникнет новая великая демократическая и социалистическая Россия. Все передовые люди это уже понимают, кроме тебя.

— Неправда! Есть множество по-настоящему передовых и образованных людей, которые держатся моей точки зрения. Сегодня я познакомился с инженером Красиным...

— А, это тот, с которым я схватился! — воскликнул Павел. — Толковый, толковый...

— Не то слово «толковый». Это замечательный инженерный ум. В прошлом году в Политехническом обществе я услышал его доклад о бакинских энергетических установках. А что он сейчас устраивает у Морозова в Орехове! Какие турбины устанавливает!

Николай Берг говорил все громче, с нарастающим жаром. Видно было, что братья в смысле темперамента не уступают друг другу.

— Да, незаурядная личность, — согласился Павел. — Жаль, что он не с нами, но... — Павел схватил брата за руку. — Но уверен, Коляй, что и ты и Красин встанете в скором времени на позиции нашей партии. Ведь мы же опираемся на научные законы, на законы того же экономического развития!

— Ближайший участок на Малой Бронной, — бесстрастно произнес Николай.

— О чем ты мечтаешь, Коля? — вдруг спросил Павел. — Ты такой же сумасшедший, как я, мы оба в деда, не то что девочки... О чем ты мечтаешь?

— Строить! — крикнул Николай. — Не так, как дед, не для мошны, а для России. Понимаешь? У нас уже сейчас самая длинная железнодорожная сеть в мире! Разве это плохо? Но какая отсталость в машиностроении, Николай! Сколько нужно строить! Верфи для кораблей, электростанции, доменные печи, автомобильные заводы — да-да, не удивляйся, — автомобилю принадлежит будущее! Думаю я, что и воздухоплавание, авиация, будет развиваться на нашей родине быстрее, чем в Европе. Летом в Одессе я познакомился с молодыми людьми, которые, продав все, что имели, выписали из Франции

аппарат «Блерио» за десять тысяч рублей. Представьте себе, кондовую Русь, толстопятую, тянет в воздух!..

Николай Берг осекся вдруг, как человек, нечаянно разболтавший что-то личное, смущенно отвернулся и, шевеля губами, стал смотреть на слабо светящийся запад, за контуры низких крыш.

— А ты о чем мечтаешь, Павлуша? — тихо спросил он.

Павел обнял его за плечи.

— Я мечтаю о революции!

— А о Наде?..

— Да, конечно, о Наде и о революции! Вернее, в общем, понимаешь, о революции и о Наде... Вернее... Это для меня вместе... Понимаешь?

— Да, это я понимаю... Для тебя это неразделимо...

Разговаривая на эти темы, братья давно бы уж дошли до Поварской, до своего дома, если бы они шли, но в том-то и дело, что они давно уже не шли, а стояли на Никитском бульваре возле ствола крепенькой, пушистой от снега липы.

В третий раз уже мимо них тихо протопал околоточный Дормидон Ферапонтыч Уев.

— Прошу не скопляться, господа студенты, — боязливым баском сказал он и малость откатился в сторону: еще шарахнут чего-нибудь...

— Прошу прощения, господин городской! — тут же заорал Павел. — Ах, как мы непростительно безобразно скопились! — Он оттолкнул Николая. — Этого не повторится, господин городской.

С хохотом студенты двинулись к Арбатской площади. Инцидент для Ферапонтыча окончился благополучно.

.....

В это же время двое мужчин в том же приятном теплом снегопаде двигались по Мясницкой к Чистым прудам. В буфете «благотворительного» концерта они пропустили по две-три рюмки, хорошо закусили и сейчас шли, не торопясь, чувствуя приятную бодрость. Николай Евгеньевич Буренин провожал Красина на Курский вокзал. У обоих были основания для отличнейшего настроения: концерт прошел превосходно, сборы превзошли ожидания, касса увезена и скрыта в безопасном месте.

Разговаривая на легкомысленные темы, обращая несколько преувеличенное внимание на встречных дам, они миновали почтамт и свернули на чистый снежный бульвар, оставив за спиной сутолоку Мясницкой. Шагов через сто Красин оглянулся — аллея была пуста, Можно было обратиться и к более серьезным темам.

— Что ни говорите, Леонид Борисович, а либерал — это для нас отличная дойная корова, — сказал Буренин.

— Выразились вы довольно точно, — согласился Красин.

Николай Евгеньевич, известный пианист, был правой рукой Красина, одним из самых активных и надежных членов недавно созданной Боевой технической группы РСДРП.

— Либерал для революционера именно дойная корова, но на боевой союз с этой коровой рассчитывать не приходится. Вот я вам расскажу один курьез. — Красин сумрачно усмехнулся. — Вечером 9 января в Петербурге в Вольно-экономическом обществе собрались столпы столичной журналистики, адвокатуры, либеральные гласные Думы — словом, публика, подобная сегодняшней. Вопрос один: как быть, что делать? С тем же вопросом явилась в это общество небольшая депутация растерянных и подавленных рабочих-гапоновцев. Ответил им небезызвестный писатель-экономист, когда-то даже считавший себя социал-демократом, правда, бернштейновского толка, господин Прокопович. «Главное, не бейте стекол, — ответил он рабочим, — пожалуйте, не бейте стекол». И весь ответ. Комментарии излишни, сами видите...

— Вам понравились молодые Берги? — спросил Буренин.

— Так ведь один из них член нашей партии, — сказал Красин. — Какой же это либерал? Эдак вы и себя к либералам причислите, а того гляди, и меня тоже. Кстати, о

Бергах... — Красин задумался. — Состояние им отец оставил исключительное — обувная и мебельная фабрики, паи в Резиновом обществе, в Электросиле, пароходы на Волге... Вы знакомы с ними лично?

— Коротко, — ответил Буренин.

— Павел Берг — надежный товарищ?

— Уверен в нем, как в себе. Это человек, решительно и навсегда порвавший со своим классом.

— Он мне понравился, — сказал Красин, вызывая в памяти стройного юношу с детскими еще губами, торчащими ушами и густой шевелюрой. Почему-то ему на секунду показалось посреди разговора с ним, что время, сдвинулось назад и что перед ним его товарищ по Технологическому, а может быть, и он сам.

— Он умно говорил о промышленном прогрессе России.

— Это не Павел, а Николай. Он моложе Павла на год, но они почти неразличимы. Павел — это тот, что напал на вас, Леонид Борисович, за умеренность ваших политических взглядов.

Буренин рассмеялся, а Красин остановился.

— Помнится мне, Николай Евгеньевич, что мы собирались на фабрике Берга создавать боевую группу?

— Кое-что уже сделано...

— В таком случае вам необходимо сегодня же встретиться с Павлом Бергом и призвать его к сдержанности. Если он будет перед каждым незнакомым либералом вроде меня распинаться в своей любви к революции и к марксизму, он завалит все дело. Пусть почаще крестится на купола, а лучше всего пусть выглядит типичным «белоподкладочником»...

— Хорошо, я поговорю с ним, Леонид Борисович. Они двинулись дальше. Недалеко от Ильинки на тротуаре толкалась значительная толпа. Электрические лампы освещали объявление над входом в двухэтажный дом:

«Синематограф изобретенье Франции бегающие фотоснимки».

— Вы уже видели это диво? — спросил Красин. — На полотне разыгрывается настоящий спектакль. Чем черт не шутит, со временем это будет почище театра. Синема — гениальное изобретение! Недаром наш монарх считает его дурацкой дребеденью. Уж этот мудрец во всем знает толк. — Красин прищелкнул языком. — Движущиеся фотографии! И главное — так просто! Чертовы Люмьеры! Просто это все до того, что досадно — как ты сам не придумал!

В конце бульвара они вновь остановились.

— Итак, ЦК собирается завтра, — сказал Красин. — С вами, Николай Евгеньевич, мы встретимся через три дня в ресторане Тестова, как договорились. Не провожайте меня дальше. — Он пожал руку Буренина, но почему-то не отпустил ее и спросил с неожиданным интересом: — А что же Коля Берг? Он не разделяет убеждений брата?

— Он помешан на технике, на промышленности, на индустриальном прогрессе, — сказал Буренин. — Конечно, он и за социальный прогресс, но путем эволюции. Они вечно спорят с братом...

— Поменьше этих споров на людях: Берг нам очень нужен, — деловито сказал Красин, отпустил Буренина, энергичными шагами вышел из сквера и на углу поднял трость, подзывая извозчика.

Тому назад лет сто пятьдесят, а то и все сто восемьдесят, по всей вероятности, в первой половине XVIII столетия, прибыл в Россию то ли немец, то ли швейцарец, в общем, нерусский человек Берг, «почтовых дел мастер». Ни славы, ни денег на своем почтовом поприще оный Берг не нажил, но и не пропал, уцелел, женился на русской небогатой барышне. Все последующие Берги делали то же самое, и через столетие от европейского происхождения осталась только эта короткая и гордая, как гора, фамилия. Берги жили тихо,



пока не набрал силу Ипполит Берг, дед уже знакомых нам Павла и Николая. . Таинственное сочетание совершенно скромных наследственных качеств сделало Ипполита нахрапистым, честолюбивым мужчиной. Оставив потомственную служилую линию, он пустился в коммерцию. Через некоторое время о Берге заговорили в промышленных кругах. Ипполит посватался к дочери московского денежного мешка Полупанова. Сыну своему Ипполит Берг передал уже миллионное дело, но тот оказался из тихих Бергов и ничего не делал, чтобы приумножить капитал, хотя и не разбазарил его: станки на фабриках стучали исправно, продукция сбрасывалась, пароходы гудели — капитал умножался уже сам по себе.

За год до описываемых событий Иван Ипполитович Берг погиб при катании на лыжах в Гармиш-Партенкирхене, Еще раньше скончалась его супруга. Дети остались одни — два сына и девочки Лиза и Таня. Старшим в семье оказался студент третьего курса университета Павел, которому меньше всего хотелось умножать наследственный капитал. Напротив, Павел страстно мечтал свести этот капитал к нулю путем социальной революции. Павел тяготился своим богатством, своими фабриками, где заведенным порядком шла эксплуатация рабочих, он стыдился всего этого до тех пор, пока старшие товарищи по партии не разъяснили ему, что его деньги, и фабрики, и пароходы являются прекрасным подспорьем в борьбе с самодержавием.

Надо сказать, что и Николай, студент императорского Технического училища, человек взглядов, как мы видели, хоть и прогрессивных, но умеренных, тоже относился как-то стеснительно, вроде бы стыдясь, к семейному богатству. Так же относились к этому и их сестры — гимназистки Лиза и Таня, но те в отличие от Николая были уже заядлые марксистки.

Итак, братья подошли к своему дому, большому особняку, законченному постройкой в прошлом году. Дом представлял собой образец только что входящего в моду стиля «модерн»: огромные окна, забранные в декадентски изогнутые рамы, декадентские опять же бронзовые перила, ручки, фонари, облицовка по фасаду метлахской плиткой, чудно и тревожно загорающейся, когда на нее падали лучи заходящего солнца.

В гостиной братья застали небольшое общество. Развалясь в кресле и бесцеремонно вытянув ноги в странных меховых сапогах, хохотал Виктор Горизонтов, «вьюноша» богатырского сложения в морской, английского покроя тужурке. Смеялись и сестры, высокая, румяная, с толстой косой восемнадцатилетняя Лиза и шестнадцатилетняя Таня, совсем еще девочка. Снисходительно улыбался друг Павла штамповщик берговской обувной фабрики Илья Лихарев. Что же или кто же вызвал веселье барышень и молодых людей? Еще не входя в зал, Павел и Николай услышали высокий, надтреснутый голос, порой начинавший как бы дребезжать от экстаза.

— Это, с позволения сказать, общество должно быть взорвано и срыто лопатами до основания! Нужно расчистить место! Нужно сломать не только дворцы и тюрьмы, но и заводы, и москательные лавки, и рестораны, притоны разврата, но и больницы, где одурачивают страждущий класс! Взорвем! На куски!

Это выкрикивал стоящий возле окна худой, одетый в черную косоворотку блондин. Жидкие волосы падали ему на выкаченные голубые глаза, правая рука то и дело взлетала над левым плечом.

— А булочные, Митяй, с булочными как поступить? — низким, красивым голосом спросил Виктор Горизонтов, не меняя позы.

— Сжечь! — крикнул блондин. — Хлеб съедим, а булочные сожжем!

— А университеты? — спросил с порога Николай Берг.

Блондин сделал к нему порывистое движение и застыл в рывке.

— Под корень! — взвизгнул он. — До основания! Плугом пройти по пепелищам университетов и библиотек — вместилищу векового обмана трудящихся! Извините за выражение, — неожиданно обернулся он к барышням, — мы должны уйти к дикой природе!

— Стоп! Ишь набрался анархистских словечек, — сказал вдруг Горизонтов, поднялся с кресла и лениво потянулся. Он вынул серебряный рубль и протянул его неистовому

оратору. — Пока еще булочные не сожжены, Митяй, сходи купи нам с тобой на ужин ситного, сахару да фунт чайной колбасы.

Блондин взял рубль, щелкнул каблуками перед барышнями и стремительно вышел, что-то все еще бормоча себе под нос.

— Хорош? — спросил Горизонтов, когда шаги блондина затихли в глубине зала. — А знаете, кто таков? Драгунский офицеришко, сын попа из Рязани, «герой» Кровавого воскресенья... — Горизонтов обвел глазами присутствующих, оценивая эффект, вызванный его словами.

— Вечно вы придумаете что-нибудь несусветное, Виктор, — сказала Лиза, посмотрев на молодого человека чуть-чуть из-за плеча.

Таня же смотрела на Горизонтова, простодушно открыв рот, как дети смотрят на фокусника.

Горизонтов пружинистой походкой прошелся по зале, потом, подпрыгнув, уселся на подоконнике.

— Я его джиу-джитсу взял, — откровенно бахвалясь, заговорил он. — Я вам рассказывал, господа, как в Нагасаки майор Кимура учил меня японской борьбе джиу-джитсу? Ребром ладони я могу убить человека. Если хотите, можете потрогать ребро моей ладони. Кто хочет? Лиза, хотите попробовать? Николай, ты? Илья? Павел? Ну, потрогайте, чего вам стоит? Танюша, ты хочешь? Ну, иди сюда, потроган! Каково? Сталь? То-то... Короче говоря, в тот день во второй уже половине, на Крюковом канале я заметил одинокого драгуна. Вот, думаю, этого я и возьму. Пошел за ним следом и взял Митеньку Петунина двумя приемами джиу-джитсу. Взял и приволок на свой чердак, на Фонтанку...

— Да зачем он тебе нужен был? — спросил Павел Берг.

— Сам не знаю, — простодушно ответил Горизонтов. — Должно быть, просто любопытство, Ночью этот тип бредил, метался в жару... дикий антисемитский бред... жида, оказывается, к его колыбельке с ножами подбираются, и к царевичу, и к маменьке, но он их всех порубит, всех изничтожит! Ах ты, думаю, сука нехорошая, сколько крови на тебе, вовек не отмоешь! Не поверите, своими руками придушить хотел, но сдержался. Утром истерика — бьется лбом в пол, погубил, говорит, сколько душ православных. «Убей, — кричит, — меня, выброси из окна!» Ого, думаю, страсть какая. И возникла у меня идея. Начал я его агитировать в революционно-марксистском духе. Что бы вы думали, через неделю монархист-антисемит с поповской кашей в голове превратился в самого яркого революционера и теперь бегаёт за мной хвостиком.

— Это, по-твоему, он революционные мысли здесь высказывал?! — запальчиво крикнул Павел. — Спасибо тебе за такого революционера!

— Сейчас у него увлечение анархизмом, — хмыкнул Горизонтов. — Из армии дезертировал. В наших «Чебышах» скрывается, а там чего только не слушаешься.

— Такие личности только компрометируют революцию, — сказал молчавший до этого Илья Лихарев. — А тебе, Горизонтов, и самому до марксизма, как до луны, далеко.

— Ты думаешь? — искренне удивился Горизонтов.

— Прошу вас, Виктор, не приглашать сюда больше эту личность, — ломким голосом сказала Лиза.

Все напустились на Горизонтова, и он растерялся, отмахивался огромной ладонью, бормотал:

— Да что вы все на меня? Он мой верный Санчо... не более того...

Виктор Горизонтов был красавцем гигантом, как бы увеличенной копией красавца нормального. Было ему чуть-чуть за двадцать, но последний год его жизни стоил доброго десятка лет.

Виктора можно было в полном смысле слова назвать «кухаркиным сыном», ибо и впрямь был он сыном почтенной тамбовской кухарки и выслужившегося до офицерского чина флотского фельдшера. Папа Горизонтова пытался определить сына в морской кадетский корпус, но безуспешно.

В конце концов Виктор попал на флот и служил на броненосце «Петропавловск» электриком, когда этот огромный корабль взорвался вблизи Порт-Артура. Выудила Горизонтова из воды японская миноноска, выудила и с удовольствием взяла в плен.

Месяца три Виктор провел в порту Нагасаки, где, изнывая от безделья, учил японский язык и занимался джиу-джитсу с начальником лагеря военнопленных майором Кимурой.

Затем это ему надоело, и однажды ночью, оставив майору безграмотную, но трогательную записку, начертанную иероглифами, Горизонтов переплыл залив и влез на борт американской промысловой шхуны.

Шхуна с Горизонтовым на борту пересекла океан и очень удачно браконьерствовала возле канадских берегов. Заработав приличное количество долларов, Витя очень хорошо отдохнул в Ванкувере, и, когда остался без гроша, нанялся матросом на английский пароход, идущий рейсом до Гонконга.

В Гонконге с ним стали происходить всевозможные приключения. То ли он был ограблен, то ли проигрался в рулетку — толком и сам не знал. Короче говоря, остался опять без денег и почти без одежды, работал грузчиком на чайном складе, изображал дракона в китайском цирке — чем только он в ту пору не занимался! Еле-еле выбрался Горизонтов из этого удивительного города и после ряда дополнительных приключений добрался до Европы.

В Европе была уже осень, мокрые листья летели вдоль аллей, и здесь на одном из уютных европейских перекрестков Горизонтов столкнулся с другом детства Павлом Бергом, что, разумеется, несказанно поразило их обоих.

Им было лет по тринадцать, когда они впервые встретились на Южном берегу Крыма. В Гурзуфской бухте, на берегу которой стояла дача Бергов, довольно часто швартовалась странноватая, грязная барка с греко-татарским экипажем. На барке этой, перевозившей вдоль Черноморского побережья никому не ведомые товары, служил юнгой Витя Горизонтов, зарабатывал свои первые трудовые копейки и закалял характер.

Дружба их началась, как водится, с драки. Вдумчивый и тихий барчук Павлуша однажды предавался размышлениям, лежа на плоском камне довольно далеко от берега, когда из моря вдруг вынырнула пучеглазая голова, которая заявила, что этот остров принадлежит ему, а если незнакомец предьявляет на него свои права, то он готов сразиться, доннер веттер, и так далее! Битва была короткой. Когда Павел очнулся, он увидел рядом с собой на берегу огромного мальчика, смолившего вонючую самокрутку.

Никакой особенной любви к угнетенному человечеству родители Павлу не прививали. Трудно сказать, под каким влиянием, но мальчик с ранних лет испытывал какое-то смутное чувство вины перед «простыми» людьми, ему хотелось поближе сойтись с кем-нибудь из этих странных неимущих людей, узнать, как они живут в том огромном мире, голубой край которого открывался с террасы гурзуфской дачи.

Новый приятель вел себя в кругу Бергов очень естественно и свободно. За чаем он съел целую корзинку п-ирожных и рассказал ужасающую историю о своем последнем путешествии в Батум. После этого он перевернул всю берговскую библиотеку и ушел на барку, нагруженный Жюлем Верном, Купером, Майн-Ридом и двумя томами Брокгауза и Ефрона. Энциклопедический этот словарь, к слову сказать, стал любимым чтением Горизонтова на всю жизнь.

Виктор поразило воображение Павла своим невероятным умением плавать, нырянием, силой, лихостью, но главное — какой-то первозданной уверенностью в своих поступках, которая, возможно, сродни уверенности дельфина, рассекающего водную среду!

Несколько лет спустя Павел, уже передовой студент, решил испытать на Горизонтове силу марксистской литературы. Витя глотал книгу за книгой, а потом прибежал как-то ночью к Бергу и торжественно заявил ему, что он свое образование окончил, что все понял, все сошлось, и теперь он марксист.

Потом началась война, и они расстались надолго. На «Петропавловске» Горизонтов вел довольно искусную агитацию среди гальванеров, электриков и минеров. Деятельность

эта была прервана взрывом броненосца, а во время своей одиссеи Горизонтову было не до марксизма.

Встреча на европейском перекрестке была необычайно бурной, пламенной. Виктор потянул Павла в облюбованный им трактир и обрушил на его голову водопад немислимых историй, но вместо ожидаемого восторга встретил строгий взгляд, молчание, постукивание пальцами по столу.

Павел впервые выполнял за границей партийное задание по транспортировке литературы, он был горд своей миссией, весь поглощен конспирацией, но все-таки не удержался и напомнил другу, что тот вовсе не представитель международной морской шантрапы, а, напротив, человек политически грамотный, который мог бы стать борцом за счастье трудового народа.

Виктор с жаром закричал, что именно такая у него сейчас цель: именно борцом за счастье, иначе он давно обратился бы в первую русскую миссию и вернулся на флот. Берг тогда посоветовал ему прекратить шлянье по кабачкам, продолжить самообразование и ждать.

Прошло, однако, немало времени, прежде чем эмигранты допустили бравого моряка в свою среду. Вначале через третьи руки он получал пустяковые задания и, всем на удивление, выполнял их, не куражась, деловито и быстро. Доверие к Горизонтову пришло после того, как он самостоятельно выследил и разоблачил перед межпартийной контрразведкой агента русской заграничной агентуры.

В Россию Горизонтов вернулся под чужим именем и попал как раз к событиям 9 января, во время которых «взял в плен» Митю Петунина. Пленением этим, а особенно обращением монархиста в революционную веру Горизонтов очень гордился и теперь даже слегка растерялся от неожиданного афронта.

Между тем пока мы рассказывали историю этого юноши, в доме Бергов появлялись все новые и новые лица. Прошли через залу, неловко поклонились и исчезли трое молодых химиков. Юноши эти были не без странностей, настоящие затворники — все бы им сидеть в своих подвалах и мудрить над ретортами и колбами.

Павел Берг при виде химиков очень повеселел и подмигнул Горизонтову. Виктор тоже мигнул ему: понял, что прощен.<sup>1</sup> Николай досадливо передернул плечами. Он прекрасно знал, что в подвале, как раз под этой гостиной, целый склад взрывчатки, но обстоятельство это почему-то не слишком его радовало. Девочки же не обратили на химиков никакого внимания. Они к ним привыкли. Таня приставала к Горизонтову, чтобы тот прошелся на руках.

Горизонтов не заставил себя долго упрашивать и как раз отправился на руках по лестнице на антресоли, когда вошел, растирая красное от морозца лицо, Николай Евгеньевич Буренин.

— Николай Евгеньевич, может быть, вы нам поиграете? — робко попросила Танюша.

Буренин не стал ломаться, тут же сел к роялю и начал играть.

— Рахманинов, — еле слышно прошептала Таня и сжала кулачки на коленях.

При первых же звуках фортепьяно в зале появилась и неслышно прошла вдоль стены высокая девушка в темном платье — Надя Сретенская, курсистка и, кроме того, связанная боевой технической группы.

Горизонтов, прикрыв лицо ладонью, вроде бы погружаясь в музыку, меж тем внимательно рассматривал Сретенскую, ее волосы, лицо, фигуру. Сретенская строго смотрела прямо перед собой и только однажды быстро, исподлобья взглянула на Павла. Павел же смотрел на люстру, казалось, он был поглощен музыкой, но все же почувствовал взгляд Сретенской и улыбнулся ей не глядя, с рассеянной нежностью. Николай даже не делал вида, что слушает игру Буренина, а во все глаза, не скрываясь, глядел на Сретенскую. Лиза смотрела в окно на черные контуры деревьев и лишь изредка взглядывала через плечо на Горизонтова. Илья направился было к Лизе, чтобы сесть рядом, но, перехватив ее взгляд, резко повернулся и отошел к камину.

Итак, воспользуемся музыкальной паузой и для ясности посвятим читателя в маленькие личные тайны присутствующих.

Надя Сретенская любила Павла. Павел любил только революцию, но знал, что Надя любит его, и это ему было приятно. Брат его Николай был влюблен в Надю и не скрывал этого. Всякий раз, когда он встречал эту девушку, у него сбивалось дыхание от темного, не очень-то доброго волнения, а вслед за этим он уже только смотрел на Надю, не мог оторвать глаз. Виктору Горизонтову нравилась Надя, а может быть, и Лиза; он еще не мог решить, какая из девиц красивее. Лиза думала только о Горизонтове, то есть была в него почти влюблена. Ее, в свою очередь, тайно и мучительно любил Илья Лихарев. И только Танюша не имела еще постоянного предмета обожания. Ей все очень нравились, и всех она побаивалась — как бы не раскрыл кто-нибудь тайных ее мыслей, хотя мыслей таких у нее и не было никогда, а было лишь их предчувствие. Очень ее смущал поэт Бальмонт. Итак, атмосфера в доме была довольно сильно заряжена электричеством.

Кончив играть и поклонившись барышням, аплодировавшим ему, Буренин отозвал Павла в сторону.

— Павел Иванович, мне нужно с вами переговорить строго конфиденциально.

Они отошли в дальний угол гостиной и встали возле мохнатой субтропической пальмы.

— Сегодня вас видел Никитич, — сказал Буренин.

— Как?! — вскричал Павел. — Не может быть!

— Он был на концерте и наблюдал вас со стороны. — Буренин огляделся. — У вас очень уж настежь. Пожалуй, шпик проскочит, так и его к чаю пригласят.

После этого Буренин передал Павлу слова Красина о необходимости строгой конспирации.

— Да-да, понимаю... — смущенно бормотал Павел. — Никитич совершенно прав. И дом открыт, и сам я часто забываюсь, ору, как идиот...

— Вы должны понять, что надвигаются очень важные, решительные события, — тихо сказал Буренин.

— Это правда?!

— Да. Должно быть, в скором времени состоится Третий съезд. Что происходит в стране, вы сами видите.

— Николай Евгеньевич, сегодня вы впервые говорите со мной от имени самого Никитича, — сказал Берг. — Я понимаю, что это уже новая фаза доверия. Я обещаю сделать все, что мне прикажут. Скажите, я когда-нибудь увижу его самого?

— Возможно, — коротко сказал Буренин. На этом они расстались.

Между тем молодежь отправилась гулять. Горизонтов, Николай Берг, Илья Лихарев, Лиза, Таня и Надя шли вниз по Поварской. Горизонтов рассказывал о быте московского «Латинского квартала», о знаменитой «Чебышевской крепости», где некогда гнездилась еще нечаевская «Народная расправа», о каракозовском «Аде». Он так ярко живописал буйных нынешних обитателей этих студенческих трущоб, что даже воплощенная строгость — Надя Сретенская начала улыбаться, а этого он как раз и добивался.

Снегопад давно уже прекратился, и небо открылось. Чистая луна стояла в небе, Поварская была расчерчена тенями деревьев.

Возле Арбатской площадки толпился народ, скрипели полозья, кричали извозчики.

— И вот тихарь говорит Помидорскому, — кричал на всю Ивановскую Горизонтов: — «Завтра обо всем будет доложено декану!» А Помидорский ему в ответ: «А сейчас я тебя выброшу из окна!»

Хохот компании был прерван вдруг визгливым голосом сзади:

— Изменники! Крамольники! Перевешать бы вас всех!

Горизонтов резко повернулся...

ГАЗЕТЫ. АГЕНТСТВА

«...В начале февраля в Москве солидная дама в ротонде, встретив группу студентов и гимназисток, обратилась к ним с грозным обличением.

— Изменники! — взвизгивала дама. — Крамольники! Перевешать бы вас всех!

Один из студентов, возмущившись таким тоном и особенно в виду начавшей собираться толпы, резко заявил свой протест.

...Дама обиделась, толкнула протестанта в грудь, поскользнувшись, упала и... оказалась мужчиной в подобающем этому полу костюме под платьем и ротондой.

«Патриота-переодевателя» тут же наградили тумаками, но никто не решился составить соответствующий протокол, чтобы, хоть выяснить: агент это, провокатор, сумасшедший или своеобразный патриот?»

Виктор Горизонтов был довольно уже известен на Бронных улицах под именем «Англичанин Вася». Изображал он здесь из себя несусветного чудака, путешественника, этнографа, англomана и поклонника восточных религий. Физическая сила, бокс и джиуджитсу, а также общительный нрав и фантастические рассказы принесли Горизонтову среди обитателей квартала значительную популярность. Нравы здесь были вольные, откровенные филеры не решались и носа просунуть в «Чебыши», а дворники и околоточные были настолько терроризированы беспутными студентами, что им и в голову не приходило проверить, настоящее ли имя носит Василий Агеев, он же Англичанин Вася, или поддельное, настоящий у него «пачпорт» или липа. Здесь можно было подозревать буквально каждого, так что для спокойствия лучше было никого не подозревать и втирать очки начальству.

Однако Горизонтов был осторожен. После убийства великого князя на Бронных улицах могли появиться новые шпики. Нельзя недооценивать охранку. Не все же там такие дубины, как старый пес Ферাপонтыч Уев. Наверняка они сейчас идут на всяческие ухищрения и засылают провокаторов, может быть, даже замаскированных искусно под революционеров или богему.

Вот, например, навстречу движется чучело гороховое в продранном цилиндре, клетчатом пледе на плечах, в пенсне — вид прямо монмартрский — а вдруг шпик? Э, да это знакомый, один из новых духовных вождей Мити, теоретик анархизма Эмиль Добриан.

— Вечер добрый, мосье Добриан, — приветствовал его Виктор.

— Здравствуй, красивый человек-зверь, — вялым голосом ответил погруженный в себя мэтр и прошествовал мимо. Шел, разумеется, в буржуазный дом — пугать гостей и ужинать.

Через несколько шагов Горизонтов повстречал добрую фею Большой Бронной тетку Авдотью, хозяйку переполненной совершенно уже нищими парнями квартиры.

— Бонжур, Евдокия Васильевна, — поклонился Горизонтов.

— Бонжур и вам, Василий Батькович, — пропела Авдотья, угостила молодца теплым еще калачом и осмотрела его всего с сожалением. — И здоровый-то и румяный, в деревню бы тебе, Васюша, в хорошее хозяйство, а ты все здесь маешься. Ай, леварюцию ждешь?

Простившись с теткой Авдотьей, Горизонтов сделал еще несколько шагов и перемахнул через гнутую-перегнутую чугунную решетку во двор своего дома. Можно было пройти еще шагов двадцать до так называемого «парадного» входа, но не было там сладости пролета над чугунными пиками, и потому Англичанин Вася предпочитал этот путь.

Сразу за решеткой цепкий глаз Горизонтова заметил следы, пятками уходящие в глубь двора, к заброшенному амбару. Виктор посветил спичкой. Так и есть — следы были желтыми. Мелинит!

«Ох, эсеры-сволочи! Ну что делают!» — покачал головой Горизонтов и двинулся по следам, затаптывая их, забрасывая их свежим снегом.

В амбарчик можно было попасть через полуподвальную дверь. Виктор бухнул в нее сапогом. Внутри что-то упало.

— Кто? — спросил тихий голос.

— Свои! — крикнул Виктор и сразу услышал характерный звук взводимых затворов.

— Не дуридите, не дуридите! — сказал он. — Не знаю я ваших паролей, а дело срочное.

— Англичанин Вася, — сказали в амбаре, и дверь приотворилась.

Несколько бледных лиц освещались слабой керосиновой лампой. На длинном дощатом столе валялись мотки бикфордова шнура, стояли банки с глицерином и кислотой. Готовая продукция разрушительных снарядов скромной горкой была уложена в углу, на рогожке.

— Эх, эсеры, эсеры, — укоризненно проговорил Горизонтов, — черти вы полосатые!..

, — В чем дело? — выступил вперед мосластый, кадыкастый, носастый, с выдающейся челюстью юноша Юрий Юшков, по прозвищу «Личарда». — Мы вам, кажется, не мешаем? Идите своей дорогой.

— Посмотрите себе под ноги, господин Юшков, — сказал Горизонтов и показал на пол, покрытый рассыпанным и растоптанным мелинитом. — Чем желтый след по снегу протаптывать, лучше уж вывеску на улице повесить: «Бомбовая мастерская Личарда и К°».

— Фу, черт! Англичанин прав! — заволновались эсеры.

Горизонтов покинул помещение и, очень довольный собой, воображая со стороны, с эсеровской стороны, свое эффектное и полезное появление, снова пересек двор, поднялся в скрипучую дырявую комнатушку, которую он делил со своим «пленником» Митей Петуниным.

В комнате, еле-еле освещенной огарком свечи, сидел на единственном венском стуле какой-то молодой человек. Митя Петунии что-то горячо втолковывал ему, гость читал книгу и не обращал на Митю ни малейшего внимания.

— Митька! — гаркнул с порога Горизонтов. Бывший драгун вскочил и вытянулся по швам. Горизонтов вывел его на лестницу.

— Опозорил меня сегодня у Бергов, драгунская шкура, — усмехаясь, сказал он. Какую-то необъяснимую слабость питал он к этому странному типу с его вывихнутыми мозгами. — Ты где это анархистских идей поднабрался?

Митя лихорадочно запыхтел папиросой. Освещались и пропадали его впалые щеки.

— Раза два или три ходил в «Ад», Виктор Николаевич, в общество «Солнце и мы». Увлёкся.

— В общем, эту муть из головы выброси, — приказал Горизонтов. — У нас своя теория есть, и притом научная. Время к боям готовиться, а не трепаться. Тебе еще нужна кровь смыть с рук, анархист несчастный.

— Литературки не хватает, — сказал Митя. — Забросили вы меня, Виктор Николаевич.

— Ладно, Митяй, литературы я тебе добавлю. Молодой человек отложил книгу и вышел на лестницу.

— Англичанин, нам пора. Не забудь игрушку.

...Горизонтов положил на ящик тяжелый предмет, завернутый в тряпку, оглядел присутствующих и серьезным голосом заговорил:

— Товарищи! Революционные события нарастают по всей стране. Социал-демократия в самое близкое время должна выработать свою тактику. Сейчас большинство комитетов стоит за точку зрения товарища Ленина о созыве Третьего съезда. Нам переданы указания об организации сил самообороны на предприятиях и в учебных заведениях. Возможны стычки с полицией и черной сотней. Это указание идет от Никитича. Сегодня мы с вами будем не книжки читать, а заниматься кое-чем посущественней.

Он улыбнулся широко и с веселым коварством. Сверкнули крупные зубы. Горизонтов развернул тряпицу, и все увидели черный револьвер с длинной гнутой рукояткой.

— Кто знаком с этой штукой? — спросил Горизонтов.

Никто не ответил. Рабочие, как замороженные, смотрели на оружие.

— Револьвер системы «Смит и Вессон», — сказал Горизонтов. — Это, конечно, не «кольт», который у меня был в Ванкувере, но все же...

Глухая февральская ночь 1905 года. Тревога, бессонница...

— Почему ты не спишь, Леонид?

— Теперь уже бесполезно спать. Я выезжаю поездом в 6.15. Завтра утром заседание ЦК...

— Знаешь, мне что-то тревожно. Сегодня на улице полковник Владимирский так посмотрел на меня! Он подозревает...

— Бог с ним, с Владимирским, и всеми местными жандармами. Мне кажется, Люба, что мы не заживемся в Орехове.

— Тебе кажется или?..

— Я почти уверен. Ты должна быть готовой ко всему. Что-то близится очень серьезное...

— У меня тоже такое чувство. Должно быть, скоро революция грянет.

— Да-да, в этом нет сомнений, идет девятый вал. Но поверишь ли, Люба, меня порой охватывает оторопь, я спрашиваю себя каждую минуту: готов ли? А тебе не страшно за девочек, за себя?..

— Конечно, страшно, но... но ведь это то, о чем мы мечтали в юности как о несбыточном торжестве.

В тишине слышались лишь вой ветра да далекие гудки маневрового паровоза.

— Теперь прощайте, машины, генераторы, батареи. Скоро мне придется иметь дело с электричеством другого рода.

— Знаешь, Леонид, когда ты занят своими машинами, мне становится покойно и прекрасно, но, представь, немного горько — ну вот и все, думаю я. Когда ты уезжаешь по другим своим делам, мне страшно, тревожно и радостно, как в юности... как будто мы еще там, над Волгой, на откосе...

Она села на кровати и завернулась в одеяло. Блестели только огромные глаза, в полумраке она казалась совсем девочкой, той, из Нижнего Новгорода...

Кремовый ночничок с просвечивающим купидоном, халат с кистями... Он отогнул тяжелую штору. Внизу под слабым фонарем по брусчатке мела поземка.

Голова сидящего за огромным столом подполковника Егерна упала на грудь,..

«...Зубатов, безусловно, одаренный человек, но чего ждать от господина Лопухина, нынешнего директора департамента полиции? Зубатов — зубы, это неплохо... Лопухин — лопух, это постыдно... Лопух и зубы — очень прямолинейно, здесь нужен человек с фамилией типа Ехно-Егерн... Ехно-Егерн — как прекрасно и непонятно... Ехно — отвлекающий, теплый, слегка пахучий, но на мягких лапах, и Егерн — удар по темени...».

Тут же подполковник подскочил, встряхнулся — фу, черт, засыпаю уже на ходу... как старик.. Выбрался из-за стола и пружинисто зашагал по полутемному, очень большому кабинету, вставил в глаз монокль, взглянул в окно на застывшие в морозной ночи подстриженные деревья.

«Но граф Витте умница, как мог он позволить эту бездарную живодерню? Неужели он не понимал, что это только приблизит бунт?..»

В дверях вырос дежурный офицер. В руках у него был сверток.

— Разрешите доложить, господин подполковник, за вами прибыли. Здесь партикулярное платье...

— Вы чего смеетесь, Игнатьев?

— Смешное сообщение набираю, господин метранпаж!

— Покажите!



— Извольте.

«Вчера около часа дня провалился Египетский мост через Фонтанку при переходе через него эскадрона лейб-гвардии конно-гренадерского полка. Есть пострадавшие. Все живы».

— Что же тут смешного, Игнатьев?

— Очень смешно, господин метранпаж.

— Ровно ничего тут смешного нет, господин Игнатьев. Сообщение, наоборот, скорее печальное. Провалился мост, люди и лошади были испуганы, есть травмы...

— Все понимаю, господин метранпаж. Тут плакать надо, а мне смешно.

— Вы в церковь ходите, Игнатьев?

— Нет, господин метранпаж, я дома молюсь.

Пожимая плечами и передергивая спиной, метранпаж «Биржевых ведомостей» отошел от наборщика. Бессмысленный этот разговор застрял за воротником, словно волосы после стрижки. Чуть какая-то!

— Нам, Пашенька, встречаться больше не нужно... — проговорила Надя.

— Но почему, Надя? Почему? Почему мы не можем любить Друг друга? Жениться, конечно, сейчас глупо, но почему...

— Как жаден ты до жизни, Паша...

— Ну конечно! Почему же нет?

— Потому что чем-то надо жертвовать.

— Я пожертвую всем, когда будет нужно.

— Даже мной?

— Всем самым дорогим, ты знаешь...

— И я тоже, милый мой Пашенька...

— Я знаю, Надя...

— Ну, вот и расстанемся...

— Зачем же сейчас нам расставаться? Она засмеялась.

— Все-таки немецкий здравый смысл где-то в закоулке мозга притаился у тебя, майн либер Пауль. — Она вдруг оборвала смех и сказала неожиданно: — Ты знаешь, что твой брат любит меня?

— Коля? Что за вздор! Надя усмехнулась.

— Вот он ради меня пожертвует всем на свете. Он как одержимый...

— Ты меня удивила, — довольно спокойно сказал Павел. — Но ведь я не виноват, что ты полюбила меня, а не его...

Она смотрела на пушистые ветви елей.

— Завтра мне нужно будет найти акушерку...

Городовой Ферапонтыч, словно лошадь, обладал способностью спать стоя. Больше того, он любил спать стоя. Любил войти с мороза в фатеру и, не снимая шинэлки, при шашке, леворверте и свистке, тут же, посреде комнаты, заснуть.

Супруга знала эту его особенность и хоть перед соседями стыдилась, но уважала.

Вот и в эту ночь Ферапонтыч посвистывал носом, стоя посреде низкой горницы уже чуть не второй час. Обледенелость стаяла, и под Ферапонтычем натекло. Видел он самый настоящий уж-жастный сон, отгадки которому ни у какой гадалки, ни даже в соннике сестриц Фурьевых не найдешь.

Кучерявый скубент, похожий на того, чугунного, с Тверского бульвара, сымал с него портупей. Сымаешь сымай, а бонбу в карман не суй, там у меня стакана два тыквенных семечек осталось. И щакотки я не переносу, все это знают в околотке, включая супругу Серафиму Лукиничну, в девичестве Прыскину, статс-даму свиты Ея Величества... Сымает, все сымает с меня уважаемый скубент. Усе уже снял с меня, пузо волосатое уж до колена

отвисло, а он все бонбу мне в карман — под кожу, что ли? — сует, и зачем? — конечно, они ученые, им видней, а только ежели шарахнет, куды ж мне грыжу-то мою девать?

Супруга Серафима Лукинична, в девичестве Прыскина, с привычным страхом и уважением смотрела на свистящую, охающую, булькающую статую мужа.

— Танюшка, ты опять босиком шлепаешь? Опять секретничать?

— Лиза, сознайся: ты влюблена в Горизонтова! Верно?

— Как тебе не стыдно, Татьяна, говорить о таких легкомысленных вещах в такой ответственный момент?

— Я знаю-знаю, я все вижу! Вижу, как ты на него смотришь. Ты так на него смотришь из-за плеча, что у меня мурашки вот здесь пробегают.

— Танька!

— Конечно, Витька красавец, а в тебя Илюша влюблен!

— Вот это уже ближе к истине...

И тот же лунный свет, и легкое дрожание, и сестры юные в преддверии любви. Канун восстания...

— А Надя любит Павла, а Коля любит Надю, — быстро пробормотала Таня. Она сидела у Лизы в ногах, колени ее были обтянуты ночной рубашкой.

— А ты? — Лиза быстро схватила сестру за пятку. — А ты кого любишь, козленок?

Таня вдруг ответила серьезно и с полной готовностью:

— Я люблю Николая Евгеньевича Буренина.

Лиза изумленно вскрикнула, села в постели и уставилась на Таню. Та вдруг уронила голову в колени, всхлипнула.

— ...и Рахманинова. И еще молодого поэта Блока. Старшая сестра рассмеялась.

Ночи этой не было конца.

Унылая набережная Обводного канала была пустынна, когда Ехно-Егерн подъехал к дверям «меблирашек», где в третьем этаже угол одного окна был слабо освещен зеленой лампой.

Брезгливо морща губы, перепрыгивая через замерзшие кучки нечистот, подполковник, в штатском платье похожий на клерка из Сити, взбежал по лестнице, прошагал по коридору, где из-за дверей слышались храп, стоны, скрип пружин и другие неприятные его уху звуки, распахнул без стука дверь девятнадцатого номера.

Всякий раз, когда он видел эти глаза, Ехно-Егерну становилось не по себе. Так и сейчас, столкнувшись со взглядом сидящего за столом черного человека средних лет, подполковник про себя чертыхнулся — чем-то ужасным всегда пахли, именно пахли эти глаза, даже не адом, чем-то похуже.

Не поднимаясь из-за стола, человек указал Ехно-Егерну на ненадежный по виду стул.

— Здравствуйте, Евно Фишелевич, — вежливо сказал подполковник, чуть скрипнув зубами, но взял себя в руки.

— Вы опоздали на одиннадцать минут, Александр Стефанович, — тусклым, механическим голосом заговорил Азеф. — Время наше весьма ограничено. Давайте сразу возьмем быка за рога. Думаю, что вас интересуют подробности последнего акта. Вы, конечно, догадываетесь, что остановить его я был не в состоянии...

— Да и незачем было его останавливать, — усмехнулся Ехно-Егерн и быстро заглянул в глаза Азефу, да так глубоко, что теперь уже тот вздрогнул.

Все, все знает про него этот узколицый, умный, как бес, молодчик, жандармская шукура. Знает, что не за собачьи рубли служит он, Азеф, один из руководителей боевой организации эсеров, охранному отделению, а служит для того, чтобы оставаться этим руководителем, повелевать людьми, отчаянными смельчаками, двигать разрушительные

силы. Знает жандарм и то, как оправдывает себя он, Азеф, как доказывает, что он один умнее всей охранки, что не он у нее, а она у него на поводу. И с какой откровенностью, каким цинизмом заявляет этот жандарм, что ему, может быть, даже на руку убийство великого князя и что дело совсем не в этом!

— Евно Фишелевич, сегодня я, собственно говоря, попросту выполняю поручение полковника Укучуева, — мягко, как с больным, говорил Ехно-Егерн.

Новая струйка ненависти передернула лицо Азефа: «Сами, значит, крутите, виляете, дубину Укучуева все подсовываете».

— Но попутно, Евно фишелевич, хотел вам задать один вопрос. Есть ли у вас связи с руководством эсдеков, особенно с большевиками? Вроде бы должны быть — ведь боевое братство, а? Нас интересуют лица, носящие клички Борис, Клэр, Винтер, Коняга, Никитич, Глебов, Лошадь Записывайте, пожалуйста, Евно Фишелевич 1... Может, чего услышите...

1 Виктор, Никитич, Лошадь — это все подпольные клички Красина.

— Третий раз мы встречаемся, и третий раз вы меня спрашиваете об эсдеках, — хмуро, отводя в сторону глаза, сказал Азеф. — Похоже, что эта партия интересуется вас больше всего...

Он поднял глаза и уставился в блеклые голубые зенки Ехно-Егерна. Тот невольно потянулся в кармашек за моноклем, но сдержался. Некоторое время они смотрели друг на друга, не отрываясь, вот-вот готовы были с рычанием вскочить, ломать друг другу руки, брызгать слюной, пытаясь добраться до горла... Продолжалось это не более нескольких секунд, к обоюдному счастью. Третий раз они встречались, и третий раз у обоих одновременно вспыхивал неукротимый позыв к убийству, который быстро исчезал.

Через минуту они уже мирно сидели друг против друга, и подполковник передавал провокатору конверт с «собачьими рублями».

— Там как раз и письмо вам от Укучуева. А насчет большевиков не обижайтесь. Нет у нас в их среде человека такого ценного, как вы...

Черные мысли, как мухи,  
Всю ночь не дают мне покою...

Низкий женский голос с некоторой натугой вылетал из трубы заводного граммофона продукции «Юлий Генрих Циммерман». Николая Берга выводил из себя этот томный, умирающий голос, он так и видел перед собой некую даму в теле, раскинувшуюся на софе. Николай отвлекся от разговора, смотрел на проклятый граммофон, стоящий на стойке буфета. Хозяину ночной чайной, видимо, очень нравилась музыкальная машина.

«Таким образом, — назойливо думалось Николаю, — изобретение человеческого ума в руках идиотов превращается в орудие пытки».

Усилием воли он заставлял себя отворачиваться от граммофона и взглядывал на собеседника Илью Лихарева, юношу круглолицего, аккуратно причесанного, с умными, спокойными глазами. Николай вертелся на своем стуле, глотал лихорадочно пиво, затягивался папиросой, бросал ее, а Илья, напротив, сидел совершенно вольно, закинув ногу на ногу, скрестив руки на стопке книг, затянутой ремешком, и пива почти не пил.

— Значит, и вы, Илюша, мечтаете об оружии?

— Я рабочий, Николай Иванович...

— Илья! •

— Прошу прощения, Николай. Я рабочий, Николай, и как рабочий мечтаю об оружии.

— По-вашему, рабочие ждут оружия?

«Все ли ждут? — подумал Илья, и перед глазами проплыло страшное нутро мамонтовских рабочих казарм, где прошло его детство. Вопящие худосочные дети, вопящие

в пьяной драке родители, тошнотворные запахи гниющего тряпья, обмылок, 'обросшие плесенью стены... — Вовсе не все. Сколько людей оступело, превратилось в тягловый скот, не представляющий другого образа жизни! И я бы мог стать таким, мог бы уже хлестать водку и участвовать в поножовщинах, если бы...» — Он вздрогнул и сказал зло:

— Все. Даже самые неразвитые, несознательные в глубине души мечтают пустить в ход оружие. Степень эксплуатации, Николай Ив... Николай, увеличивается прямо пропорционально росту экономического прогресса. Вот вы были сегодня в цехе, видели мастера Столетникова...

— Скотина! Идолище азиатское! — вскричал Николай. — Да его надо немедленно уволить!

— Совсем не обязательно, — усмехнулся Илья. — Столетников — не самый худший мастер в Москве. Штрафы, пинки, зуботычины испокон веков считаются нормой русской рабочей жизни. Что Столетников — мелкий шурупчик... Ломать надо всю машину!

Сегодня в вечернюю смену Николай пришел на обувную фабрику, чтобы посмотреть на новый станок, доставленный из Германии. Пришел и угадал как раз на шумный скандал. Мастер Столетников в густом облаке матерщины тащил за вихры по цеху какого-то ученика. Мальчишка, оказывается, заснул за штабелями кожи и был застигнут недреманным оком.

Мальчик молча с закрытыми глазами сносил побои, а Столетников все больше зверел, распаялся от этого покорства. Тогда несколько рабочих бросили станки и окружили их. Ученик тут завопил, мастер засвистел в полицейский свисток, рабочие закричали, размахивая кулаками. Цех загудел, и только лишь два немца-механика, не обращая ни на что внимания, продолжали возиться со своей машиной.

Когда Николай через цех подбежал к месту происшествия, в центре перепалки уже был Илья Лихарев. Должно быть, он давно сменился, ибо был одет во все чистое и под мышкой держал книжечки, но что-то, видимо, задержало его на фабрике. Николай был поражен, как быстро Илья ликвидировал заваруху. Стоило этому скромняге пареньку сказать несколько слов, как мастер отпустил мальчика, а возбужденные рабочие вернулись на свои места. Похоже было, что Илюшу здесь держали повыше мастера.

— Мы вас предупреждали, Столетников, чтобы прекратили рукоприкладство, — услышал Николай негромкий голос Ильи.

— А ты кто такой, кто такой? — чуть не плача от унижения, шипел мастер. — Комитетчик, да? Смотри, Илюшка!..

Илья повернулся к нему спиной и тут столкнулся с Колей. С фабрики они вышли вместе.

— ...Наша фабрика вообще нетипичная, — продолжал Илья, — а вокруг-то ведь мрак, холод, недоедание. Может ли человек мириться, что так будет всю его жизнь? Всю жизнь! До каких-то пор будет мириться, но однажды...

— Б-р-р! Все я могу выдержать и понять, но вид страдающего ребенка вызывает и у меня желание взяться за оружие. Но... но, послушайте, Илюша, ведь это все эмоции... а законы экономического развития капитализма... Вы же непрерывно читаете, читаете бездну книг... Знаете, что о вас говорит сестра?

— Какая?

— Не вздрагивайте, не Лиза. Таня. Она говорит, что она вас без книги и на баррикаде представить не может... Неплохо, да?

— Мне нужно наверстать... Ведь у меня нет образования...

— Ну, так ведь книги говорят о сложности всего этого экономического, социального, политического переплета, связанного с революцией. Маркс пишет, что пролетарская революция начнется в странах технически самых развитых...

— Марксизм не столп Хаммурапи. Есть кое-какие современные книги, проясняющие этот вопрос.

— Необходим для революции опыт экономической борьбы, опыт демократической практики, культура масс. А что у нас — миллионы квадратных верст пустоты, дичь, темнота...

— И все-таки для России час пробил!

— Да вы мистик какой-то! Я знаю, что и в самой вашей партии есть люди, которые думают так, как я, а не так, как вы с Павлом, и... и..

— Они ошибаются. Вы увидите скоро, что правы мы с Павлом. И Надя Сретенская... Хотите, прочесть вот это? — И Илья протянул ему тоненькую брошюру с названием «Что такое «друзья народа»...

«Надя... Надя...» — повторял про себя Николай. — Страшно за нее, — сказал он вслух.

— За Россию? — спросил Илья. — За нее не бойтесь.

Николай промолчал. Он морщился, слушая вылетающий из трубы марш кавалергардского лейб-гвардии его величества полка, и глядел на вваливающихся в чайную громоздких, задастых извозчиков в синих поддевках.

#### ГЛАВА IV

##### Тихий вечер в грузинах

В сером, угасающем свете деревья Цветного бульвара и впрямь рисовались мрачной сеткой гравюр Доре к Дантовому аду. Сливались с монотонным странным гулом чавканье усталых копыт по мокрому снегу, причмокивание извозчика. Сливалась с темнотой его спина. Красин через весь город, чтоб скоротать время, ехал на Грузины, к дому писателя Леонида Андреева, где проходило заседание ЦК.

В середине нашей жизненной дороги...  
объятый сном, я в темный лес вступил...

Ему было 35 лет, как мне. Дошел до середины. Как тихо на улице, как будто кто-то стер запись звуков с фонографа... Эта неожиданная оттепель... Мокрый воздух всегда волновал ранее, напоминал что-то неясное: о молодости, о любви, о путешествии, — а теперь не волнует. На утреннем заседании сказано было много ценного... Может быть, Дубровинский прав... Хорошо, что удалось обернуться в Орехово и показаться на станции...

Белые неподвижные столбы дыма в темном небе, пересечение ветвей...

— Барин, дальше-то куды-ть?

— Поезжай на Божедомку!

Как говорится, едем с ярмарки. Ну, наша ярмарка впереди!

Если Ленин прав и меньшинство в руководстве «Искры» и в Совете партии до такой степени заплесневело, то съезд нужно собирать безотлагательно, чтобы не опоздать к событиям... О, сколько хлопот, сколько будет возни! Переезды через границу, липовые документы... Сколько денег... Морозов больше уже не даст, не сможет... Может быть, прибегнуть к заграничному займу, это не такая уж безумная мысль...

Итак,

В середине нашей жизненной дороги...

Санки тащились вверх по горбатой улочке, и вот из-за крыши кособокого домика выплыла багровая полоска гаснущего заката, и на фоне ее появился силуэт встречного — узкоплечая фигура с поднятым воротником, над которым нелепо, торчком возвышалась шляпа, подпираемая полукружиями оттопыренных ушей, узкая шаткая фигурка на неверных ногах, с неверной тросточкой, чуть трепещущая и будто о чем-то вопрошающая.

Красина вдруг снова охватило смутное, непонятное чувство. Пейзаж был мрачен, но в то же время он вселял и какое-то успокоение, что-то расплывалось, растекалась душа, уходила куда-то к полосе заката. Да почему же я еду сейчас в санках по Божедомке? На снежной Божедомке в этот вечерний час я слышу лай собак и вижу встречающих, они молчат, и я молчу... Мне нечего им сказать... Где я? Сейчас на Божедомке...

Итак, надо поговорить с Саввой и попросить его связать меня с Кацнельсоном, который сочувствует и, безусловно, знает Белкина-Хвостова, представителя «Лионского кредита», чтобы тот в определенный момент поговорил в Париже, скажем, с Шарпантье, а в Лондоне, скажем, с Фельцем, ссылаясь на меня, завтра же написать Вере Федоровне благодарность и изложить новый проект, она молодец...

— Барин, а барин, куды-ть таперича?

— Поезжай по Лесной!

Теперь о Боевой технической... В Петербурге дело идет на лад, это хорошо, там наверняка и начнется...

«Альфа» и «Омега» — вот ведь молодцы, представляю, сколько бы отвалили где-нибудь в Брюсселе за их изобретение...

болгарин из Софии — не забыть;

в Москву, конечно, огонек перекинется, не может не перекинуться, иначе провал...

здесь дело обстоит хуже, чем в Петербурге, в подвале у Бергов работают химики, но этого мало;

кстати, вокруг этих Бергов целая группа нашей молодежи, из них только Надя Сретенская знает меня как Никитича, позднее придется открыться...

Надя — идеальная подпольщица... Да-да... Что такое этот Горизонтов?

Смелости, конечно, отчаянной юноша, такие будут нужны. Но за ним нужен будет глаз да глаз. Кажется, что он от избытка жизненных сил относится к революции как к какому-то азартному спорту, к чему-то вроде воздухоплавания; может быть, должно пройти время, чтобы он стал настоящим бойцом.

...совсем другая сейчас молодежь, чем в пору моего студенчества.

Извозчик тащился в это время мимо Бутырской тюрьмы, но Красин думал свое и места этого, весьма примечательного, даже не заметил.

В смелых ребятах, правда, и до Красина недостатка не было, а впрочем, конечно, смелых юношей было тогда меньше, да и смелость эта была иной, смелостью одержимых сумрачных и обреченных одиночек. Достоевский, конечно, извратил в «Бесах» революционное движение, но он своим гением верно нащупал некоторую ущербность, мутную истовость того времени, что-то от самосожженцев-раскольников, а нынешние юноши-революционеры принесли с собой веселую уверенность нового века, они вроде и не сомневаются в победе, они готовы погибнуть, но и не обязательно. Они предполагают жить и строить новую Россию...

Откуда у Павла Берга революционный пыл, откуда?

Почему Савва ненавидит свой класс?

В семье Красиных постоянно жил дух разлада с обществом лицемерия и казенщины. Отец, человек недюжинного ума, правдолюбец и по самой своей сути, получал постоянные удары, обидные щипки и ошеломляющие зуботычины, прозябал на жалких, унижительных должностях, смотрителем, например, дома призрения для престарелых, и боль за отца утвердила в душе мальчика протест против творимой в мире несправедливости. Мать его, волевая и резкая женщина, в отличие от молчуна отца нередко высказывала свои опасные мысли вслух. Она не только не боялась, что «дети услышат», а, напротив, словно нарочно хотела, чтобы дети вырастали в гордыне и непокорстве. Она не знала, что такое социализм, но направление ее ума было явно социалистическим.

О социализме Леонид впервые услышал в Тюмени от тех молодых людей, которых в столичных либеральных салонах называли «цветом России, гниющим в тундрах», Таким образом, он приехал в Санкт-Петербург уже полностью созревшим для «крамолы» и

поступил в «гнездо крамолы» — Технологический институт — да и сдружился там сразу же с марксистом Брусневым. Изучение истории, экономики, трудов Маркса принесло ясное сознание того, что строй этот с его тупой, неповоротливой системой принуждения обречен. Вот уже шестнадцать лет, как он начал работать на революцию: кружки, распространение нелегальной литературы, агитация. Все это он делал спокойно и уверенно, Спокойствие не покидало его даже в тюрьмах, в одиночном заключении. По-всякому он относился к своим врагам, власть предержащим, — с презрением, с жалостью, как к недоумкам, с насмешкой, порой даже с ненавистью, но... не с такой ненавистью, как сегодня, после Кровавого воскресенья, ненавистью ослепляющей, воющей ненавистью.

Это ужасно. От такого чувства мы, социал-демократы, должны быть свободны. Ненависть социал-демократа должна быть холодной и ровной. Она не должна ослеплять разума — ведь в мире все развивается по законам уже открытым, научным и непреклонным. Социал-демократ — это техник, обслуживающий машину истории. Ишь ты, красивая фраза. Представляю, как высмеял бы ее Ленин, попадись она ему в какой-нибудь статейке новой «Искры». Техник, обслуживающий машину истории. Машина, мол, сама крутится, а мы только маслица подливаем. Хорошо, что я практик, а не литератор и мне не нужно высказывать свои мысли в печатной форме.

Я, инженер Красин, строю электростанции и делаю бомбы, а Берги... Младший, Николай, кажется, больше склонен к электростанциям, чем к бомбам. Интересно, в этих братьях как бы соединились два моих лица — революционер и строитель.

Лошадка трусила вдоль коночной колеи, мимо линии подслеповатых домишек, за розовыми окошечками которых угадывалась потная, малоподвижная жизнь. Казалось, что у жильцов Лесной улицы постоянно чешется тело. И вот проехали магазинчик с солидной вывеской

## ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КАВКАЗСКИМИ ФРУКТАМИ КАЛАНДАДЗЕ

В окне магазинчика Красин успел увидеть Марию Искрянистову. Навалившись увесистой грудью на прилавок, «Труба» читала пухлый и явно нелегальный том. На носу этой «прислуги одной за все» в довершение ко всему блестело пенсне. Вот черт, с ней придется все-таки расстаться, Семен прав.

Под вывеской «Каландадзе и К0» вот уже около двух месяцев работала подпольная типография ЦК, оборудованная опытнейшими красинскими «гвардейцами» из Баку — «Семеном», Ваню Стуруа, Караманом Джаши. Пока все шло хорошо. Любой посетитель, желающий вступить в торговые отношения с фирмой, мог ознакомиться с образцами товаров, имевшимися в лавке, — двумя головами вонючего тушетского сыра, мешком кишмиша, вязанкой чурчхелы. Если заключалась сделка, кто-нибудь из подпольщиков отправлялся на Сухаревку, закупал там товар и поставлял заказчику. Под магазином между тем в жутком подвале, куда надо было пробираться ползком, печатались листовки и «Рабочий журнал».

Все шло нормально, и вот только «Труба», специально выписанная на роль прислуги подпольщица из Иваново-Вознесенска, вызывала ярость темпераментных кавказцев.

— Зарежу, — трепетал за стенкой Стуруа, когда «Труба» в присутствии посетителей обращалась к «хозяину» с такими словами:

— Товарищ, а где у нас находится швабра? Проехали. Красин повернулся и еще раз посмотрел на вывеску, на дверь и мирный огонек в окне.

В Грузинах было совсем тихо, словно в деревне, и лишь изредка нарушал идиллию резкий свисток с маневровых путей Брестской железной дороги.

Вот показался впереди и андреевский особняк. Что это? Из ворот особняка выскочил и спрятался под аркой дома напротив какой-то молодчик с выпяченным задом и в коротких сапогах.

Красин напряг зрение. Под аркой, показалось ему, мерцали дворницкие бляхи, ряды военных пуговиц, огоньки папирос. Может быть, просто мнительность? Подпольная работа нередко приводит к мании преследования.

За шторами андреевского дома двигались многочисленные тени. В пятом от угла окне штора была чуть отогнута и видна была свеча в длинном узком подсвечнике. Свеча могла быть сигналом об опасности, хотя уговора такого и не было. Так или иначе, неестественное оживление в доме писателя крайне подозрительно. Сейчас все цекисты должны сидеть за столом, г Александра Михайловна — спокойно распоряжаться у огромного самовара.

— Поезжай, поезжай, милый!

Дом Андреева остался позади. Завернув за угол, Красин отпустил извозчика и отправился ночевать к брату Герману, такому же лояльному и солидному, как и он сам, инженеру.

Ранним утром пришло известие от Александры Михайловны: ее муж, знаменитейший писатель, властитель дум, «человек-миф, скальпелем безжалостного таланта проникающий в самые отдаленные тайники души», вчерашним вечером арестован. Вместе с ним арестованы и отправлены в Таганскую тюрьму его «собутыльники» — почти весь Центральный Комитет.

Красин подравнивал бороду в ванной и обдумывал происшедшее. Отлично выправленная бритва в его руке слегка дрожала.

Такого провала у партии еще не было. Знает ли охранка, кого она сцапала? Кто навел их — провокатор или простые ищейки?

Так или иначе, надо действовать. Разыскать уцелевших членов ЦК. Любимов сейчас в Смоленске, Постоловский — на Кавказе.

Кооптировать новых членов, уведомить комитеты. Начать выборы делегатов на съезд. Продолжать поиски денег.

Все ясно, как день, — он переходит на нелегальное положение... Сейчас первым делом нужно ехать на Спиридоновку к Морозову.

Морозов командует его в Баден, на завод «Броун Бовери»... «Вот причина исчезновения инженера Красина, господин полковник, как видите, она весьма проста: личная приемка частей новой турбины, никому другому не мог поручить-с...»

Принять все меры для сохранения типографии и лаборатории. Документы достанет Грожан. Деньги, деньги, деньги.

Герман вошел в ванную и посмотрел в зеркало на лицо брата.

— Поражаюсь я, Леонид, проволочные у тебя нервы, что ли?

— Нет, не проволочные, — ответил Красин. Герман виновато усмехнулся.

— Я вот не выдержал, как видишь, стал просто лояльным инженером, а ведь мы с тобой слеплены из одного куска теста.

Красин обернулся и насухо, крепко-крепко вытер лицо махровым полотенцем.

— Я уезжаю, Герман, сегодня же и надолго. Вечером он выехал в Смоленск к Любимову, одному из троих уцелевших членов ЦК.

## ГАЗЕТЫ. АГЕНТСТВА

Столкновение рабочих с войсками в Орехово-Зуеве.

Порт-Артурский Комитет оказывает помощь раненым, больным и пленным защитникам Порт-Артура и их семьям.

Околоточный докладывал приставу:

— Вчерась в кабаротке «Шампань» выскакивает эдакий фрукт в полосатых панталонах, очень нерусской наружности и, безобразнейшим образом кривляясь, начинает распевать:

Я Куропаткин,



меня все бьют...

И нижние чины хохочут во все горло.

Войсками расстреляна демонстрация в Варшаве.

В Прибалтийский край для усмирения крестьян вызваны карательные экспедиции.

В Женеве открылась конференция революционных партий и групп, созванная бывшим священником Гапоном. (РТА).

## ГЛАВА V

...а древо жизни вечно зеленеет

Торговая Оксфорд-стрит была в этот час пик забита экипажами, омнибусами, автомобилями и залита солнцем. Свежий апрельский ветер с Атлантики дул над бесчисленными котелками, кепи, мягкими шляпами, головными уборами дам, похожими на тропические острова, и над непокрытыми головами чудаков и вольнодумцев. К этим последним никак нельзя было отнести двух джентльменов, идущих в толпе по солнечной стороне. Они были одеты вполне респектабельно, и только, может быть, цепкий взгляд Шерлока Холмса угадал бы в них иностранцев.

Вчера закончил работу III большевистский съезд РСДРП, позади остались две трудных недели, доклады, прения, обсуждения, резолюции. Сейчас у обоих делегатов было облегченное, раскованное состояние, немного даже похожее на чувства студентов, «смахнувших» весенние экзамены. Последняя их совместная прогулка по неожиданно солнечному Лондону была бы попросту приятной, если бы не Григорий Березовский. Этот третий, молодой низкорослый и худой человек с распадающимися сальными патлами, с короткой верхней губой, обнажавшей расшатанные больные зубы, как раз обращал на себя внимание полисменов визгливым голосом и воздеванием рук. «Бобби» на перекрестке провожал его своим загадочно невозмутимым взглядом.

Березовский прицепился, как клещ, к Ленину, на Красина же не обращал никакого внимания. Красин добродушно злорадствовал, слушая, как он обрушивает на утомленного Старика потоки цитат, имен, дат, какие-то неясные угрозы. Вдруг Березовский ринулся в сторону, полуобернувшись, и, вытянув палец по направлению к Ленину, воскликнул:

— История создается не в прокуренных залах, а на пропитанных пороховой гарью площадях!

Несколько англичан остановились на него посмотреть, тут он захохотал и бросился в боковую улочку. Ленин и Красин рассмеялись.

— Робеспьер! — сказал Красин.

— Он меня буквально заплевал своей эрудицией, — сокрушенно покачал головой Ленин и вынул носовой платок. — Какой-то просто физически неприятный субъект.

— Неврастеник.

— Шел бы к эсерам. Меньше всего нам в партии нужны неврастеники. Согласны?

Они пошли дальше. Теперь уже ничто не портило им прогулки. Блики солнца прыгали в промытых витринах и вывесках, сверкали на верхушках цилиндров и на крышах экипажей. В толпе на разные голоса кричали уличные торговцы, преимущественно на жаргоне «кокни».

Высокий рыжий парень в ярком шарфе, обмотанном вокруг шеи, собрал целую толпу. Все хохотали, и Ленин, улыбувшись, взял Красина за локоть и задержал шаг.

— Что он кричит? Я ничего не понимаю, — с досадой сказал Красин. Английский язык давался ему с трудом.

— Это типичный «кокни», — сказал Ленин. — Его очень трудно понять иностранцу, даже идеально владеющему языком, но я немного научился. Я ведь старый лондонец.

Он приподнялся на цыпочки и заглянул через головы на лоток торговца. Там было множество всякой дребедени: какие-то коробочки, цепочки, колокольчики, фигурки животных, бумажные цветы... Парень бросал в стеклянную банку одну за другой маленьких плюшевых змеек. Змейки эти уму непостижимым образом выползали из банки, скользили по руке продавца и прыгали в лоток.

— Кричит он примерно следующее, — сказал Ленин Красину. — Я самый первый мошенник на Оксфорд-стрит. Покупайте мою ерунду! Фальшивые ценности! Штука — шесть пенсов! Каждый всего за шесть пенсов будет чувствовать себя обманутым! Ваши деньги принимаются с удовольствием!

Публика, смеясь, бросала монеты и разбирала товар. Ленин и Красин тоже взяли по чудесной змейке.

— Я люблю Лондон, — сказал Ленин. — Любопытнейшая толпа. Смотрите — вот идет офицер, будто палку проглотил, судя по загару, он из колониальных войск. А вот человек ловит шляпой капли, летящие с крыш. Город консерваторов и чудаков. Согласны?

Этим своим «Согласны?» Ленин сопровождал все разговоры с Красиным. Еще при встрече в Женеве, Ленин после каждой фразы остро заглядывал Красину в глаза и спрашивал: «Согласны?» — прощупывал «примиренца».

Красин тоже поначалу отнесся к Ленину настороженно, но день за днем он убеждался, что у них с Лениным гораздо больше общих взглядов, чем расхождений, все чаще его подкупали четко устремленная деловитость, ясный и мощный ум этого уже всеми признанного руководителя «большинства». Он был интеллигентом именно такого типа, который больше всего импонировал Красину, интеллигентом естественным, без всякого слюнтяйства. Красин считал себя опытным революционером. При встрече с Лениным он сразу же почувствовал, что этот человек обладает еще чем-то сверх того, что ему, Красину, дано, каким-то знанием на порядок выше.

К концу съезда он уже просто чувствовал дружескую симпатию к этому своему ровеснику, невысокому крепышу, совсем уже лысому, быстроглазому, веселому, полному жизни.

Они свернули в тень, в боковую улочку, и купили прямо с жаровни «фиш энд чипе» — жареной рыбы с картошкой, пищу лондонского плебса. Вот этого солидным джентльменам делать не полагалось, и продавец даже удивленно на них посмотрел.

— Люблю, ох, люблю, — говорил Ленин, вытаскивая из пакетика кусочки рыбы. — А вы, Леонид Борисович, небось, к деликатесам привыкли?

— Из всех деликатесов больше всего люблю лук, соль и черный хлеб, но непременно свежий, — улыбнулся Красин. — Это у меня с детства осталось. И, разумеется, пельмени.

— А вобла? — вскричал Ленин. — Воблу забыли? У нас в Симбирске на пристани валялись огромные горы воблы, и мы после уроков, бывало... Скандал — гимназисты едят воблу!

Так они болтали и смеялись, а за их плечами уже был III съезд РСДРП, принявший решение о вооруженном восстании.

Все же беспечная их беседа постепенно стала угасать, и из залитого солнцем лондонского центра они все чаще невольно возвращались мыслями на окраину, в крохотную англиканскую церковь, где две недели назад старейший делегат, сорокалетний Миха Цхакая, открыл съезд. Отголоски этих двух недель все еще звучали в голове Красина, как он ни старался отвлечься, дать отдых напряженному мозгу. Видимо, то же самое происходило и с Лениным. Он то и дело прерывал разговор и замолкал с напряженным, отсутствующим выражением. Один раз он даже остановился и с полминуты постоял, прикрыв ладонью левую половину лица.

«Да, это Лошадь, на которую можно ставить! — усмехнувшись своему каламбуру и быстро взглянув искоса на чуть обогнавшего его Красина, подумал Ленин. — Очень толково

он оправдывался, и в доводах его был даже интересный смысл, относительно поворотного пункта, например... Как он говорил?»

КРАСИН. ...Наше главное расхождение с так называемым «твердым большинством» состояло в том, что, когда последнее — многие из них уже очень скоро после II съезда — потеряло всякую надежду на какое бы то ни было примирение или объединение с меньшинством, мы не считали себя вправе отказаться от попытки в этом направлении...

Решительный поворот в сторону съезда совершился под влиянием событий 9 января...

«Я вертелся, как уж на сковородке, чтобы хоть как-нибудь объяснить наше примиренчество, — вспоминалось Красину. — Однако «твердокаменные» тоже не лыком шиты... Увесистые оплеухи я получил в первый же день от товарищей, и поделом!»

«Я бросился к финансовому отчету, как к спасательному кругу. Мне хотелось цифрами заворочить делегатов и этим отвести упреки. Ну, впрочем, я действительно ведь люблю цифры и люблю расчет...»

«Очень толково он говорил о партийных средствах, — вспоминал Ленин. — Тут уже особенно отчетливо стал в нем проклевываться наш единомышленник. Бесповоротно — хватит подачек!»

«Хорошо, что Старик начал прения по докладу и в общем сразу же отпустил грехи, — подумал Красин. — Я сразу увидел из его слов, что он хочет союза, а не войны».

ЛЕНИН. С 1900 года я слежу за деятельностью центрального аппарата партии и должен констатировать гигантский прогресс. Если он нас не удовлетворяет, так ведь полное удовлетворение наступит разве при диктатуре пролетариата, да и то едва ли!

«Ну, а что касается принципов и тактики восстания, то Никитич просто-напросто излагал очень зрелые мысли», — вспоминал Ленин.

КРАСИН. ...Организация боевых дружин может сыграть большую роль... Я думаю, что мы должны рассматривать подготовку восстания как процесс динамический. Мало заготовить бомбы и оружие, надо уметь владеть оружием, действовать солидарно.

Нельзя откладывать военные действия до момента решительного восстания, нужно приобретать навыки...

Мы не можем довольствоваться одним умением владеть оружием, недостаточно пробной стрельбы, надо научиться устраивать вооруженные демонстрации...

ЦК считал бы нарушением своего долга, по отношению к группе в высшей степени ценных и преданных делу работников не отметить здесь того, что ими сделано для партии.

Я имею в виду не каких-либо выдающихся, всем известных деятелей партии, литераторов или вождей; я имею в виду тех скромных товарищей, энергией, умением, самоотверженным трудом которых создана и работает вот уже пятый год главная типография ЦК в России.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА. «...III съезд РСДРП, выслушав доклад ЦК о постановке партийных типографий в России и принимая во внимание, в частности, деятельность товарищей, работающих в главной типографии ЦК в России с 1901 года, шлет свой привет названным товарищам и выражает надежду в недалеком будущем видеть их в числе тех товарищей, которые войдут в первую открытую легальную типографию РСДРП...»

Красин посмотрел на идущего рядом, стучащего зонтом и улыбающегося своим мыслям Старика и вспомнил, как тот сказал в перерыве Лядову, Луначарскому и Воровскому нарочито громким шепотом, так, чтобы и до него долетело: «„А все-таки

большая умница наш Никитич, хорошо, что он с нами, очень ловко он построил свой доклад, и трепать его особенно не придется..»

Третий съезд РСДРП избрал большевистский ЦК во главе с Лениным — ответственным редактором Центрального органа и представителем ЦК за границей. По предложению Ленина в состав ЦК был избран и Леонид Красин — ответственный техник, финансист и транспортер.

Сейчас они шли по узкому переулку, который запирало белое, в черном переплете карнизов и рам то ли старинное, то ли стилизованное под старину здание крупного магазина «Либерти».

В витрине магазина Красин увидел замечательные галстуки, повязанные виндзорским узлом. Он остановился в некотором замешательстве. Цены были сумасшедшие для члена ЦК РСДРП, но вполне по плечу инженеру Красину.

— Хорошие галстуки, — сказал Ленин, — но цены, цены.. Я покупаю у «Маркс энд Спенсер». Цены втрое ниже, а качество ничем не хуже...

— Если бы мы могли приодеть своих агентов, — вздохнул Красин. — Российский жандарм благоговеет перед белой манишкой, а на черную косоворотку сразу же делает стойку, как гончая.

Ленин прищурился и, отступив на полшага, осмотрел Красина с головы до ног, удовлетворенно усмехнулся.

— Скажите, Леонид Борисович, правда, что вы в Баку спасли во время шторма несколько человек? Рассказывали, что вы прямо в вашем комифотном облачении бросились в бушующие волны...

— А знаете, что о вас говорят партийцы на Кавказе, Владимир Ильич? Покойный Ладо Кецховели всех уверял, что вы двух саженой росту, с длинными черными усами и креститесь четырехпудовой гирей.

Ленин захохотал, схватил Красина за пуговицу.

— Сознаться, сознаться, Леонид Борисович, спасали утопающих?

— Участвовал в спасении, — сказал Красин, Ленин пуговицу отпустил.

— Хорошо, что вы сильный. Мы должны быть сильными. Кто знает, что нас ждет впереди? Физические упражнения — великая штука. Любой свободный час надо использовать для бега, плавания, гимнастики...

— Помните Фауста? — усмехнулся Красин. — Готов продать душу черту за вечную молодость, а ведь об утренней гимнастике ни слова.

Ленин засмеялся.

— Это фольклорный Фауст. А у Гете речь идет не о молодости, а о познании жизни, «Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет!» — Вообще-то, — продолжал он с улыбкой, — утренняя гимнастика — вещь архипрепротивная, но нужная. Согласны?

— Согласен.

Они вышли на респектабельную Риджент-стрит. Толпа здесь значительно отличалась от разношерстного люда Оксфорд-стрит. Тон тут, безусловно, задавали собаки, огромные, чинно выступающие, лоснящиеся доги и сенбернары, маленькие пушистые японки с бантиками, тибетские терьеры, скочи.

— Так вы отбываете завтра? — спросил Ленин.

— Да, в Виши. Морозов мне назначил там встречу.

— Что он за человек?

— Раздвоенный, мечущийся, может быть, даже больной Умница высшего толка.

— Все-таки странно, — задумчиво проговорил Ленин, — миллионер-заводчик — и в революции...

— Есть и другие, — сказал Красин. — Молодой миллионер Павел Берг, например, активный социал-демократ.

Между тем они вышли на Пикадилли-серкус, маленькую площадь с золоченой статуей Эроса посередине, вокруг которой кружили экипажи и открытые автомобили с обитыми мягкой кожей сиденьями, напоминавшие коляски без лошадей.

Большие часы царили над площадью, а под ними была надпись:

### Ginnes Time

— Время Гиннес, — сказал Ленин. — Хитрая реклама! Сколько бы ни указывали стрелки, всегда будет «время Гиннес». то есть время промочить глотку темным ирландским пивом «Гиннес».

— Я не прочь, — сказал Красин.

На Пикадилли они зашли в обширное сумрачное помещение какого-то солидного паба с деревянными панелями и бронзовыми бра, с массивной, обитой медью и обтянутой красной кожей стойкой, над которой возвышался иконостас разномастных бутылок и среди них видна была пузатая «vodka Kozak».

Они сели в центре зала. Ленин вынул из кармана блокнот.

— Перед тем как проститься, Леонид Борисович, я хочу еще раз поговорить о нашей «тайной» резолюции... Вот это место.

Красин оглянулся — в пабе было пусто. Ленин коротко хохотнул:

— Вы часто оглядываетесь. Молодец. Конспиративные привычки у вас выработаны крепко. Впрочем, сейчас мы здесь совсем одни.

— Вот еще одна персона появилась. — Красин показал бородкой на вошедшего в паб забавного молодого субъекта смуглой окраски, в ярком кашне, похожего на надутую индюка.

Субъект под взглядом Красина вдруг растерялся, поскользнулся, уронил стойку с газетами, шляпу, трость и ринулся в самый дальний угол зала.

— Вы скучаете по России, Владимир Ильич? — вдруг спросил Красин, глядя на массивный склонившийся к открытому блокноту лоб.

Не отрываясь от записей, Ленин коротко и сухо ответил «да», как бы закрывая перед Красиным некую дверку, — мы, мол, с вами, еще мало вместе соли съели, чтобы задавать друг другу подобные вопросы. Красину стало неловко.

— Да, вот именно это место, — отчеркнул ногтем Ленин.

Красин прочел отмеченное: «Принимая во внимание возможность того, что некоторые меньшевистские организации откажутся признать решения III съезда партии, съезд предлагает ЦК распускать такие организации и утверждать параллельные или подчиняющиеся съезду организации, как комитеты, но лишь после того, как тщательным выяснением будет вполне установлено нежелание меньшевистских организаций и комитетов подчиниться партийной дисциплине...»

— Извините, Леонид Борисович. Хоть вы и голосовали за эту резолюцию, — г мягко сказал Ленин, но, учитывая ваше «примиренческое» прошлое, я еще раз хочу обратить на это ваше внимание. Убежден, пусть нас будет меньше, но мы должны быть твердыми, и надо отказаться от болтовни...

Вновь они шли вдвоем, теперь уже по Кенсингтон-роуд, и не смотрели больше на витрины, на встречных дам и собак, вообще они забыли, что идут по Лондону в редкий для этого города солнечный день. Вновь и вновь они обсуждали вопросы временного боевого соглашения с партией социалистов-революционеров, отношение к крестьянскому движению и прочее.

— Хочу обратить паше внимание, Леонид Борисович, на очень важный момент, — говорил Ленин. — На мой взгляд, наши ячейки должны строиться из расчета такого: по меньшей мере восемь рабочих на двух интеллигентов. В пропорции этой есть смысл: классовое чутье рабочих — великая вещь! Вы согласны?

— Среди современных русских рабочих есть настоящие интеллигенты, Владимир Ильич, но в принципе я согласен с вами.

«Да ну их к чертям, — подумал в это время, шевеля мокрыми губами, субъект в ярком шарфе. — Сколько можно плестись за ними? Все равно ничего неслышно».

Он кликнул кеб и через пятнадцать минут вошел в небольшое кафе на Стренде. Кафе было какое-то очень мягкое, покрытое стеганым плюшем — диванчики, пуфики, подушечки, и столь же мягким, стеганым, плюшевым казался толстый господин в углу, читавший «Панч». Это был глава русской заграничной агентурной службы коллежский советник Гартинг.

— Садитесь, «князь», — кивнул Гартинг и, вынув изо рта дешевую ямайскую сигару, выжидательно уставился цепкими рыжими глазами на субъекта в цветастом шарфе.

Тот фуфукнул носом, бубукнул, выдавив изо рта желтенький пузырек пухлыми губами.

— Договаривались о закупке оружия в... в... в Японии, — пробормотал он.

— Только не врать! — оборвал егр Гартинг. — Я полпути ехал за вами. Вы и на двадцать шагов к ним не приближались!

— Несколько раз приближался... — пролепетал «князь».

— О чем они говорили?

— Они смеялись, говорили о спорте, об уличных торговцах, о рыбе... в одном пабе они вынули какие-то бумаги, но я... но я в этот момент упал... и...

— Все еще боитесь своих тифлиских дружков? — презрительно скривился Гартинг и пристукнул ладошкой по столу. — Ну-ну, еще заплачьте! Черт знает, с кем приходится работать,.. — Он вынул из портфеля конверт. — Сегодня же отправитесь обратно в Женеву и совершенно секретно передадите это письмо Георгию Аполлоновичу.

— Гапону? — Глаза «князя» подскочили.

— Именно, — усмехнулся Гартинг. — Его можете не бояться. Через него получите дальнейшие распоряжения. Идите.

«Князь» — Арчаков вышел из кафе, и к Гартингу тут же подсел с улыбочкой человек в пенсне, в хорошем, очень добротном костюме берлинского бургера.

— Вот с кем приходится работать, Андре. Что бы я без вас делал, не знаю, — проворчал Гартинг.

A lonely gardener & bee-keeper who has no sins and has many prizes is looking lor job for most scanty salary.

«Times» 1.

Hier a Vichy se suicida en se brulant la cervelle un millionaire russe-proprietaire des plusieurs Fabriques de textiles les plus importantes en Russie monsieur Savva Morosov.

«Matin» 2.

1 Одинокий садовник пчеловод, лишенный каких-либо грехов и удостоенный многих наград, ищет работу за самое скудное жалованье.

«Тайме».

2 Вчера в Виши покончил с собой выстрелом в висок русский миллионер, владелец крупнейших текстильных предприятий г-н Савва Морозов.

«Матен».

Сосед по купе, сидящий напротив, чем-то волновал, почти раздражал Красина, хотя более безликую личность вообще трудно было себе представить.

Короткий ежик полуседых волос, выцветшие голубые робкие глазки, целлулоидовые полукружия оттопыренных ушей, пожелтевшие уголки целлулоидового воротничка. О таком типе ничего и не скажешь, кроме «сосед», «пассажир», «покупатель», «прохожий»... Впрочем, может быть, именно эта неприметность, общее выражение лица, одежды, манер и

раздражали Красина. Он закрылся объемистой французской газетой и стал читать различные прогнозы предстоящей схватки русской армады с японцами. Прогнозы для андреевского флага были более чем мрачными.

Красин был в дурном настроении. Вчерашняя встреча с Морозовым удручала его. Ночь он почти не спал. Суетливость, беспричинный смех, темные блики страха в глазах Саввы Тимофеевича выбили его из колеи. Он чувствовал, что в душе Морозова происходит какой-то неотвратимый роковой процесс. Он отогнал тогда от себя это ощущение, но оно возвращалось снова и снова.

За короткое время их знакомства они чрезвычайно сблизились. Красин с юношеских лет знал за собой свойство без оглядки, быстро привязываться к людям и потому часто заставлял себя быть сдержанным, даже суховатым с теми, кто ему нравился с первой встречи. Всегда сдержанным он был и с Морозовым, хотя ему чрезвычайно пришлось по душе этот умный и печальнейший человек. Морозов отвечал ему такой же сдержанностью, уважительной, деловитой, прохладной, хотя Красин был ему очень приятен. Так нередко бывает между гордыми и независимыми людьми: долго они сохраняют в своих отношениях вежливую корректность, хотя оба прекрасно понимают: да, друг... точно — друг... друг на всю жизнь.

Вчера в Виши Морозов смог дать совсем немного денег — больше у него не было: все дела прибирала к рукам семья. Радостно набросившийся в первый момент встречи на Красина, он через несколько минут побледнел и стал пугливо оглядываться.

— Рассказывайте быстрее. Я не хочу, чтобы вас видели здесь...

— Кто?

— Вообще... Жена и вообще...

На глазах этого еще совсем недавно властного, жесткого человека появились слезы.

Красина передернуло, когда он вспомнил лицо Морозова в тот момент. Он отложил газету и стал смотреть в окно на милый французский пейзаж: зеленые холмы и лиловатые ложбины, скопления белых пятен и сверху красные пятнышки — проплывающие на горизонте крохотные городки с черепичными крышами и шпилями церквей.

Сосед был закрыт газетой. Вдруг он тихо пискнул. Газета опустилась. Глаза его округлились.

— Подумать только, месье, подумать только, — с почтительным ужасом произнес он.

— Простите? — сквозь зубы сказал Красин.

— Вы не прочли это сообщение? Вчера в Виши застрелился русский миллионер Морозоз! И чего человеку не хватало?

Глядя прямо в выцветшие, трепещущие, словно ждущие ответа глаза, Красин медленно поднялся. Голова его закружилась вдруг, и он схватился за край скамьи.

## ГАЗЕТЫ. АГЕНТСТВА

...От ворот до Покровского храма, где была совершена литургия и, отпевание, по обе стороны дороги выстроились депутаты с венками.

На похоронах присутствовали представители всей торгово-промышленной Москвы, представители ученого, литературного и художественного мира, много рабочего люда. Скоплению последних способствовали прекрасная погода и воскресный день. К началу литургии прибыл московский генерал-губернатор.

«...когда я прочитал телеграмму о его смерти и пережил час острой боли, я невольно подумал, что из угла, в который условия затискали этого человека, был только один выход — в смерть. Он был недостаточно силен для того, чтобы уйти в дело революции, но он шел путем, опасным для людей его семьи и его круга. Его пугали неизбежностью безумия, и, может быть, некоторые были искренно убеждены, что он действительно сходит с ума...»

М. Горький

— Живой наш Саввушкэ-то, живей тебя!  
— Брось, дядя, ерунду молоть! Сами на похоронах были!  
— А это не Морозов в гробе-то лежал, а за большие деньги из-за моря привезенный английский восковый человек.  
— Да ведь газеты же, газеты писали, темная твоя голова!  
— Газеты за деньги кого хоть похоронят!  
— Да где ж Морозов-то?  
— В люди ушел. От богатства отказался и в Иваново уехал, в ткачи, а может, и на Урал. Учит нашего брата-от уму-разуму, чтоб водки меньше пили и про божественное читали.  
— Да не слушайте вы его, братцы! Неужто верите?  
— Все может быть.

Полный разгром русского флота в Цусимском проливе!  
Потоплены эскадренные броненосцы «Суворов», «Александр III», «Бородино», «Ослябя», «Сисой Великий», «Наварит», «Адмирал Нахимов», крейсера I ранга «Светлана», «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах». Сдались эскадренные броненосцы «Орел», «Император Николай I», броненосцы «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Синявин». Укрылись в Маниле крейсера «Олег», «Аврора», «Жемчуг», «Изумруд».  
«СП Ведомости»  
В Москве князем Волконским и другими организован черносотенный «Союз русского народа».  
Расстрел рабочих на Талке в Иваново-Вознесенске.  
Расстрел демонстрантов в Лодзи.

— Вся беда нашей державы состоит в том, что руководят ею бездарные люди. Ну, почему, скажите, Второй Тихоокеанской эскадрой командовал тупица Рожественский, а в Порт-Артуре заправлял олигофрен Стессель? Кстати, слышали, господа, эпиграмму о Стесселе? Автор — мерзавец Пуришкевич, но бьет она в самую точку.

Я слышал — Стессель Анатолий  
На десять лет упрятан в крепость.  
Какая, говорят, нелепость —  
Он сдаст и эту..

— Прimitивно рассуждаешь, любезный мой братец, — прервал Николая Берга старший брат.

— Подожди, подожди, Павел, не перебивай! Леонид Борисович, вы слушаете? Я хочу до конца развить свою нехитрую мысль. Так вот, государство наше великое и народ великий, и, несмотря на все наши уродства и искривления, все-таки во всех сферах происходит процесс естественный — одаренность так или иначе возвышается над тупостью, талант над серостью. Строят пароходы и паровозы, дома, фабрики, трамваи, выращивают скот, делают вино, торгуют подтяжками и «чудодейственными» лекарствами, мошенничают, в конце концов, на бирже — люди деятельные, энергичные, одаренные. Без этого невозможно, без этого любое общество бы погибло. Но есть у нас одна сфера, где все происходит наоборот, где только бездарность, только тупица-чиновник может применить свои силы, куда талантливому человеку путь заказан. Это сфера административная, руководящая, правительственная. Там достоинства — не ловкость, а леность, не вдумчивость, а бессмыслие. И вот получаются трагические ножницы, несоответствие, разлад. Кучка бездарных чиновников сводит на нет труд миллионов талантливых людей. Разве не так?



Николай Берг пробежался по веранде, зачем-то хлопнул ладонью по раме и обернулся к обществу, ища сочувствия или возражения. Последнее не заставило себя ждать.

— Примитивно! — крикнул Павел. — Таланты и бездарности. Ты начисто забыл о классовой структуре общества!

После этой совершенно обычной стычки братьев на веранде наступила тишина. Сегодня в Шашкино, загородное имение Бергов, приехал новый гость, известный инженер-электрик Красин. Никто из присутствующих не вмешивался в спор. Подразумевалось, что сейчас выскажется именно он.

Общество расположилось вокруг длинного стола с традиционным самоваром. У самовара хозяйничали Лиза с Таней, Красин и Буренин сидели в центре, Горизонтов и Лихарев напротив, с ними и Кириллов, член боевой технической группы, который привез Красина. Надя Сретенская по своему обыкновению устроилась в углу в тени, откуда диковато посвечивала глазами. Павел хотел было пристроиться рядом с ней, но был отогнан каким-то тихим словом и теперь так же, как и брат, разгуливал со стаканом по веранде, только другими траекториями.

А вокруг веранды бесчинствовал уже июнь. Запахи табака, резеды и матиол, свежей листвы, травы и воды, коры и смолы, смешавшись вместе, волновали юные существа, отвлекали их от мыслительных процессов. В зеленовато-золотистом свете заката по цветущим кустам сирени пробегал ветер, и они колыхались укромно, порочно, а ветер залетал на веранду.

— В том, что говорил Николай Иванович, есть, конечно, свой резон, — проговорил Красин, внимательно оглядывая всю компанию. Он уже успел разобраться в не очень-то сложной системе пересечения взглядов, и только один взгляд, поблескивающий взгляд его связной Нади Сретенской, был ему неясен. — В конечном счете я согласен с Николаем Ивановичем, — сказал он. — Бездарность ненавидит людей недюжинных, она никогда не дост им выйти вперед, и поэтому царский бюрократический аппарат обречен на деградацию.

— Видишь?! — торжествующе крикнул брату Николай. — Есть неглупые люди, свободные от ваших марксистских догм. Люди, которые видят вещи в их истинном свете.

— В истинном свете! — воскликнул Павел, потрясая руками, расплескивая чай. — Вы, либералы, почему-то как огня боитесь классовой оценки явлений. Не хватает еще разговоров об «извечной борьбе добра и зла» и прочей мистики!

— Вы считаете меня либералом? — спросил Красин Павла.

— Простите, Леонид Борисович, но либерал для меня не самое ругательное слово, — с разгону обернулся к нему Павел и вдруг, всей кожей почувствовав насмешливый взгляд Нади, бурно покраснел, чуть слезы не брызнули.

Красин с легкой улыбкой сделал небрежный светский жест — либерал, мол, так либерал.

«Как он держится, какая выдержка, — думала Надя, — какое жесткое, волевое лицо! А Павел — мальчишка...»

— В нашей семье, Леонид Борисович, все убежденные марксисты, — любезно и несколько снисходительно пояснила, высунувшись из-за самовара, Танюша. — Кроме Николая, все...

Красин одобрительно покивал ей.

— Нынче все марксисты, а я вот электротехник.

— Браво, Леонид Борисович! — закричал Николай Берг, влюбленно глядя на него.

После этого возгласа возникла пауза. Потом отчетливо прозвучал спокойный голос Ильи Лихарева:

— Вопрос сейчас не в том, как сложился царский аппарат, а в том, как его разрушить.

«Вот так, сразу быка за рога, — подумал Красин и внимательно посмотрел на Лихарева. — Должно быть, внутри у этого паренька пар поднят до высшей точки».

Он уже кое-что знал о молодом рабочем берговской фабрики с партийной кличкой «Канонир», знал о его большой и полезной работе среди обувщиков, о неистовой страсти к

самообразованию, теперь вот увидел его и сразу догадался: во-первых, влюблен, безусловно, влюблен в Лизу Берг, а во-вторых, готов уже для баррикад, все в нем внутри бурлит, он еле сдерживается, но сдержится: нервы крепкие.

В самом деле, при одном только взгляде на Лизу круглощекий аккуратист в подштопанном пиджачке заливается краской, но вот он произнес короткую и, прямо скажем, довольно энергичную фразу про «царский аппарат», и в лице его мгновенно обозначились резкие линии, углы, а в глазах промелькнул будущий жесткий блеск.

Красин подумал о том, как изменился тип рабочего-революционера с того времени, когда он зеленым первокурсником пришел по заданию Бруснева в кружок на Обводном канале в Питере, когда занимался агитационной работой на фабриках Кохмы, Шуи, Иваново-Вознесенска, на Балашово-Харьковской железной дороге. Среди тех, первых, были еще такие, которые считали, что «царя-батюшку енаралы обманывают»... Современный передовой рабочий читает Маркса, знает историю, он уже думает о будущем своей страны. Вот ведь не кто-нибудь, а именно Канонир резко и, пожалуй, даже властно изменил направление беседы. «Вопрос сейчас не в том, как сложился царский аппарат, а в том, как его разрушить».

Павел Берг рванулся было вперед, но, поняв, видимо, что его мнение и без того ясно всем присутствующим, остановился и молча обернулся к брату.

— Выход один, — тихо сказал Николай. — Как это ни противно, нужно идти к ним, к этим тупицам, открывать им глаза, беречь их заплывшие жиром мозги, просвещать их...

Взрыв хохота заглушил его слова. Хохотали Таня, Горизонтов, Лиза, Илья, Павел и даже Надя. Каждый, видимо, представил себя среди персонажей картины «Государственный совет» в роли просветителя.

— Вот эсеры и идут к ним! — орал Горизонтов, — Вот и просвещают! Сазонов и Каляев здорово их просветили! Если так просвещать, то я согласен!

— Я стал замечать у тебя, Витя, симпатии к эсерам, — строго сказал ему Павел Берг. Он считал своим долгом следить за политическим развитием Горизонтова, ибо полагал себя его крестным отцом в области научного социализма.

— А что? — задиристо вскинулся Горизонтов. — Некоторыми ребятами из их числа я просто восхищаюсь. Я бы и сам ухлопал какого-нибудь Дурново или Святополк-Мирского...

— Личный террор — глупость! — крикнул Павел.

— Не учи ученого! — по-мальчишески огрызнулся Горизонтов. — Я большевик и не хуже тебя знаю...

— Ты уже и большевик? — удивленно спросил Павел. — Не знал, не знал...

— Много ты про меня знаешь... — буркнул Горизонтов.

— Что касается меня, то я против раскола эсдеков, — сказала вдруг Лиза и покраснела.

— Что вы знаете о Третьем съезде? — обратился к ней Илья и залился вдруг краской, раскалился, прямо хоть под пресс.

Молодежь горячо заговорила разом. Буренин и Кириллов — правая и левая руки Красина — тоже приняли участие в разговоре о съезде. Молчали только Надя и Красин.

«Вот идеальная подпольщица», — думал о девушке Красин.

Красин вынул из кармана змейку, ту самую, купленную на Оксфорд-стрит во время прогулки с Ильичем. Плюшевая эта ленточка поражала его: по каким-то необъяснимым законам сцепления и скольжения она ползла по руке, словно живая, а на гладкой поверхности развивала просто-таки безудержную активность.

Он играл змейкой и смотрел на расшумевшуюся молодежь. Он знал, что все они-то преданы делу революции, и даже «позитивист» Николай не раз перевозил нелегальную литературу, а сестрички, так те на прошлой неделе под видом белошвеек раздавали прокламации на Сухаревке солдатам Ростовского полка. Славные ребята. Однако сейчас совершенно уже необходимо прекратить дачную болтовню и делать дело, только дело.

Спорить будем потом, о сейчас нужно напрочь искоренить эту расхлябанность, «душу нараспашку», эту отрывку нигилизма, столь удобную «гороховым пальто». Спорить будем потом, когда за споры не будут упекаль в Бутырки, и потом будем строить, что-нибудь выдумывать, потом будем любить — авось, времени еще хватит. И обязательно разгадаем загадку этой змейки.

Разговор постепенно затихал. Первой заметила змейку Таня. Глаза ее расширились, отражение их растеклось по пузатой поверхности самовара. Красин бросил змейку в сухой стакан, и та тотчас же выползла оттуда, заюлила по накрахмаленной скатерти.

— Боже мой, Леонид Борисович, что же это у вас такое? — вскричала девушка.

— Это самый таинственный зверь в Европе, — улыбнулся Красин. — Ручная ядовитая змея из плюша. Дарю ее вам.

Все столпились вокруг счастливой Тани. Горизонтов уверял, что он таких в Гонконге ел живыми, а Красин встал и попросил Кириллова проводить его до станции.

.....

... — Я вам забыл рассказать важное, Алексей Михайлович, — говорил Красин по дороге. — В Одессе Камо с товарищами перехватили и допросили какого-то Арчакова, есть у них такой «ручной» провокатор. Оказывается, охранка засылала его на гапоновскую конференцию, а потом он побывал и в Лондоне. Из его показаний видно, что охранка о существовании Винтера и Никитича знает, но не подозревает, что оба эти лица — Красин. Кроме того, выяснилось, что мое имя ни разу не выплывало на допросах наших арестованных цекистов. Коля Берг прав: бездарность в империи процветает, охранка — не исключение. Куда мы идем?

Оба рассмеялись.

— В общем, я снова легален, — продолжал Красин. — В Орехово на всякий случай возвращаться не буду, но службу уже подыскал в Питере.

— Что за служба, Леонид Борисович?

— Служба завидная и весьма удобная. Я буду заведовать кабельной сетью «Электрического общества 1886 года».

— Но как же с нашим бетоном?! — огорченно воскликнул Кириллов.

— Не волнуйтесь, Алексей Михайлович, я оговорил условие приступить к работе только осенью. Относительно парохода. Мне это дело, откровенно говоря, не очень ;,завится. Тут замешан Гапон, а при этом имени я чувствую запах жандармских сапог. Может быть, и ошибаюсь. Некоторые товарищи в ЦК считают, что надо рискнуть. Оружие необходимо. Так что пароход будем принимать...

.....

Буренин и Горизонтов ушли с веранды в столовую, якобы для того, чтобы опрокинуть по рюмке «шустовки».

— Вам, Англичанин, скоро придется выехать в Санкт-Петербург, — сказал Буренин. — Приказ Никитича.

— Наконец-то дело! — воскликнул Горизонтов.

— И пресерьезное. С собой вы возьмете трех-четыре самых надежных людей из вашей группы, а по приезде в столицу займетесь чем-нибудь отвлекающим, чем-нибудь наиболее идиотским. Ждать придется, может быть, месяц, может быть, и больше.

— Я знаю, чем займусь, — улыбнулся Горизонтов. — Футболом.

.....

— Теперь о Тюфекчиева, — сказал Красин уже на дачной платформе.

— Тюфекчиев, Тюфекчиев... — наморщил лоб Кириллов.

— Ну, тот болгарин, который мудрит над бомбами-«македонками». Из Парижа пишут, что нашего человека ждут в Софии.

— Поедет «Омега»? — быстро спросил Кириллов.

— Правильно. — Красин протянул руку. — Вы возвращаетесь в Шашкино?

Из-за леса уже выкатился слабенький среди горящего закатного неба фонарь паровоза.

— Да, мне нужно еще проводить Надю, — сказал Кириллов с некоторым смущением.

Красин крепко пожал ему руку, заглянул в чистое, славное лицо этого скромного человека и проводил его долгим взглядом.

Буренин и Павел медленно шли в сумерках по главной аллее Шашкинского парка.

— Николай Евгеньевич, я говорил с сестрами и с братом. Все мы готовы, также и Николай, хоть на будущей неделе продать всю нашу недвижимость и передать партии вырученные средства. Поймите, я не могу жить так, как я живу, зная, что партия задыхается без денег!

— Павел Иванович, успокойтесь! — Буренин деликатно, но крепко взял под руку старшего из юных Бергов и повлек его к красивому цепному мостику. — Ваш дом и имение — прекрасные явки. Все свои доходы вы и так передаете на дело революции. Партии выгоднее, чтобы именно вы были хозяином фабрики, а не какой-нибудь Тит Титыч. Теперь послушайте, и это главное. Ленин, Вернер и Никитич поручили мне передать вам...

— Они знают обо мне?

— А как же вы думаете?! Итак, принято решение приступить к организации на ваших фабриках боевых дружин, начать вооружение рабочих и обучение военному делу...

— Bravo, — прошептал возбужденный донельзя Павел.

.....

Таня и Лиза играли в серсо почти до полной темноты и только, когда колец совсем не стало видно, бросили игру и побежали к дому. Из дома уже доносились звуки рояля — Николай Евгеньевич играл «Блестящий полонез».

В освещенных дверях веранды застыл силуэт Нади Сретенской. Надя посторонилась, пропуская Лизу, а Таню задержала, схватила за руку.

— Что, Надюша? — спросила Таня.

— Таня, отдай мне эту змейку, — прошептала Надя, — прошу тебя, умоляю, отдай мне эту змейку!

— Да что с тобой, Надя? — строго сказала Таня. — Ну что ты, как маленькая? Возьми, пожалуйста, эту ерунду и успокойся.

Николай стоял в полной уже темноте среди кустов сирени. Он смотрел, как за стеклом опустевшей веранды ходит взад-вперед Надя Сретенская. Ему хотелось позвать ее, ему весь вечер хотелось ее позвать... Сидеть в той комнате, куда она заходит, откуда выбегает, хлопнув дверью, и возвращается... к окну подходит тихо... «...А черт турецкий бродит по Москве и к рожкам примеряет острый месяц,, срывает простыни сирени... душный запах впускает в комнаты... лепечет под мостом и белой лошадьё... плывущей по полянам,, уводит в парк... чертенок африканский... хитрец японский... шелкунчик детский...»

Николай приблизился, прильнул к раме и сквозь фиолетовый ромб стекла увидел, как Надя вынула из кармашка и быстро проверила маленький револьвер.

(Продолжение следует.)

П. КОВАНОВ,

председатель  
Комитета  
народного  
контроля  
СССР

## БУДЬ ХОЗЯИНОМ!

Проверка выполнения Директив партии и правительства должна быть в центре внимания партийных и советских органов, а также органов народного контроля, поскольку в современных условиях производства это приобретает особую актуальность.

Из проекта Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы.

В предсъездовские дни особенно остро чувствуешь слитность советского народа, единство интересов партии, государства и каждого трудового человека нашей страны. Приметы этого единства замечаешь во всем: и в накале социалистического соревнования, и в живейшем интересе, с которым обсуждается всюду проект Директив партии по новому пятилетнему плану, и в потоке писем, предложений, который идет сейчас в партийные и советские органы, в редакции газет и журналов.

В большинстве этих писем — я сужу по почте наших органов народного контроля — трудящиеся рассказывают о своих успехах на производстве, о найденных ими резервах, предлагают меры по ускорению технического прогресса.

Это — чрезвычайно интересное явление, которое просто невозможно представить в какой-либо капиталистической стране. О том, как лучше начать новую пятилетку, воплотить в жизнь намечаемые партией планы, думают не только министры, директора предприятий и другие руководители, но и миллионы рядовых тружеников.

Среди авторов таких писем немало молодых людей. И это великолепно! Юноши и девушки, только начинающие трудовую жизнь, пристально вглядываются в ее течение, открыто и принципиально (хотя порой и несколько запальчиво) выступают против непорядков и упущений, глубоко и серьезно раздумывают о своем месте в жизни.

Им, молодым людям наступающих семидесятых годов, и хотелось бы рассказать об органах народного контроля, призванных, по мысли Ленина, быть школой умелого хозяйствования, школой управления. Рассказать о больших и сложных задачах, стоящих перед нами в новой пятилетке.

Что же такое контроль, в чем его смысл и назначение? Одним из коренных вопросов социалистической революции считал В. И. Ленин правильную постановку учета и контроля. Он видел в этом важное средство воспитания дисциплины и самодисциплины как руководителей, так и всех трудящихся, непременное условие укрепления «везде и всюду организованности, порядка, деловитости, стройного сотрудничества всенародных сил». Особенное значение Владимир Ильич придавал участию в контроле самих трудящихся. Контроль — действенная форма, через которую народные массы вовлекаются в управление делами государства.

Ибо контроль, говоря в широком смысле, — это процесс, без которого немислимо управление при любом государственном и общественном строе. Но в характере его неизбежно проявляется классовая природа общества. Еще накануне Великой Октябрьской социалистической революции В. И. Ленин говорил, что весь вопрос о контроле сводится к тому, кто кого контролирует, то есть какой класс является контролирующим и какой контролируемым. В буржуазном государстве функции контроля выполняет определенный аппарат. В одном случае — это министерства внутренних дел, финансов, судебные органы, ревизорский аппарат, в другом — специальные учреждения государственного контроля. Однако независимо от того, какое «обличив» принимает контроль, основное его назначение — всегда ограждать интересы господствующего класса.

В царской России также было государственное ведомство контроля. Только в его центральном аппарате работало около 9 тысяч чиновников. Но они з лучшим случае лишь скользили по поверхности явлений, даже и не пытаясь сорвать покровы «коммерческих тайн», проникнуть в святая святых эксплуататоров — источники их доходов. Лучше всего о

«принципиальности» такого контроля можно судить по следующему факту. Когда ревизия вскрыла беспорядки в Министерстве путей сообщения и в действиях его министра, некоего г-на Клейнмихеля, беспорядки столь серьезные, что они обошлись казне в 9 миллионов рублей серебром, то государственный контролер в докладе царю Николаю I подчеркивал необходимость скрыть это «от разглашения и укоризн, ведущих к неуважению правительственных властей».

«...Как только, бывало, проворуется какой-нибудь негодяй из царских министров, губернаторов, предводителей дворянства и т. п., — гневно писал по этому поводу В. И. Ленин, — ...так сейчас же следовало, «успокоение общественного мнения» посредством назначения комиссии из знатных и знатнейших, высокопоставленных и высокопоставленнейших, богатых и богатейших «персон».

И эти персоны «успокаивали» общественное мнение всегда с наилучшим успехом. Они хоронили — обязательно по первому разряду — всякий «общественный контроль» тем основательнее, чем пышнее были фразы об успокоении...»

Это положение характерно не только для отсталой царской России, но и для любой, даже самой сверхсовременной страны так называемого «свободного мира».

Известный американский экономист Морис Кларк, выполняя социальный заказ господствующего класса, в своей книге «Общественный контроль за экономикой» выступает за контроль над монополиями с целью предотвратить столкновение между ними, ослабить экономическую катастрофу. Но, оставаясь верным своему классу, он ратует за принцип «добровольности» в подходе к этим проблемам, понимая, что иначе никакого контроля за своими прибылями капиталист не допустит. Контроль, говорит он, должен осуществляться осторожно, с учетом потребностей конкретной ситуации.

В «Курсе для высшего управленческого персонала», изданном в 1967 году в США, подчеркивается: «Контролерский состав должен жить интересами компании...» Эти слова с циничной откровенностью раскрывают подлинную сущность контроля при капитализме.

С переходом всех средств производства в руки трудящихся, естественно, и право контроля стало принадлежать им. Контроль как орудие диктатуры пролетариата служит интересам победившего класса, интересам построения нового, социалистического общества. При диктатуре пролетариата, указывал В. И. Ленин, контроль может стать всенародным, всеобъемлющим, вездесущим, точнейшим и добросовестнейшим учетом производства и распределения продуктов.

В. И. Ленин глубоко разработал основные теоретические положения, принципы образования и деятельности органов народного контроля в социалистическом государстве. И эти ленинские указания партия неуклонно воплощает в жизнь, дает им дальнейшее развитие.

Органы народного контроля стали важной, неотъемлемой частью всей системы государственного управления страной. В них ярко проявляется социалистическая демократия. На декабрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев подчеркнул, что наша советская система контроля — самая демократическая, подлинно народная система. И чем больше людей будет привлечено к участию в контроле, чем, следовательно, больше трудящихся будет привлечено к управлению государством, тем лучше будет работать наша государственная Система.

Как известно, участие в управлении государством — это прежде всего активная работа в Советах депутатов трудящихся. Это работа в профсоюзах, комсомоле и других общественных организациях трудящихся. А я хотел бы остановиться на той роли, которая отведена здесь органам народного контроля.

Коммунистическая партия, руководящая и направляющая сила советского общества, организует все дело контроля в стране, повседневно руководит органами народного контроля, проявляет о них неустанную заботу. В партийном руководстве — сила органов народного контроля.

Организационная структура, задачи и формы работы органов государственного контроля в ходе социалистического строительства, как известно, уточнялись и изменялись с целью повышения их действенности. А 9 декабря 1965 года был принят Закон о преобразовании органов партийно-государственного контроля в органы народного контроля СССР.

Принципиальная особенность органов народного контроля — сочетание государственного контроля с общественным контролем трудящихся.

В); комитеты народного контроля, которые образованы в республиках, краях, областях, городах и районах, входят не только работники аппарата, но и представители предприятий, колхозов, совхозов, профсоюзов, комсомола, а также органов печати. Группы и посты народного контроля действуют на всех предприятиях, в колхозах и учреждениях, в них'; избираются, и коммунисты и беспартийные.

Контроль в Советском государстве приобрел подлинно-массовый характер. Приведу некоторые данные. В 1922 году государственный контроль осуществляла Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин). Аппарат Рабкрин в центре и на местах насчитывал 13 500 человек. Сейчас штатных работников органов народного контроля немногим более 7 тысяч. Но на предприятиях и стройках, в колхозах и совхозах, в учреждениях, организациях и воинских частях действует свыше миллиона групп и постов. В них работает более 8 миллионов рабочих, колхозников, служащих, ученых, деятелей культуры, домохозяек, пенсионеров, а вместе с активистами «Комсомольского прожектора» — свыше 12 миллионов человек. Напомню, что в районе, городе, например, у нас лишь один платный работник, и в то же время только общественных инспекторов в комитетах народного контроля насчитывается более 300 тысяч.

Какая же это громадная армия боевых, творческих помощников партии в укреплении государственной дисциплины, в борьбе против расточительства и бесхозяйственности, бюрократизма и волокиты, в воспитании рачительных хозяев страны!

Именно широкое участие масс позволяет осуществлять контроль не только за состоянием дел на том или ином участке, но и добиваться эффективных результатов в масштабах целой отрасли хозяйства. Ибо действенность, умение доводить начатое дело до конца, вплоть до устранения вскрытых недостатков, — это закон деятельности органов народного контроля.

Например, ежегодно ЦК КПСС и Совет Министров СССР поручают нам контролировать выполнение мероприятий по подготовке и проведению уборки урожая. До 3 миллионов народных контролеров из колхозов и совхозов, а также промышленных, транспортных, заготовительных предприятий оказывают большую помощь в своевременном выполнении планов поставки сельскому хозяйству машин, запасных частей и других материально-технических средств, контролируют ремонт техники и ее использование. Партийные, советские, сельскохозяйственные органы с помощью дозорных за последние годы закрыли немало каналов утечки урожая. Дозорные помогли сберечь миллионы тонн зерна и много другой сельскохозяйственной продукции.

В конце 1970 года около 600 тысяч народных контролеров, рабочих, колхозников, специалистов сельского хозяйства, «прожектористов» провели сплошную проверку хранения тракторов, автомобилей, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники во всех колхозах и совхозах страны.

И что же? Нашлось немало безответственных руководителей, не позаботившихся, например, о специальных подставках под «резиновую обувь» машин, без чего быстро портятся пневматические шины (а это обходится по одному лишь комбайну в 150 рублей), кое-где не сняли аккумуляторы и ремни, не подумали, как уберечь от ржавчины металлические части, а то и просто бросили технику в поле. Народные контролеры добились, чтобы все машины в ходе проверки были приведены в надлежащий порядок.

Дозорные народа взяли под неослабный контроль хранение и использование минеральных удобрений. И, по свидетельству научно-исследовательских организаций, потери минеральных удобрений по сравнению с 1965 годом снизились примерно в два раза.

По поручению ЦК КПСС и Совета Министров СССР органы народного контроля провели проверку использования и сохранности неустановленного оборудования. В это дело было включено 250 тысяч народных контролеров. Благодаря их вмешательству приведено в порядок хранение оборудования более чем на 2,5 миллиарда рублей и реализовано излишнего оборудования почти на 100 миллионов рублей.

На предприятиях, в учреждениях немало сделано с помощью народных контролеров для улучшения организации работы, сокращения потерь рабочего времени.

Большое внимание в нашей работе уделяется изысканию резервов повышения эффективности производства, увеличению выпуска продукции, улучшению ее качества. Народные контролеры подняты сейчас на борьбу за претворение в жизнь задач, вытекающих из Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования резервов производства и усилении режима экономии в народном хозяйстве». В республиках, краях и областях проводятся рейды, смотры, проверки выполнения мероприятий по экономии и бережливости.

При активном участии органов народного контроля за 1966 — 1970 годы в народном хозяйстве сэкономлено более 50 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, 32 миллиона тонн условного топлива и 50 миллионов гигакалорий тепловой энергии. Только полученная экономия электроэнергии равна годовой выработке пяти таких гигантов, как Волжская гидроэлектростанция имени XXII съезда КПСС! В машиностроительной промышленности за это время сэкономлено при помощи дозорных около 2 миллионов тонн проката черных металлов. При постоянном вмешательстве органов народного контроля страна получила сверх плана более 3,5 миллиона тонн лома черных металлов. Это равносильно тому, что начала работать новая мощная домна.

Многогранна, неисчерпаема деятельность органов народного контроля. По сути дела, вся жизнь, любая ее сторона становятся объектом их влияния.

Так, в связи с жалобами трудящихся проведена единовременная проверка 600 тысяч магазинов, столовых и ресторанов на всей территории страны. Были выявлены многочисленные случаи нарушения цен, правил в торговле, санитарная запущенность многих магазинов и столовых. Конечно же, такая проверка помогла улучшить обслуживание населения. Более того, в целях профилактики по инициативе Комитета народного контроля СССР было введено обозначение цен на всех товарах, и теперь каждый может стать контролером за соблюдением правильности цен в торговле.

Органы народного контроля постоянно и последовательно борются за укрепление государственной дисциплины. Нам приходится рассматривать немало фактов, связанных с проявлениями недисциплинированности, порой сталкиваясь с фактами явной безответственности отдельных должностных лиц.

Как видите, у органов народного контроля в управлении своя специфическая функция. Главное в их деятельности — оказание помощи партии и государству в систематической проверке фактического исполнения директив партии и правительства, государственных планов и заданий.

И если не очень внимательно смотреть на то, чем мы занимаемся каждый день, то некоторым может показаться, что эта работа лишена духа творчества: дела о потерях, бюрократизме, волоките и т. д.

Ну, а если мы сегодня тысячам людей поможем научиться бережно относиться к общественному добру и выработать привычку соблюдать законы, дисциплину, а завтра научим миллионы, то разве это не является показателем творческого, созидательного характера нашей деятельности?



Глубокое моральное удовлетворение все мы испытываем, когда мы видим, что там, где раньше были беспорядок, потери, теперь строгая дисциплина, аккуратность, подтянутость. И все это достигнуто при нашем непосредственном участии. Важно, чтобы любая будничная, подчас малоинтересная, на первый взгляд даже неблагоприятная работа всегда связывалась с теми общими историческими задачами, которые решают партия, народ. А партия, кстати, учит нас и тому, что органы народного контроля должны активно поддерживать, поощрять и развивать все новое, передовое и прогрессивное в жизни нашего общества. Причем это важнейшая наша задача — своевременно предупреждать от ошибок и промахов в работе, добиваться устранения выявленных недостатков.

В этом вот — в сухих и для равнодушного глаза скучных цифрах сбереженного, возвращенного народу общественного добра, в огромном воспитательном влиянии контроля — видится мне и настоящая поэзия и высокая романтика, романтика неустанной и очень конкретной борьбы за коммунизм. Вот почему, думается мне, участие в делах органов народного контроля — это хорошее поле деятельности для молодежи.

Работа в органах народного контроля дает человеку высокое право требовать от имени народа. И надо сказать, что партия и правительство предоставили нам немало этих прав. Комитеты народного контроля могут применять различные средства общественного воздействия, а когда этих средств недостаточно, то налагать на виновных взыскания, производить денежные начеты, отстранять от занимаемых постов, направлять в органы прокуратуры материалы о хищениях, злоупотреблениях и других преступных действиях.

Но сразу же хочу предупредить, что одновременно с этими большими правами человек, вступивший в ряды народных контролеров, берет на себя и большую ответственность. Прямо скажем, далеко не любому дается право говорить от имени народа. Только лучшим из лучших доверяется звание народного контролера. В Белоруссии, например, среди дозорных 33 Героя Социалистического Труда.

Общественные обязанности народного контролера предъявляют к человеку высокие требования. Его долг — постоянно проявлять заботу о сохранности и приумножении народного достояния, показывать пример трудолюбия и дисциплинированности, быть требовательным к себе, принципиальным и непримиримым, когда дело идет о защите государственных и общественных интересов.

Можно с полной уверенностью говорить о том, что основная масса народных контролеров воплощает в себе именно эти высокие моральные качества. Они проявляют себя как смелые борцы с отсталостью и косностью, бюрократизмом и волокитой, бесхозяйственностью и расточительством.

Я мог бы сказать о них и просто: бойцы. Потому что иногда им приходится смотреть и смерти в глаза, как это было с Владимиром Гуляевым.

Председатель группы народного контроля Рудничной автобазы города Кемерово Владимир Гуляев разоблачил жулика, который использовал положение начальника автоколонны для своего личного обогащения. Жулик старался отговорить дозорного, пытался избежать неминуемой кары, но безуспешно. Тогда однажды вечером он на пустыре с оружием в руках подкараулил народного контролера. Мужественно встретил опасность Владимир Гуляев, не дрогнул, когда раздался выстрел. К счастью, пуля прошла стороной. За образцовое выполнение общественного долга, самоотверженность Президиум Верховного Совета РСФСР наградил народного контролера Почетной грамотой.

Я мог бы рассказать и о десятках других дозорных, чья деятельность в наших органах — это настоящий каждодневный подвиг. Так, на трикотажном производственном объединении «Марат» в Таллине буквально каждый знает «дядю Колю» — начальника бюро пропусков Николая Григорьевича Пудова. Бывший пограничник, он «от звонка до звонка» прошел и финскую кампанию и Великую Отечественную войну. О войне у него осталась «памятка» — обмороженные и раненые ноги. Последнее время его даже на работу и домой отвозят на машине. И вот такой человек находит в себе силы руководить более чем

тремястами народных контролеров объединения. Да еще как! Десятки больших и малых дел предприняли дозорные.

Характерно, что в любой проверке стремится Николай Григорьевич не только решить проблему, но и людей при этом воспитывать. Так, поручил он молодым дозорным Любе Фурштатовой, Галине Потоцкой и члену бюро Малле Вийре проверить сигналы о неблагополучии в столовой. Те убедились, что жалобы на плохое качество пищи подтверждаются. На бюро группы решили провести там документальную ревизию. А чтобы не было лишних разговоров, пригласили нейтральных ревизоров из комитета народного контроля Морского района. 15 дней шла ревизия, которая выявила крупную недостачу денег. Дело рассматривалось на комитете. Виновные понесли наказание. А девушки-дозорные получили к тому же и предметный урок чуткости к людям. Контролер ведь ни одного факта не может просто так на веру взять: любое обвинение должно быть на сто ладов проверено и обосновано.

В бюро группы Николай Григорьевич так расставил людей, что все 11 его членов занимаются секциями, которые им наиболее близки. Перед любой проверкой он тщательно инструктирует народных контролеров, делится с ними большими и малыми тонкостями из собственного опыта. И так во всем и всегда, махнув рукою на свои болезни и тревоги, но ни на минуту не забывая о делах общественных.

А сколько их, таких неприметных героев, как Екатерина Ивановна Буравихина, заведующая орготделом Дятьковского районного комитета народного контроля Брянской области, или Александр Алексеевич Папков, общественный заместитель председателя Пятигорского городского комитета, которые не могут спокойно сидеть на пенсии. К 9 часам утра, как на работу, приходят они в свои комитеты. Да, собственно, как не назвать столь высоким, весомым словом «работа» ту огромную общественную деятельность, которой они занимаются? Разумеется, не получая за свой труд контролера никакого вознаграждения, движимые лишь беспокойным чувством хозяина страны.

Такие люди — наш золотой фонд. Но им нужна поддержка, нужно все больше помощников — молодых, задиристых, владеющих солидным запасом современных знаний.

Ведь задача контроля становится все труднее по мере того, как все более масштабные задачи приходится решать стране. Еще в 1966 году Л. И. Брежнев говорил, обращаясь к молодежи на XV съезде ВЛКСМ: «Сейчас перед нами стоят задачи такого размаха и такой сложности, каких нам до сих пор, пожалуй, еще не приходилось решать в ходе мирного строительства. Молодое поколение наследует от своих отцов колоссально усложнившийся производственный, научно-технический и общественный организм. Чтобы двигать его вперед и развивать далее, требуются глубокие специальные знания, постоянное совершенствование мастерства в избранной профессии. Это становится важнейшей потребностью и общества в целом и каждого человека в отдельности».

Так, нет особой необходимости доказывать, какое важное место в нашей работе занимают вопросы экономии и бережливости. Но можно смело сказать, что ни в один из периодов в истории Советского государства органы народного контроля не играли такой роли в вопросах экономии и бережливости, какую они призваны играть в настоящее время.

И не потому, что мы стали беднее. Наоборот, производительные силы страны колоссально возросли. Объем продукции настолько велик, что его трудно сравнивать с прошлым. Советские люди научились лучше хозяйничать. Именно это и требует от нас изыскивать новые пути более рационального использования материальных ресурсов в интересах всего общества.

Любая «мелочь», помноженная на масштабы нашего огромного хозяйства, оборачивается миллионами рублей экономии, общего выигрыша. Представьте себе, сколько весит снижение всего на один процент расхода сырья и материалов в масштабах страны: за год можно дополнительно вовлечь в производство 1 150 тысяч тонн стали, 3,5 миллиона тонн нефти, почти 2 миллиарда кубометров газа, 7,4 миллиарда киловатт-часов

электроэнергии! (Нелишне отметить, что в 1928 году, например, все электростанции страны вырабатывали около 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.)

Помните, Ленин в первые годы Советской власти мечтал о ста тысячах тракторов, чтобы преобразовать старую крестьянскую Россию? Теперь же рост дневной выработки трактора только на 0,1 гектара равносителен тому, что на поля дополнительно выйдет около 170 тысяч этих машин!

Если сберечь всего один процент годовой выплавки стали, то этого вполне хватит<sup>1</sup> для изготовления миллиона легковых автомобилей «Москвич».

А как возросла цена рабочего времени! Потеря рабочим лишь одной минуты в смену принесет в масштабе страны убыток 50 миллионов рублей в год.

Эти «мелочи» можно найти всюду, на каждом рабочем месте.

А что для этого нужно?

Не быть равнодушным, не жить по пословице: «Моя хата с краю...» Пойми, юный друг, что твой дом не замыкается стенами квартиры. И улица города, по которой ты идешь, твоя, и магазины, и кинотеатр, и завод, и стройка или колхозное поле, где ты работаешь, — все твое.

Добрые родители выработали у тебя хорошую привычку беречь костюм, заботиться о чистой рубашке, платье, соблюдать порядок в квартире.

Почему же ты иногда бросаешь мусор на лестничной клетке или равнодушно проходишь мимо того, кто это делает? Почему отводишь взгляд от тех, кто портит общественное добро — будь то сломанный куст в парке или брак соседа по цеху? Почему?

Не потому ли, что ты еще не осознал, что государство — это ты, сын или дочь трудового народа? От тебя зависит не только твое личное счастье, но и счастье других.

Разумеется, экономия и бережливость в нашем понимании ничего общего не имеют с моралью «скупых рыцарей», готовых умереть на своих сундуках, лишь бы ни крохи не досталось другим. Социалистический строй уничтожил социальную основу волчьей жадности мелкого собственника. Плюшкины, Гобсеки, Дикие и прочие подобные типы уходят в прошлое. Если же кое-кто и несет в себе отдельные их черты, то это не что иное, как атавизм, и обречено на отмирание.

С другой стороны, любовь к человеку в нашем понимании — это не альтруизм, не евангельская любовь к ближнему, а чувство локтя в труде и в бою, высокое сознание коллективизма, когда один за всех, а все за одного, когда все связаны чувством ответственности и железной дисциплины, в трудный момент переходящей в самоотверженность, — вот что характеризует нашу советскую мораль. И любовь эта действительна. Главный ее признак не простое сочувствие, сопереживание, а стремление делом помочь людям построить для всех счастливую жизнь. Именно ради этой великой цели и нужно нам умение любую «мелочь» пустить в дело, поставить на службу интересам общества.

Ленин не раз указывал, что у нас нет других путей и возможностей для окончательной победы нового общества, для того, чтобы занять передовые рубежи в мире в области экономики и благосостояния людей, кроме обеспечения высшей производительности на основе научно-технического прогресса, рационального использования материальных и трудовых ресурсов, жесточайшей экономии и бережливости во всем.

Письмо ЦК КПСС. Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ определило программу нашей деятельности в этом направлении. Мы эту работу ведем вместе с профсоюзами, комсомолом, всей нашей общественностью.

И вот ведь какие интересные закономерности выявляются. Если экономия достигнута в результате ликвидации бесхозяйственности, ликвидации прямого расточительства — это одно. В таком случае важно не только добиться экономического эффекта, а главное —

навести порядок, поднять дисциплину, поднять ответственность людей. Но в этих резервах виден и определенный предел.

Все более важным сейчас представляется другой путь — повышение эффективности за счет внедрения более совершенной технологии, научной организации труда, достижений науки и техники.

Нам надо, разумеется, быстрее закрывать каналы потерь, наводить жесткий порядок, но еще больше надо всячески поддерживать все новое, прогрессивное, более активно распространять опыт передовых заводов, строек, колхозов и совхозов.

Органы народного контроля могут многое сделать для ускорения научно-технического прогресса.

Не секрет, что наша страна закупает за границей лучшие образцы техники, лицензии. Чем скорее их введут в действие, тем быстрее будут достигнуты передовые рубежи в развитии отдельных отраслей промышленности.

Экономический прогресс нашей страны обеспечивается, конечно, не только лицензиями и импортным оборудованием, но главное — достижениями отечественной науки и техники и их быстрым внедрением в производство. Разве это не долг народных контролеров — выяснить, по каким причинам порой лежат втуне изобретения и предложения наших ученых, конструкторов, изобретателей и какую помощь необходимо им оказать? Это же важнейший резерв развития нашей социалистической экономики.

«Можно без преувеличения сказать, — подчеркнул Л. И. Брежнев в речи на торжественном заседании ЦК КП Белоруссии и Верховного Совета Белорусской ССР 28 декабря 1968 года, — что именно в этой области, в области научно-технического прогресса, пролегал сегодня один из главных фронтов исторического соревнования двух систем. Для нашей партии это делает дальнейшее интенсивное развитие науки и техники и широкое внедрение в производство последних научно-технических достижений не только центральной экономической, но и важной политической задачей. На нынешнем этапе вопросы научно-технического прогресса приобретают, можно прямо сказать, решающее значение».

Или возьмем другую важную задачу — совершенствование организации и управления народным хозяйством. На декабрьском (1969 г.) Пленуме ЦК КПСС подчеркивалось, что мы вступили в такой этап развития, который уже не позволяет работать по-старому. Современные условия требуют совершенствования методов, самой системы управления, в частности работы, связанной со сбором, быстрой обработкой и анализом информации, дальнейшей разработки научно обоснованных методов принятия решений, существенных поправок в структуре управления, что позволяет строить ее более рационально, избавляясь от ненужных звеньев, устанавливая правильное соотношение прав и обязанностей, власти и ответственности на всех уровнях.

За прошлый год в соответствии с постановлением партии и правительства в системе министерств и ведомств СССР и союзных республик при активном участии органов народного контроля осуществлен ряд мероприятий по совершенствованию и удешевлению аппарата. Упразднено более тысячи трестов, контор и других промежуточных звеньев управления, ликвидировано свыше 34 тысяч параллельно действующих и излишних отделов, цехов и других структурных подразделений предприятий и организаций.

Разговор о проблемах управления имеет прямое отношение к молодежи. Кому, как не молодым, первыми осваивать работу по-новому, овладевать высотами науки управления? В управленческом аппарате уже и сейчас работает много молодежи. И молодых работников здесь будет все больше по мере дальнейшего внедрения современных математических методов, применения электронно-вычислительной техники. Молодым народным контролерам в этой области, как говорится, и карты в руки.

Впрочем, где только не нужны силы, знания и умение молодежи! Возьмем, к примеру, более житейскую проблему: помощь партии в повышении жизненного уровня народа, расширении выпуска и обеспечении населения товарами массового спроса,

улучшении бытового обслуживания. Ведь молодым в первую очередь хочется хорошо и красиво одеваться, пользоваться определенным комфортом.

Партия много сделала и делает, особенно в последние годы, для повышения уровня народного потребления. Как известно, сейчас все больше капиталовложений идет на расширение продукции как называемой группы «Б», и она развивается более быстрыми темпами. Товаров народного потребления производится все больше. Но сколько еще остается неиспользованных местных резервов! Разве здесь не могут помочь молодые, энергичные, инициативные люди?

Потом, на мой взгляд, в этих вопросах особенно ярко проявляется, как сказать, болезнь роста. Зачастую уровень обслуживания просто отстает от возрастающего спроса.

Тысячи, миллионы радиоприемников, телевизоров, холодильников и других нужных современных вещей получают советские люди. Но... порой негде отремонтировать даже незначительные повреждения. И вовсе не потому, что нет мастеров. Если надо, их можно подготовить. Не хватает, как правило, элементарного порядка в организации обслуживания, разумной инициативы, выдумки.

Помнится, еще пять лет назад партия поручила комсомолу заняться улучшением работы сферы быта. И за эти годы многое уже сделано.

Молодым дозорным предстоит открыть еще массу резервов в этом безусловно важном деле. И, как говорится, в добрый путь!

В историю нашей страны, историю комсомола немало славных страниц вписано «легкой кавалерией», а теперь — «Комсомольским прожектором» — этим младшим братом органов народного контроля, его подготовительным классом.

Разворачиваемая «прожектористами», комсомольскими организациями страны борьба за создание «Комсомольского фонда экономии» помогает нашему государству поставить на службу пятилетке тысячи и миллионы сэкономленных рублей, пустить в дело новые и новые резервы.

Очень важно привлечь как можно больше молодых людей в «Комсомольский прожектор» и к работе органов народного контроля.

Почему это так важно? Да потому, что контроль — это еще и школа воспитания. Он помогает человеку, особенно молодому, осознать себя настоящим хозяином родной страны, формирует в нем качества бойца, дает простор для применения его способностей и знаний.

Ведь задача народных контролеров не только выявлять недостатки и сигнализировать о них, но и распространять передовой опыт, поддерживать ценные предложения трудящихся. При этом контролеры сами выступают инициаторами полезных начинаний, дают пример в труде. Так, в колхозе имени Кирова, Колышлейского района, Пензенской области, народный контролер, тракторист А. М. Сарычев на косовице зерновых занял первое место. В колхозе «Россия», Мокшанского района, члены группы, комбайнеры И. И. Бормотин и его сын Александр намолотили за сезон 15 тысяч центнеров зерна. И не только сами добились хорошего результата, но и помогли коллективам десяти других агрегатов, работающих в этом отряде, достичь высокой производительности. Там, где убирал отряд, не было никаких потерь.

Это очень хорошо, когда народный контролер еще и настоящий специалист, имеет моральное право и делом может подтвердить справедливость своих замечаний. Так, комсомольцы-«прожектористы» Черкесгэсстрой в Дагестане обратили внимание начальника стройки на то, что самый «узкий» участок стройки — СМУ-4 перерасходует древесину из-за неэкономного ее использования, более того, из-за случаев приписок и хищений. А следует заметить, что вопрос этот был поднят со знанием дела: молодые экономисты подсчитали, сколько леса должно было уйти на опалубку, комсомольцы после работы проверяли нарядные листы, обмеривали материал, израсходованный при этом. Однако нашлись и противники, которые стали говорить, что перерасход, дескать, вещь, естественная на любых больших стройках, что без него не обойтись. Тогда по инициативе «прожектористов» и с

разрешения руководства стройки за дело взялась комсомольско-молодежная бригада плотников-бетонщиков, созданная из настоящих мастеров. Она убедительно доказала, что в норму укладываться можно.

Вообще добросовестный, с полной отдачей сил и знаний труд на своем рабочем месте — это первое и самое главное в оценке общественной значимости человека. В нашем социалистическом обществе труд твой, чем бы ты ни занимался, по выражению Маяковского, «вливается» в труд твоей республики. Материальные блага, которыми ты пользуешься, — результат общей работы. Один строит дом, в котором ты живешь, другой сделал для него проект, третий — мебель... В свою очередь, и сам ты своей работой кому-то, не только близким, но и «дальним», то есть всему обществу, приносишь пользу. И чем лучше ты выполняешь свое дело, тем больше от тебя проку твоему Отечеству, а значит, и тебе самому. А коль сделал что-то плохо, недоброкачественно, так страдает не какой-то хозяин — частный предприниматель, страдает все общество, в итоге же — ты сам.

Очень хорошо, что современная молодежь стремится достичь высот в овладении квалификацией, что по инициативе комсомола проводятся конкурсы профессионального мастерства, действуют школы передового опыта и т. д. Добросовестный труд — это ведь и первый шаг к государственному мышлению, к высокой общественной активности. Не случайно именно передовые молодые работники идут в отряды «Комсомольского прожектора», в органы народного контроля. Ведь хороший специалист, настоящий Мастер просто не сможет равнодушно смотреть, если рядом с ним кто-то плохо работает, если плоды труда равнодушных рук грозят свести на нет и результаты вдохновенного труда Мастера. Он обязательно вмешается и не успокоится до тех пор, пока не добьется порядка.

Поистине грандиозные задачи намечены партией и правительством на пятилетку. Вам, молодым, в первую очередь предстоит решать эти задачи. Мне очень нравятся строки Лебедева-Кумача из известной песни — помните? — «Человек проходит, как хозяин необъятной Родины своей...». А настоящим хозяином становятся не сразу. Этому надо учиться, и в этом может очень помочь всенародная школа управления — органы народного контроля.

Публицистика

ВАЛЕНТИНА ЮДИНА,  
БОРИС ЧЕРНЫХ

ГИНИН ДУМАЕТ О ЖИЗНИ

Эх, и славно, вырвавшись из городской суетливой жизни, сесть в медленный пригородный поезд и податься в деревню, где есть у тебя друзья-мальчишки, с которыми ты удил рыбу, ходил по грибы и ягоды. Благословенное лето в Мещере — в сравнение с ним не идут ни Рижское взморье, ни Южный берег Крыма. Краски глухие, неброские, но столько в них тепла!

Вот почему звонок из деревни Уляхино был врачующим и долгожданным. Знакомый председатель колхоза звал нас в гости на субботу — побалакать, попить чайку, походить по осеннему спокойному лесу.

Мы собрались и поехали. В Уляхино добрались к вечеру. От Курлова, бывшего районного центра, дорога совсем плохая; старенькая председательская «Волга» на животе ползла (свой участок дороги колхоз запланировал покрыть асфальтом, но все руки не доходят).

Но вот и гостиница. Люди толпятся. Курят «Варну» и «Беломор», поигрывают в шахматы, хоккей из столицы на экране телевизора смотрят.

Степан Петрович Гинин — так звать председателя нашего колхоза — принаряжен; и публика тоже не без шика, от горожан не отличишь. Пиши извиняется — зазвал нас на «вече», чтобы услышать потом мнение журналистов «для пользы дела».

Что такое «вече»? Собрание молодежи всех профессий по случаю окончания страды.

Вече задумано широко и с умом. Просторный холл гостиницы сверкает люстрами, полированная мягкая мебель принимает жесткие тела парней, убаюкивает. Расфранченные девчата разносят хрусталь. Выдержанное вино — молдавское — искрится в бокалах. Легкая закуска и чай грузинский на десерт.

Усомнились мы, получится ли разговор.

— А это уж на меня положитесь, — успокоил председатель.

Ну, вече не вече, а новоявленные деревенские посиделки получились. Гинин, как и все, пил вино, парировал удары, но в основном молчал, слушал, полагая, что с главной задачей справился — расшевелил молодежь. Мы еще раз убедились в том, что колхозу имени XVI годовщины Октября с председателем повезло, но больше всего повезло молодежи. Хотя, если восстановить картину тех ноябрьских посиделок, разговор был острый и иногда нелюбезный... Судите сами. Собрали председатель с парторгом цвет молодежи, поднесли вина (развязали языки, говоря по-дедовски), а потом и просят:

— Давайте поговорим, что не нравится вам в жизни нашей деревенской и что можно сделать...

За трибуну идти никому не надо, а этак, ложечкой помешивая чай, раскладку обстоятельную можешь делать. А молодежь грамотная, языкастая. Тут и инженер, и агрономша с мужем, и врач, и механизаторы, и директор школы, в которой все они учились.

Согласитесь, сюжет фантастический: председатель колхоза — как некая вдова — сам себя готов высечь, подставляет себя под лобовую критику.

Но таков уж Гинин. Только два дня после того ходил рассеянный, дома непривычно молчал, все думал. Думы были про то (позже признался), каким трудным и долгим оказался путь этих колхозных девчат и парней к нынешней их раскованности.

Терпи, председатель, слушай. Впрочем, и радуйся. Потому что речи эти не просто о том, что колхозу надо срочно строить спортзал и асфальтировать дороги. Но и о гораздо более важном.

## 1. ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ!

Так уже на роду написано у нашего поколения — все мы рано или поздно начинаем думать о деревне как об истоке своем, потому что не родители, так деды или прадеды наши жили и трудились на пашне, всецело завися от земли-кормилицы.

Кто тут виноват: литература, публицистика? Мало сказать, потому что — ясно же — они лишь отражают народившуюся объективность.

Деревня переживает сложные времена. Власть земли, хрестоматийная «власть земли», больше не удерживает молодежь, она покидает насиженные места в поисках... В поисках чего? В ответе на этот вопрос, наверное, и кроется истина.

Не рискуя говорить вообще, мы расскажем читателю о деревне Уляхино, о колхозе в Мещерской низменности, который является веским примером того, как решались кардинальные вопросы времени, поставленные в повестку дня XXIII съездом партии.

Владимирская деревня — это не локальное средоточие посадков и сел, она открыта семенам ветрам и бурям. Виктор Максимович Афанасьев, начальник отдела трудовых ресурсов облисполкома, дал нам недлинную справочку. Вот она:

«Семьдесят процентов убывающих из области — молодежь в возрасте до тридцати лет. Естественный прирост жителей на селе сократился до 0,6 на тысячу человек, то есть смертность превысила рождаемость.

Средний возраст жителей по девяти районам области равен сорока одному году, а в отдельных районах составляет сорок три и даже сорок шесть лет».

Деревня Уляхино выглядит на этом фоне парадоксом. Вся молодежь здесь остается дома. Мытарств отхожего промысла давно уже не знает ни одна уляхинская семья. Средний возраст жителей Уляхино — тридцать три года. Комсомольская организация — также исключительный факт — выросла за последние три года в десять раз.

Но едешь в Уляхино, и мелькают деревеньки, и в каждой обязательно один, два (а где и десяток) домов заколочены, смотрят темными провалами окон на улицу, заросшую ромашкой. Рядом с Уляхино, в колхозах, мужики по-прежнему уходят на зиму в поисках заработка, в поисках занятости.

Как же и кто же будет выполнять напряженный план нынешней пятилетки? Перед хозяйственниками вопрос встал обнаженно и остро, отступить некуда.

Послушаем мнение секретаря Владимирского обкома партии Юрия Григорьевича Тесленко, высказанное им на пресс-конференции осенью прошлого, семидесятого года:

— Опыт колхоза имени XVI годовщины Октября, видимо, единственная альтернатива развития села на завтра. Средства, которые предстоит освоить в новой пятилетке, огромны. Мы располагаем техникой, площадями, руководящими кадрами, но если мы не остановим отток молодежи из села, едва ли мы выполним пятилетку. Нам не хватит рабочих рук.

Вконец заинтригованный читатель требует немедленного ответа: что же это за уникам — колхоз имени XVI годовщины?

Степан Петрович Гинин был тридцать первый по счету председатель, когда принял колхоз. Что это было за хозяйство, лучше всего говорят вот эти цифры: шестьдесят кур, девять лошадей, тридцать коров и 19 тысяч годового дохода. Стояла осень 1956 года.

Он шел тогда, молодой выпускник Плехановского, по деревне Уляхино. Кудрявая черная голова слегка запрокинута, красив, несокрушим, статен. Пальто нараспашку. Не ведал он в ту осень, сколько всего придется пережить, как будет он метаться по району и области, выискивая корма, как ринется в Курган с бригадой мужиков, чтобы на стороне — вот и ему на стороне довелось походить — добыть зерно.

Со временем — мы надеемся — поставят памятник председателю колхоза (обобщенный, разумеется). Он будет изображать мужика стожильного, стоглазого: все видеть, все уметь, все завершать, коли начал. Пляшущий Шива в подметки ему не сгодится.

Таким был Гинин. И еще одно ценное качество отличало его — он умел думать. Точнее, он успевал думать.

Думы думами, но ходил Гинин от избы к избе по опустевшему Уляхино и уговаривал, упрашивал старух да инвалидов выйти в поле.

На Петров день — к сенокосу либо в канун Пасхи — возвращались с заработком отходники — труд плотников, красилей, лесорубов на стороне имел неплохую цену — и, пристроившись на ступенях правления колхоза, донимали председателя; «Вернешь должок, Петрович?»

Колхоз уже много лет не мог расплатиться с людьми и за невеликий их труд.

Председатель понимал: пока будут уходить на сторону люди и уносить с собой самое большое богатство — труд, колхозу не встать на ноги.

Не пустить же людей в отхожий промысел можно было лишь одним — гарантией, что и дома они смогут заработать не меньше. Но где взять деньги? И председатель пытается окольным путем выйти на рынок. Уговаривает стариков приняться за изготовление черенков, метел, дверных ручек. Когда заработок стариков сравнялся с заработком отходников, стали оставаться дома и те. Колхоз организовал производство плащей, деньги помаленьку потекли в кассу. Теперь можно было построить новый коровник, вложить часть денег в развитие растениеводства.

Председатель собирает женщин и отводит им несколько гектаров земли под капусту.

— Доход, который получим с поля, — ! пополам, Одну половину колхозу, вторую возьмете себе.

Ему не верили.

— Сбежишь, Петрович. Тридцать до тебя сбежали, и ты сбежишь.



Но Гинин не сбежал. И тот «хозяйский расчет», внедренный им на капустном поле, принес первую победу. Урожай получился небывалый.

Однако молодежь по-прежнему дома оставаться не хотела. Что ни день, то непременно в кабинете у председателя появлялся кто-нибудь с одной и той же просьбой: «Отпусти моего в город...»

Переживал председатель, но все-таки не держал никого. Он только неустанно говорил и говорил молодым:

— А землю — на кого землю оставляем? И все впустую.

Оставалась одна надежда, вот разовьются как следует промыслы, появятся лишние деньги...

Промыслы и в самом деле служили хорошим подспорьем. Кроме того, что они стали давать колхозу средства на жизнь, они же и изменили в корне сам крестьянский труд. Круглогодичная занятость людей трудом внесла хороший ритм в деятельность колхоза.

Много позднее председатель колхоза, уже будучи аспирантом кафедры экономики, отыщет в «Капитале» поразительные слова — поразительные потому, что специфику русской деревни Маркс сумел разглядеть издали и еще в прошлом веке:

«Чем неблагоприятнее климат, тем короче рабочий период в сельском хозяйстве, тем короче, следовательно, и то время, в течение которого затрачиваются капитал и труд. Например, Россия. Там в некоторых северных областях полевые работы возможны только в течение 130 — 150 дней в году.

Легко представить себе, какой потерей было бы для России, если бы 50 из 165 миллионов населения ее Европейской части оставалось без занятия в течение шести или восьми зимних месяцев, когда должны прекращаться всякие полевые работы... Существуют деревни, где все крестьяне из поколения в поколение являются ткачами, кожевниками, сапожниками, слесарями, ножовщиками и т. п.; в особенности это наблюдается в губерниях Московской, Владимирской, Калужской, Костромской и Петербургской».

Но в ту пору Гинин не читал Маркса: некогда было. Дошел самоуком. Жизнь натолкнула. А может, самолюбие помогло. Колхоз пошел в гору.

Стали платить животноводам, пастухам. Появились строители — свои, не шабашники. Построили дизельную электростанцию, провели в дома свет. Клуб заложили. Вот-вот, надеялся председатель, и молодым не захочется искать счастье на стороне.

Не суждено было сбыться тогда его надеждам. В шестьдесят первом грянула беда, вдруг началась критика промыслов; зашумели газеты, замелькали слова о том, что-де на земле человек должен заниматься только землей... и опрокинули гининскую веру в исконную власть земли.

Промыслы были запрещены. Приехала комиссия снимать председателя. Знало ли Уляхино когда-либо более многолюдное собрание, чем то собрание? В контору правления колхоза пришла вся деревня — и молодого председателя отстояли. Он остался в колхозе. Но — увы — повторилась старая картина: за два года уехало тридцать семей. Возобновилось отходничество.

Гинин скрипел зубами, но тянул трудную и непосильную лямку.

Мартовский Пленум ЦК КПСС и решения XXIII съезда партии выправляют положение, и Гинин снова в седле.

И, наконец, в проекте Директив XXIV съезда КПСС по новой пятилетке читаем: «Обеспечить в колхозах и совхозах дальнейшее развитие подсобных промышленных производств и промыслов ... в целях более полного и равномерного в течение года использования трудовых ресурсов в сельской местности, укрепления экономики хозяйств, повышения производительности труда».

О власти земли Гинин уже больше не говорит. Вспоминает иногда, улыбается; «На заре туманной юности всей душой любил я милую».

Что-то надломилось, сдвинулось в сознании председателя и укрепилось одновременно.

## 2. ВЛАСТЬ МАШИН!

Да, колхоз снова становился на ноги. Только молодежь по-прежнему уезжала. Ну, клуб построили комфортабельный — а кто в нем плясать будет? Баню строим — кто в нее париться пойдет? Спортзал заложим — для кого?

Высокий заработок против ожидания лишь усилил отток населения.

Председатель колхоза имени XVI годовщины Октября часто беседовал с молодежью, но и сама молодежь абстрактно отвечала на сакраментальный вопрос: «Чего ты хочешь?» «Как-то скучно, неинтересно» — вот стереотипный ответ.

Гинин стал много читать — в домашней библиотеке собрал вместе и Успенского, и Овечкина, и Дороша. Добавил Гендрякова, Можая, Лихоносова, Солоухина.

И в одну из наших встреч обрушился на нас (будто мы виной!) вот с какой тирадой:

— Поэтические картинки хороши, заманчивы, но в милой этой деревеньке что-то не остается молодежь. А ваши деревенщики вздыхают: «Околица родная, что случилось?..»

Гинин правильно уловил тенденцию некоторых литераторов — идеализация «околицы», патриархальщины, «самости» русской деревни, а между тем на дворе бурная середина двадцатого столетия.

Гинин поступает в экономическую аспирантуру, уже заранее догадываясь, что он будет отстаивать и защищать в будущей диссертации.

Становится частым гостем в Уляхинской школе, выведывая, кем же мечтают стать ребята.

Мотается по общежитиям фабричного райцентра, пытаюсь понять, чем держит этот город девчат, которые по субботам так радостно отплясывают у себя дома — в колхозном клубе, а в понедельник ранехонько, запрятав в городские свои сумки мамкины узелки с провизией, вереницей тянутся к шоссе.

Наконец, председатель приходит к единственному и, как он уверяет, окончательному выводу: не асфальт, не театры и библиотеки, не расцветенные витрины магазинов (хотя и это важно!), а труд — прежде всего квалифицированный, разнообразный, интересный труд вырывает молодых из родных гнезд и гонит, влечет по свету. В наш век уже не может удовлетворить молодого человека или девушку ни работа на примитивной животноводческой ферме, ни роль разнорабочего в полеводстве, ни должность пастуха, сколько бы мы ее ни поэтизировали.

Но ведь и доярки, и полеводы (не только те, что на тракторах), и пастухи, и тепличницы еще ой как нужны сегодняшней деревне. Допустим, в колхозе откроется фабрика, молодежь вернется домой, а на ферме, что же, по-прежнему некому будет работать? Или с приходом молодежи все образуется? Все встанет на свои места?

Вот в каком направлении работала гининская мысль. А жизнь опережала председателя.

В деревеньке Сивцево в отремонтированном просторном доме правление колхоза решило открыть производство дефицитных товаров. Дешевое сырье — отходы промышленности — само шло в руки.

Лишние деньги немедленно можно будет вложить в создание орошаемого участка земли и в строительство.

Зазвали из Москвы мастера, оборудовали цех. Машины, пресс, лампы дневного света. Рабочий день, как в городе, в две смены. Женщины пошли работать с великой охотой.

Но стал замечать председатель, что и девчата, как приедут на выходной домой, все в цех бегут. В диковинку им. И нравится, видно.

Затаился председатель. Стал ждать.

И вот однажды переступила порог гшшнского кабинета повзрослевшая Маша Медведева.

— Степан Петрович! Хочу вернуться, а на фабрике документы не отдают. Похлопочите, пожалуйста.

— А что ж они этак! — рассмеялся Гинин. — Ведь я в свое время с документами тебя отпускал.

«Маша — лишь первая ласточка. Теперь потянется, потянется молодежь домой», — радовался Гинин. И действительно, молодежь потянулась.

Девчата неловко топтались у правления, прежде чем войти, словно стеснялись прошлого.

Но Гинин выскакивал сам на крыльцо, зазывал в кабинет...

Колхоз закупает токарные станки и открывает деревообделочный цех.

Сегодня в цехе тридцать токарных, около десятка фрезерных станков, пилорама, циркулярка. Станки привлекли парней.

Итак, за два года, обратите внимание на цифру, в колхоз вернулось 104 молодых человека.

Председатель торжествовал. Полукустарный промысел превращается в почти индустриальное, машинное производство.

Колхоз из убыточного быстро стал высокорентабельным. В несколько раз расширили тракторный и автомобильный парк, закупили сложные машины для полива полей. В домах появился водопровод, газ. Заложили фундамент нового магазина, бани, правления колхоза, ремонтных мастерских. Заказали проект плотины на речке Гусь... Гинин уже вовсю воспевал власть машин.

— Агропромышленный комплекс — вот будущее деревни, — не уставал повторять со всех трибун, пользуясь любым случаем.

А когда состоялся Третий съезд колхозников, он примчался на своей «Волге» во Владимир со свежей «Правдой» и все заставлял нас перечитывать вот эти слова из речи Л. И. Брежнева про аграрно-промышленные объединения:

«Это не только новая организационная форма, но и важное социально-экономическое явление. Мы должны практически взяться за это дело, предупредив себя от ошибок и недостаточно продуманных, поспешных решений».

Что ж, Гинин вправе был торжествовать. Именно на этом пути колхоз добился успехов. И вопреки всем противникам подсобных промыслов, которых предрекали затухание сельскохозяйственных отраслей, в колхозе имени XVI годовщины Октября все сельскохозяйственные отрасли, получив солидные вложения за счет промыслов, преобразились буквально на глазах.

Урожайность в сравнении с 1964 годом возросла: по зерновым — почти в четыре раза, по овощам — в три раза. Производство мяса увеличилось в пять раз, молока — в три раза. Производительность труда в сельском производстве выросла в два раза...

Стоп. Мы сказали: «производительность труда в сельском производстве...» А как решился вопрос с рабочей силой в этом самом сельском производстве? Вы помните сомнения председателя: не станет ли молодежь чураться труда в поле?

Как-то солнечным зимним днем мы завернули по пути в гининский колхоз. И подивились, увидев, как весело девчата таскали в плетеных корзинах торф для набивки парников. Гинин, заметив наше удивление, разъяснил эту идиллическую картину:

— | Что ж странного? Они делают эту физическую работу охотно, потому что делают ее не постоянно. Девчата работают в цехах, а сюда приходят время от времени. Вы замечали, как нравится студентам |убирать картофель? А с какой охотой заводские парни приезжают на сенокос? Мы ж теперь и картофель и сено — все убираем сами.

А через полгода, выступая на пленуме обкома комсомола, отстаивая ту же мысль, хитрец Гинин призвал себе в союзники Энгельса: «...противоположность между городом и деревней тоже исчезнет. Одни и те же люди будут заниматься земледелием и промышленным трудом, вместо того, чтобы предоставить это делать двум различным классам».

Мы давно были знакомы с этой теоретической мыслью, по-своему раскрытой Лениным уже в условиях социалистической революции. «Противоположность между городом и деревней является одной из самых глубоких основ хозяйственной и культурной отсталости деревни... РКП видит в уничтожении этой противоположности одну из коренных задач коммунистического строительства».

Но, наблюдая за перипетиями меняющегося уклада владимирской деревни, мы видим, как трудно деревня прощается с прошлым. Так же трудно осваивает она и машинное производство при всей кажущейся внешней легкости. Особенно это заметно в психологии крестьянина — будто что-то очень душевное уходит из быта, улетучивается в человеке, он становится грубее и резче. Видит ли народившиеся противоречия председатель нашего колхоза?

После июльского Пленума ЦК КПСС (1970 г.) Московский пединститут имени Крупской собирал ученых нескольких крупных педагогических институтов страны на конференцию.

Философы, политэкономы, социологи должны были обменяться мнениями о трудовых ресурсах села. И аспиранту Гинину тоже предложили выступить на этом солидном собрании.

Мы читали тезисы его доклада:

«Ярые реформаторы готовы вовсе игнорировать веками устоявшуюся традицию на селе и силком (любимое словцо у Гинина. — Авторы) переселяют вчерашних крестьян-единоличников и колхозников-домоседов в коммунальные квартиры, разом обрывая пуповину, которая связывает психику мужика с производством и с односельчанами ..

Довольно долго и я был одним из таких реформаторов, не признающим никаких обходных тропок на пути к техническому прогрессу. Но вот все больше приглядываюсь к жизни и вижу, что даже заведомо прогрессивное надо вводить осторожно и деликатно. Давайте завтра же мы переселим всех в многоквартирные дома со всеми удобствами, по гудку станем собирать на работу, и мы многого недосчитаемся в отношении крестьянина к труду. Все должно решаться исторически. Назревшие вопросы должны находить оптимальные варианты исполнения».

Не так-то уж, оказывается, и скоропалителен путь Гинина от одних убеждений к новым.

В тесной, но уютной гостиной председательского дома мы долго говорили о том, что власть земли, отмирая, уносит с собой и ту невидимую простым глазом связь, которая делает труд одухотворенным. По сей день любой клочок земли, отведенный в личное пользование, отличишь от колхозного огорода. Потому что каждая полезная травинка на том клочке выращена с любовью. Обогрета не только солнцем, а и человеческой заботой. Так почему же недостает той же любви и для общего труда? Там, возле дома, — это мое, а здесь, на колхозном поле, — наше, значит, и мое опять же. Но нет, не выходит по логике.

Мы рассказали выше, как сказывается на рабочем настроении смена работ. Но и это еще не все. Одного настроения мало.

А как сделать, чтобы каждый человек в дело свое всю душу вкладывал? Облегчить труд, призвать на помощь машину? Да, пожалуй. Но и этого мало. Не так давно пришлось нам столкнуться в богатом совхозе с таким вот печальным фактом. Двум трактористам поручили на дальнем поле рассеять минеральные удобрения. У них были новые, хорошие тракторы, исправные сеялки, даже автопогрузчик избавил их от тяжести ручного труда при загрузке тележек. Но парни сбросили удобрения вместо поля в реку. А сами два дня проохотились на фазанов. Выходит, машины сами по себе еще ничего не меняют в отношении человека к работе.

Так как же сохранить одухотворенность? Как?

Вот молодой шофер удивил уляхинцев отвагой: первым в деревне не посадил картошку на приусадебном участке. Старики вынесли решение: поступок из рук вон плох.

Как же это так — огород будет пустырем?! А кое-кто из молодых собирается последовать примеру парня на следующий год.

Что же Гинин? А Гинин стариков поддержал, но и шофера похвалил, картошку ему со склада выписал, а стали прощаться, в дверях уже остановил:

— Ну, а теперь, я думаю, тебе можно за сад приниматься. Хочешь, моих саженцев дам? У меня яблоки что надо! Землю забрасывать не стоит.

Или другой пример. У молодой женщины, совхозного специалиста, заболела корова. Пришлось прирезать. Председатель вздохнул даже от облегчения. Мол, и слава богу, хлопот меньше. Молока же детишкам — сколько надо выписывай. И Юля вроде не огорчилась. Но вскоре слух прошел: решила снова корову покупать. Гинин не понял сначала:

— Это к чему же тебе опять такая морока?

А она ему про то, что в клуб уже не тянет, — там молоденькие веселятся, а телевизор тоже надоедать стал, да и больно уж хорошо, когда рядом с домом в стайке шумно дышит Зорька или Буренка.

Подумал председатель и одобрил Юлин поступок, хотя поступок этот лежит совсем в иной плоскости, чем гининская политика индустриализации села.

Но мальчишку, шоферского сына, пристыдил: мальчик умеет доить коров, мать, доярку, подменяет на ферме, когда надо, и не умеет водить отцовскую машину.

Все эти примеры взяты нами на ходу, и список их можно было бы продолжить. Но главная наша мысль вот о чем: Уляхино сложно переживает противоречия коренной ломки. Оно топорщит крылышки, говорит на «о», принимает в свой пейзаж многометровые заводские трубы и ежедневно, ежечасно заставляет от этих труб, от радужных цифр бухгалтерских отчетов переводить пристальный взор на человека, на каждого крестьянина. Как жить ему дальше? Куда идти завтра?

### 3. ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕКА!

Крестьянин зарождается в человеке сызмальства... Потому-то желание найти наиболее полные ответы на волнующие вопросы и привело нас в Уляхинскую школу.

Мы предложили выпускникам три вопроса: какая работа в колхозе нравится тебе? Нравится ли тебе твоя деревня и школа? Нравится ли тебе работа твоих родителей?

Второй вопрос был задан напрасно — к деревне и школе (маленькое старое здание, каменную только готовятся заложить) отношение восторженное. Но во г что пишут ребята о другом:

«Мне понравилось на ферме делать все за маму. Встаешь очень рано, когда деревня спит. Полпятого утра. Я мою картофель, чищу место. Потом мы загоняем коров, разносим комбикорм; коровы вкусно хрустят, когда даешь им зеленку».

Один мальчик станет механиком еще и потому, что его «всегда волнует запах соляра».

Сын учителей, Евгений Гладилкин, пишет: «Главное не машина, а человек. Вот мне подчиняется трактор, летом пробовал я. Когда машина пошла по моему приказанию, у меня чуть сердце не оборвалось, и я понял, что я стану механизатором.

А больше всего на свете мне нравится моя деревня Сивцево, особенно летом. Летом, когда кончишь совсем работу на поле (у нас бригада была), то чувствуешь себя взрослым.

А вечером, зарывшись в охапку свежескошенной сухой травы, засыпаешь как убитый. Утром горластый петух кричит над самым ухом, и я боюсь проспать и встаю раньше времени.

В школе я провел большую часть жизни, в ней особый крепкий воздух, когда в понгдельник натоплены печи, сохнет деревянный некрашенный пол, а .за окном идет дождик или мокрый снег».

Удержаться трудно, еще процитируем: «Летом мы ходили на поля, нас никто не зазывал и не заставлял, но нам было интересно делать настоящую работу. Мы пели на полях песни, а взрослые над нами смеялись».

Однажды совершенно случайно мы обнаружили во владимирской библиотеке книжку Катона «О земледелии». Земледелец Древнего Рима Катон оставил нам поразительное по одухотворенности описание домашнего труда:

«С ранней юности хозяину следует стараться о том, чтобы засадить имение. Над постройками следует долго размышлять; над посадками размышлять не следует, — их следует делать. Когда возраст твой достигнет 36 лет, тогда следует строиться...»

«Зимой, при свете, делай вот что. Теши колья, четырехгранные и круглые, которые накануне ты внес в помещение, если они высохли; делай факелы, вывози навоз. Не трогай строевого леса иначе как в новолуние или в последнюю четверть...»

Два с лишним тысячелетия разделяют наших школьников с Катоном, а то ощущение радости труда все так же неизменно. Чем это объяснить? Мы объясняем это просто: труд не за деньги, а по внутреннему побуждению всегда был возвышеннее и поэтичнее, чем труд обязательный, по нужде. Рубить ли лес в новолуние или петь на поле («а взрослые смеются» — взрослых можно понять) — это и есть та самая власть духа над материальным, это и есть вековечный идеал труда свободного, коммунистического, когда не руки и разум, а душа справляет праздник труда. Умудренные книгочеи скажут нам, что рабовладельческий труд в Древнем Риме не мог быть свободным и Катон не был свободным тружеником. Верно. Но верно и другое: уже во времена Катона (и до него!) человек, освоивший аграрную культуру, приобрел маленькую независимость от природы и в отдельные часы своего бытия чувствовал себя богом. В такие часы писался катоновский трактат «О земледелии».

Вероятно, похожими были и часы, когда наши юные катоны с упоением отдавались труду на колхозных полях и фермах. А взрослые, повторяем, порой смеялись. Среди взрослых, к сожалению, святое отношение к труду — редкость.

Разве вам не приходилось слышать сетования хозяйственников:

— Вот уже и пять рублей выходит на трудодень, а старания ни на грош.

Какие надежды возлагались в деревне на всемогущий этот рубль лет пять — десять назад!

И Гинин (помните?) все свои будущие планы связывал именно с рублем. («Разовьем промыслы, механизуем сельские отрасли, молодежь получит ксалифицированный труд, хорошую оплату. И все будет в порядке»). А теперь невесело улыбается:

— Мне бы теперь тогдашние заботы...

Целый месяц колхозный механик обивал пороги ткацких фабрик, умолял, выпрашивал списанную (хотя бы списанную) машину, так необходимую колхозу для изготовления веревки. Наконец, уломал. Привезли эту самую машину, на радостях заскочил механик в правление, поздоровался со всеми, потом крикнул шоферу: «Вези прямо к цеху, там разгрузят» — и пошел домой. А там, у цеха, случилось «ЧП». Слегка подвыпившие грузчики неаккуратно стаскивали с кузова дорогой этот агрегат, уронили на землю и разбили вдребезги чугунную станину.

Гинин негодовал! Грозился выгнать к чертовой матери грузчиков, чтобы не пьянствовали в рабочее время. Всыпать по первое число механику за то, что не «проследил до конца»!

Но, трезво оценив все, ни к каким «оргвыводам» прибегать не стал. И верно сделал, потому что все гораздо сложнее, чем кажется с первого взгляда. Выговором пьянство не искоренишь. И дотошностью начальников цехов тоже дело не исправишь: за каждым человеком не уследишь. Да и не метод это.

Иной день выдается — вроде и все нормально. Кажется, будто и сознание колхозников неизмеримо выросло по сравнению с прошлыми временами и интерес к колхозу появился. Вон по весне вернулись парни из Коврова. Там, на кирпичном заводе, постоянно работает колхозная бригада из пяти-шести человек месяца по два, попеременно.

И заводу выгодно — рабочих не хватает, и колхозу — за каждого работающего по 10 тысяч штук кирпича сверх фонда отпускают. Старший из них сразу в правление пришел выяснить, весь ли кирпич получил колхоз. А тут какое-то недоразумение вышло: недодали кирпич. Он лишь ночь переспал дома и снова на завод засобирался. Поеду, говорит, выясню, а то так и заволокитят наш сверхфондовый.

Гинин нарадоваться не мог, всем рассказывал, какой Леха сознательный да добросовестный. А летом сам как-то с комиссией проверял качество работ на строительстве коровника. И обнаружили в одной бригаде большую «халтуру» с цементом. Каково же было удивление Гинина, когда он узнал, что его сознательный Леха работает именно в этой бригаде. Вот и пойми-разбери ты их!

Наш очерк, как вы помните, мы начали с описания застолья, на котором молодежь крепко поспорила с председателем. Но суть этого спора до поры до времени оставили в секрете.

Теперь раскроем «секрет». После праздничного гининского тоста и после взволнованной речи Тани Тарасовой, молоденькой завклубом, слово взял Иван Иванович, колхозный инженер. Ивану Ивановичу двадцать пять, но это обстоятельнейший человек.

Так вот встал этот самый Иван Иванович из-за стола и, глядя Гинину в глаза невинным взором, сказал:

— Радуешься, Петрович. Силки расставил. Но знай, если колхоз не перестроится, вся наша жизнь нарушится, комом пойдет. Рано празднуешь...

Закатил молодой инженер речь про то, что совершенствование экономической структуры должно сопровождаться совершенствованием всех остальных сфер. Здесь одно от другого не оторвешь.

И попал в самую точку. Потому что все это и есть сегодняшняя гининская боль, главная его забота. Постоянный поиск: как приковать личный интерес каждого к интересу общественному? Как создать; такую атмосферу в колхозе, чтобы труд сделался радостью?

Все те же: как, как, как?

И уже почти сформулированный ответ: надо, чтобы каждый человек не на словах, не по форме, а по существу почувствовал себя хозяином в колхозе. Значит, надо искать такие формы управления, чтобы участвовал" в нем каждый. Каждый решал судьбу. Каждый ощущал перспективу. Чтобы каждый — не он один, Гинин, — ощущал свою власть.

Но это фабрику можно построить в один год. А такие отношения строятся долгим и упорным трудом. И усилием не одного Гинина. А жизнь так тороплива. Столько других хлопот, текучки, суеты, что мором и вовсе не до этих «высоких» материй.

Не так давно нагрянула в колхоз солидная делегация. Гинин решил угостить ее по всем правилам хлебосольтва: велел заколоть теленка. Отправил посылную. А та возвращается чуть не в слезах. Говорит, телятница Нюра Шишкина обругала ее и дать теленка отказалась. Гинин поручил зоотехнику разобраться, в чем там дело. Но и та пришла ни с чем:

— Не дает, и все. А я что могу поделаться?

Пришлось самому идти в телятник. Не сдержался. Накричал на телятницу. «Кто тут хозяин, ты или я?» И теленка, конечно, забили.

Но за столом с гостями Гинин сидел грустный. Даже расстроенный. Самого себя вспоминал, как он на собрании с трибуны ту же телятницу называл «хозяйкой на ферме, специалистом по откорму».

А и злился. Потом перед нами хорохорился. Мол, какого черта — коллегиальность?! Разве при нынешних бешеных темпах по каждому поводу соберешь народ, чтобы большинством голосов... И сам себя одергивал: «Надо думать. Искать».

Верно. Надо. Сама жизнь заставляет.

Нам пришлось быть свидетелями, как комсомольские «прожектористы» однажды задали председателю задачу, которую и осмыслишь-то не сразу.

В колхозе уже давно большая (100 человек) и крепкая комсомольская организация. Комсорг Зина Ратникова не первый год в членах обкома ходит, в президиумах сидеть приучилась. Но и дело знает. Особенно шумит по Уляхино «Комсомольский прожектор». Усмотрели как-то девушки-«прожектористки» на дальней Сивцевской ферме неполадки. (В самом Уляхино центральная ферма новая. Прекрасное здание с кафельными душевыми, с красным уголком. Тут, на этой ферме, всегда тепло, уютно. И порядок идеальный. А там, на отделении, дела похуже.)

Вот девчата и настрочили грозную докладную в адрес правления: «Срочно исправьте положение и приструните доярок».

Через неделю проверили, а там все по-старому. Снова докладную и уже с припиской: будем ходить до тех пор, пока не добьемся порядка.

На третий раз все было без изменений, терпение девчат лопнуло. Устроили собрание. Позвали председателя и приняли такое решение: восемь девчат из подсобного цеха перейдут работать на ферму. Они сделают эту ферму передовой.

— Но там много ручного труда, — пытался уговаривать Гинин, — вам будет трудно. И потом условия не сравнить с этими.

— Что ж, условия вы нам будете создавать. Механизацию . тоже, надемся, введут, — защищалась за всех Зина.

Гинин потом божился, что он точно знает: из райкома комсомола никто не приезжал, никто девчат не агитировал. Они сами дошли до этого.

— И знаете, почему? — не унимался председатель. — Им попросту стало скучно. В цеху нетрудная работа. Нормированный рабочий день.. Хороший заработок. Но им скучно. Потому что они только исполнители. А там надеются почувствовать себя хозяевами.

Итак, вот соль последнего «конфликта»: дать человеку гарантированный высокий заработок — это полдела. Надо дать ему и возможность полного волеизъявления. Мы не призываем устраивать голосования по каждому пустяку. Но многие вопросы колхозного бытия уже можно и должно решать коллегиально.

«Отрицать право большинства трудящихся на управление производством — значит отрицать не только производственную демократию, но демократию вообще, ибо основные отношения в обществе — производственные отношения. Гражданская свобода личности, как убедительно показал Маркс, начинается с освобождения труда» — в этом мы полностью согласны с экономистом А. Волковым

«Работа ма себя», «Новый мир» № 9. 1970.

Вырисовывается перед нашим колхозом проблема № 1 на завтра: вовлечь всех и каждого в активную общественную жизнь. И Гинин понимает: если не сделать этого, значит, пойти в обратную сторону — встать на путь субъективизма, отречься от экономической реформы, из самой сути которой вытекает раскрепощение инициативы каждого члена общества.

«Обеспечить дальнейшее развертывание колхозной демократии, развитие принципа коллективности руководства делами колхозов» — вот путь, намеченный партией в Программе.

Споры-разговоры — дым до потолка! Так у нас проходят встречи с Гининым. Обычно он пыхтит, дуется. Но потом оттаивает, и тогда нет для нас более задушевного и заинтересованного собеседника. В одну из таких минут Гинин вздохнул и сказал:

— А знаете, ребята, кого мне не хватает? Гуманитариев! Фантастов! Не могу же я разорваться — дать экономическую перспективу и тут же думать о душе, о морали. Поймите меня: хочу, но не успеваю. Поедем ко мне, а? Я построю вам дом, приусадебный участок дам...

Если позовет еще раз, может, согласимся...



Мещера.

Париж рабочих с его Коммуной всегда будут чувствовать как славного предвестника нового общества.

Карл Маркс

В последнее время социал-демократический филистер опять начинает испытывать спасительный страх при словах: диктатура пролетариата. Хотите ли знать, милостивые государи, как эта диктатура выглядит?

Посмотрите на Парижскую Коммуну. Это была диктатура пролетариата.

Фридрих Энгельс

На плечах Коммуны стоим мы все в теперешнем движении.

В. И. Ленин

К 100-летию Парижской коммуны

## ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

18 марта 1871. Париж...

9 — 18 декабря 1905 года Москва... 25 октября 1917. Петроград... Таковы главные даты в истории пролетарской революции. Невозможно в коротких заметках сколько-нибудь полно рассказать об истории Коммуны. Поэтому лишь о штрихах пойдет речь, о тех, что особенно близки нам, наследникам и продолжателям дела Коммуны. Вглядимся в старинные гравюры, рисунки, фотографии. Многие из них печатаются у нас впервые.

Восемнадцатого марта парижские рабочие (и особенно работницы!) отбили свои пушки у солдат французского буржуазного правительства «Национальной измены». Так переименовали современники возглавленное Адольфом еще не Гитлером, но уже Тьером правительство «Национальной Обороны», возникшее на развалинах империи Луи-Бонапарта, потерпевшей постыднейшее поражение во франко-прусской войне 1870 года.

В ночь на 18 марта Тьер перешел в наступление, но, разумеется, не на прусских оккупантов, осадивших тогда Париж и вымогавших миллиардную контрибуцию, а на пролетарскую Национальную Гвардию. В дни Коммуны ей суждено было стать первой в истории армией вооруженного пролетариата — предшественницей Красной Гвардии Октября и Красной Армии нашей гражданской войны.

На снимке слева — одна из пушек рабочих Монмартра, которая осталась в арсенале Коммуны и сражалась до ее последних минут. Фотография столетней давности статична. Но в суровой сдержанности федератов, как называли себя солдаты-коммунары, — динамизм пролетарской революции, готовой — с высот Монмартра! — по выражению Маркса, — «штурмовать небо» — со всеми богами и «святынями» буржуазного мира.

Невелика калибром, нескорострельна и недальнобойна эта пушка Коммуны. Но, как сказал поэт, очевидец и участник октябрьских событий, менее чем через полвека, петроградцам показалось, что город «как будто взорван», когда — «гулка и грозна» — «бабахнула шестидюймовка Авророва». История измеряет калибры по своим законам...

Редчайшая фотография эта — фотография, а не гравюра! — напечатана в только что вышедшем в Париже первом томе «Большой истории Парижской Коммуны», законченной к ее столетию французским историком-коммунистом Жоржем Сориа.

Не менее выразительна и воспроизведенная в том же издании другая фотография тех дней. На ней — едва ли не первая в истории сцена братания. Братания национальных гвардейцев с солда-

тами линейных войск, символически поднявших свои ружья-шаспо прикладами вверх.

Пройдут сорок шесть лет, и в нашем, семнадцатом, павловцы и волынцы уже не только побратаются с красногвардейцами Выборгской стороны или Нарвской заставы. Они направят штыки своих «трехлинеек» образца 1891 года против защитников Зимнего.

Перешли на сторону Коммуны и матросы крейсировавшей по Сене флотилии канонерок. Подобно балтфлотцам Октября, матросы составили ударную силу обороны Коммуны. На фотографии — старшие братья легендарных «братишек» нашей гражданской войны.

Едва ли не первыми в истории военного искусства применили коммунары и своеобразные двухколейные бронепоезда — прототипы героических броневых железнодорожных войск Красной Армии. Рисунок современника, найденный другим французским историком-коммунистом, Морисом Шури, показывает, как обороняли такие бронепоезда пригородные железнодорожные магистрали Парижа.

72 дня, если избрать точкой отсчета победу революции 18 марта, когда политическая власть в Париже перешла к Центральному Комитету Национальной Гвардии — предшественнику Петроградского Военно-Революционного Комитета, и всего лишь 62 — от провозглашения Коммуны — сражалась и трудилась первая в истории пролетарская республика. Первая диктатура победившего пролетариата.

Да, они во всем были первыми!

Первыми сломали они буржуазную государственную машину и заменили ее властью трудящихся. Выборными, а не назначенными, сменяемыми и отзываемыми представителями рабочего класса. При всех ошибках и просчетах коммунаров созданные ими комиссии финансов, продовольствия, просвещения, юстиции и других отраслей государственной деятельности стали прообразами Наркомфина и Наркомпрода, Наркомпроса и Наркомюста Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Впервые в истории культуры Коммуна отделила церковь от государства. Школа стала светской, а церкви — помещениями народных клубов. Обители тунеядцев-монахов — зданиями для профессиональных школ, где дети рабочих, конечно, бесплатно, получали знания и трудовые навыки.

Уже 3 апреля Коммуна возобновила деятельность почтовых учреждений Парижа, закрытых из-за саботажа подкупленных Версалем чиновников, точь-в-точь, как это было в Петрограде после Октября. А главным директором почт Коммуны впервые стал рабочий — 32-летний бронзовщик Альберт Тейс. На службу Коммуне он поставил не только рабочих-письмоносцев, но и... голубей. Для голубиной почты коммунары изготавливали микрофотографии депеш, печатали их на прозрачной пленке, а читали с помощью микроскопов или проекционных фонарей. На этой гравюре, воспроизведенной в одной из книг Мориса Шури, показано, как расшифровывались в заблокированном оккупантами и версальцами Париже сообщения, доставляемые крылатыми «связными» Коммуны.

Пролетарии преобладали в Коммуне численно и господствовали нравственно. Это под их влиянием старый революционер Шарль Делеклюз на первом же заседании Коммуны отверг предложение об избрании почетного председателя. В этом он увидел «монархическое заблуждение», чуждое пролетарскому демократизму коммунаров.

А месяц спустя рабочий-декоратор Габриель Ранвье предложил «во избежание всякой парадности» запретить членам Коммуны расхаживать по Парижу, а тем более гарцевать верхом, опоясанными своими шарфами. Подобное кокетство Ранвье объявил «каким-то карнавальным шествием» и «настоящим маскарадом». Его поддержал токарь Остен.

— Нельзя трепать шарф Коммуны по кафе да конторам! — заявил он.

Мы назвали лишь немногих пролетариев-коммунаров. В Коммуне были так или иначе представлены все \_ профессии трудового Парижа. Рабочие-механики и литейщики. Токари и слесари. Столяры и маляры. Сапожники и портные. Бронзовщики и медники. Кожевники и красильщики. Чеканщики и котельщики. Переплетчики и наборщики. Плечом к плечу с пролетариями тогдашнего более ремесленного, чем индустриального, Парижа шли и представители трудовой интеллигенции. Инженеры и врачи. Педагоги и журналисты.

Коммунары не знали недостатка ни в мужестве, ни в энтузиазме. Одного не хватало им — организованной и дисциплинированной пролетарской партии, знающей с чего начать и что делать. О, если б они меньше спорили и больше делали! Если бы они сразу пошли на Версаль, разогнав его деморализованные событиями 18 марта войска, еще не получившие от Бисмарка и Мольтке полутора тысяч наемных убийц, отпущенных немцами из плена. Если б они вместо архиепископа Дарбуа и других попов, которых Тьер цинично предназначил на амплуа «мучеников», взяли бы Национальный банк Франции, чьи фонды, по замечанию Энгельса, означали больше, чем десять тысяч заложников. Если бы они были менее добродушны (а порой и благодушны!) к злобному, жестокому, коварному врагу. Если бы... Но история слишком редко отвечает всем пожеланиям потомков...

В июне 1895 года Ленин впервые изучил в Париже недоступные ему в царской России документальные источники по истории Парижской коммуны. Вскоре он подчеркнул, что исторические заслуги судятся по тому, что те или иные деятели дали нового, а не по тому, чего не дали (и еще не могли дать) по сравнению с современными требованиями.

Губительны, трагичны, но одновременно поучительны ошибки коммунаров. Несмотря на них, мы все равно по-прежнему стоим «на плечах Коммуны» в теперешнем, коммунистическом и рабочем, студенческом и национально-освободительном движении в странах Запада и Востока. Да, они много, порой слишком много спорили! Но и споры их предшествовали спорам первых послеоктябрьских лет. Ограничимся одним, но зато наглядным примером.

...Коммуна решила снести с лица земли особняк Тьера, попиравшего все законы ведения войны в цивилизованном обществе. В особняке этом хранилась уникальная коллекция бронзы. Вот как она выглядела, судя по гравюре 70-х годов (см. внизу).

12 мая Коммуна дебатировала вопрос о судьбе коллекции. То были опять-таки первые в истории общественной мысли дебаты об отношении пролетариата к художественному наследию прошлого. Обратимся к протоколам Коммуны, которые необыкновенно тщательно вел ее секретарь — рабочий-шапочник Шарль Амуру.

Вверху вы видите Зал Мэрий в Парижской ратуше, где ежедневно, а нередко и дважды в день собиралась на свои заседания Коммуна.

Вслушаемся в речи коммунаров, несколько упростив научное издание протоколов:

КУРБЭ. Коллекция Тьера достойна храниться в музее. Хотите ли вы перевезти ее в Лувр?

ПРОТО. Я поручил квартальному полицейскому комиссару доставить произведения искусства на мебельный склад... Что касается бронзовых вещей, о которых я, впрочем, мало забочусь, полагаю, что они придут в хорошем состоянии.

КУРБЭ. Замечу, что «вещицы», которыми, видимо, пренебрегает гражданин Прото, составляют ценность, быть может, в полтора миллиона франков.

ДЕМЭ. Не забывайте, что эти художественные вещицы представляют историю человечества, а мы, трудящиеся, хотим сохранить духовные ценности прошлого для построения будущего.

ПРОТО. Я тоже друг искусства, но только придерживаюсь мнения, что надо отправить на Монетный двор все вещи с изображением Орлеанов... Мне кажется, любовь к искусству заводит гражданина Курбэ слишком далеко...

КЛЕМАНС. Коллекция Тьера состоит также из библиографических ценностей. Для их сохранения предлагаю избрать комиссию. Я хотел бы войти в нее...

В споре между делегатом юстиции, адвокатом Эженом Прото, с одной стороны, и художником-реалистом Гюставом Курбэ, рабочим-бронзовщиком Ангуаном Демэ и рабочим-переплетчиком Адольфом Клемансом — с другой, определились две взаимоисключающие позиции. То были типично «пролеткультовское» нигилистическое пренебрежение культурным наследием и пролетарская, бережная, хозяйская забота о нем.

Как и люди Октября — его 18-летние комиссары, комбриги, чекисты, — коммунары были завидно молоды. Самый юный из них — руководитель комиссии общественной безопасности, а потом и прокурор Коммуны — 24-летний студент-медик Рауль Риго.

По выражению Огюста Бланки — идейного наставника Риго в революционном деле, — он был рожден, чтобы стать «префектом революционной полиции». И этот юноша (почти на двадцать лет моложе Феликса Дзержинского в те годы, когда он возглавил ВЧК) стал именно таким префектом — грозой шпионов и диверсантов. Дезертиров и казнокрадов. Взятчиков и саботажников...

Риго изучил сотни досье тайных агентов бонапартистской полиции и выловил немало шпионов, выдававших себя за революционеров. Подобно Дзержинскому, он опирался при этом на помощь сотен рядовых коммунаров, карая доносчиков-клеветников.

Это по его инициативе Политический отдел префектуры революционной полиции предупредил парижан, что «анонимные доносы не будут приниматься им во внимание», так как тот, кто прибегает к анонимным доносам, «служит, очевидно, личной мести, а не общественным интересам».

Это его ближайший соратник — журналист Фредерик Курни — писал, что народ, вдохновляемый инстинктом справедливости и нравственности, всегда провозглашал правило: «Смерть ворами!», предлагал предавать суду военного трибунала всех должностных лиц, обвиняемых в растрате общественных средств, хищениях и кражах.

А одним из первых распоряжений Риго — гражданского делегата в бывшей префектуре полиции — было запрещение азартных игр. «Принимая во внимание, что улицы Парижа кишат мошенниками, которые подбивают патриотов на азартные игры и тем подают пагубный пример», Риго заявил, что он считает безнравственным и недопустимым слепой случай, который в одну минуту разрушает то «маленькое благосостояние, которое вносит в семью жалованье национального гвардейца». Поскольку азартные игры ведут «ко всяким порокам и даже преступлениям», Риго предупредил, что всякий «уличенный в игре в кости, рулетку, лото и прочее будет немедленно арестован и отправлен в бывшую префектуру полиции, а деньги, поставленные им на карту, конфискованы в пользу Республики».

Наверно, у кого-нибудь этот юношеский, если можно так выразиться, «РИГОризм» вызовет ироническую улыбку. Но не забудем, что Риго издавал свои «афиши» в осажденном, воюющем, день и ночь сражавшемся городе, превращенном в крепость.

Пролетарская революция по ее целям, характеру и движущим силам непременно завоевывает на свою сторону не только молодежь, но и «прекрасную половину» рода человеческого — женщин. Им-то в борьбе и обороне Коммуны принадлежала роль пола не только традиционно нежного, но и сильного. Сошлемся хотя бы на подлинную Ларису Рейснер 1871 года — парижскую учительницу Луизу Мишель, ученицу Виктора Гюго, поэтессу, а впоследствии и романистку. Современники называли ее «Красной девицей Монмартра».

Это она вместе с тысячами матерей и жен, сестер и дочерей коммунаров первой бросилась на защиту монмартрских пушек. Это она, переодевшись, отправилась из Парижа в Версаль агитировать его солдат и офицеров. Только Риго удалось отговорить ее от замысла стрелять в Тьера.

Луиза Мишель сражалась на самых опасных участках обороны Парижа. Со свечой в руке она.

целую ночь провела у дверей склада со снарядами, заявив, что взорвет его, если растерявшийся офицер сдаст версальцам Кламарский вокзал. В «майскую неделю» она сама сдалась в плен версальцам, чтобы освободить арестованную в качестве заложницы свою мать — бретонскую крестьянку. Это она, наконец, в канун первой русской революции говорила друзьям:

— | Вот увидите: в стране Горького и Кропоткина произойдут грандиозные события. Я уже чувствую, как она поднимается, как она растет, эта революция, которая сметет царя и всех его великих князей, и славянскую бюрократию, и перевернет вверх дном весь этот «Мертвый дом»...

История подтвердила предвидение героини Коммуны. Она предсказывала, что русские солдаты — «и в • Москве, и в Петербурге, и в Кронштадте, и в Севастополе... будут заодно с народом».

Удивительна эта точность проникновения даже в географию грядущей русской революции, безошибочное определение ее главных центров.

Луиза Мишель подружилась в дни Коммуны со своей русской тезкой — Елизаветой Дмитриевой (по отцу, помещику и гусару, — Кушелевой, а по фиктивному мужу — Томановской). В 1871 году Елизавете Дмитриевой не исполнилось и двадцати, но это не помешало ей возглавить «Союз женщин для защиты Парижа и помощи раненым».

Елизавета Дмитриева не только самая молодая, но и самая красивая деятельница Коммуны. Видимо, именно ее изобразили тогдашние неутомимые и вездесущие художники-моменталисты в роли командира батареи митральез.

Секретарь царского посольства в Париже недаром доносил петербургскому начальству: «Я знал, что эта опасная женщина, русская подданная, уже давно бросилась в социалистическое движение, что она интересовалась бесконечно больше действиями Коммуны, чем ранеными своего походного госпиталя... 23 мая Елизавету Дмитриеву видели на баррикадах: она воодушевляла федератов к сопротивлению, раздавала им амуницию и сама стреляла, стоя во главе мегер...»

Елизавета Дмитриева 17-ти лет вступила в Русскую секцию Первого Интернационала, а в 19 встретилась в Лондоне с Марксом и подружилась с его дочерьми. В Париж она поехала по поручению Маркса, став корреспондентом Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих.

Вместе с Елизаветой Дмитриевой на баррикадах Коммуны сражались и другие русские женщины — сестра Софьи Ковалевской Анна Жаклар и — в мужском костюме — еще более юная Анна Пустовойтова. Она водрузила на бруствер своей баррикады красное знамя с девизом «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРОЛЕТАРСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ПАРИЖСКАЯ КОММУНА!».

Сохранилось множество документов о героизме женщин Коммуны, таких скромных в своих мундирах маркитанток или санитарок. Вот приказ полковника Жюля Монтелля, изданный 14 мая 1871 года: «...Героические женщины, проникнутые сознанием святости нашего дела, потребовали оружия, чтобы защитить Коммуну... Командующий 12-м легионом, счастливый и гордый тем, что может отметить подобную преданность, принял следующее решение: «...Все дезертиры будут обезоруживаться публично, перед фронтом своего батальона, руками гражданок-волонтерок... Эти люди, недостойные того, чтобы служить Республике, будут отведены в тюрьму гражданами, которые их обезоружат».

Коммуна не успела дать женщинам избирательные права, ввести лучших из них в свой состав, но она делала все возможное, чтобы помочь им вести семью и воспитывать детей. 10 апреля Коммуна приняла декрет о пенсиях семьям убитых национальных гвардейцев. 21-го — постановила реквизировать свободные квартиры для переселения жителей районов, которые бомбардировали версальцы. 6 мая — предписала безвозмездно выдать из ломбарда заложенные туда вещи стоимостью до 20 франков. 17 мая уравнила при выдаче пособий «незаконных» жен национальных гвардейцев с «законными», разрушив тем самым пресловутый институт буржуазного брака.

Не менее значительно социальное законодательство Коммуны. 16 апреля она передала брошенные хозяевами мастерские кооперативным товариществам рабочих, впервые в истории обобществив таким образом средства производства... 27-го Исполнительная комиссия Коммуны отменила все штрафы и вычеты из заработной платы и предписала предпринимателям вернуть их в двухнедельный срок. Коммуна была пролетарской республикой, действовавшей в интересах пролетариата, силами пролетариата и его методами. Когда вчитываешься в документы Коммуны, вглядываешься в лица ее людей, вспоминаешь строки поэта, который еще три десятилетия назад сказал о тех днях:

Баррикада. Бульжник. Жара.  
Порох, Пыль, По началу такому  
Сразу вся узнается игра,  
Все — как в дымке.  
И все так знакомо...

В самом начале тридцатых годов написал это поэт-историк Павел Антокольский. Да, все в исторической дали Коммуны, «как в дымке» пронесшихся над миром десяти десятилетий. И одновременно «все так знакомо», будто коммунары располагались не в Парижской ратуше, а в питерском Смольном...

Конечно, теперь, опираясь на вековой опыт классовой борьбы, мы ЗНАЕМ больше и УМЕЕМ лучше, чем знали и умели в трудном деле пролетарской революции люди Коммуны. Но за ними — исторический приоритет. Провозвестники Октября, они первыми показали, что такое революционное служение социализму.

Борис ЯКОВЛЕВ

ДНЕВНИК КРИТИКА

В. БОБОРЫКИН

В ПУТИ

Заметки о прозе молодых

Когда на очередном съезде партии будут подводиться итоги развития нашей страны за минувшее пятилетие и утверждаться новый пятилетний план, люди разных профессий смогут рассказать о том, что завоевано ими и создано, опираясь на факты и цифры, в которых воплотились результаты их труда.

Труд писателя такими показателями не измеришь. И даже достижения всей советской литературы бессмысленно подвергать каким-либо подсчетам. Можно назвать сотни новых имен, которыми пополнились писательские ряды, тысячи книг, миллионные цифры тиражей — читателю эти цифры вряд ли многое скажут.

Завоевания литературы определяются прежде всего тем, насколько глубоко и ярко отразила она ход современной жизни, характерные для нее социальные сдвиги, политические преобразования, изменения в нравственном облике и в психологии людей.

Все это в полной мере относится и к прозе молодых или по крайней мере к произведениям тех из них, которые успели доказать свою творческую зрелость и завоевать в последние годы популярность у широкого круга читателей.

\*

Те разительные перемены во всех сферах человеческого бытия, которые несет с собою нынешний век, приводят к любопытному феномену в литературной жизни: смена писательских поколений, отмеченных каждое своими чертами и особенностями, начинает все заметнее обгонять смену поколений в общепринятом смысле этих слов.

Давно ли «молодой порослью» были Чингиз Айтматов, Ю. Бондарев, Гр. Бакланов? Но вот уже их вытеснила из молодых другая «поросль» — В. Аксенов, В. Семин, В. Шукшин, Н. Думбадзе, Вас. Белов, В. Быков, А. Битов. Прошло немного времени, как уже новое поколение молодых заявил о себе.

Да не зеленые юнцы, едва начинающие пробовать перо, а сложившиеся прозаики, которых читатель полюбил «с первого взгляда». Попробуйте достать в книжных магазинах книги Михася Стрельцова, Гранта Матевосяна, Анара, Акрама Айлисли, Мара Байджиева, Валентина Распутина...

Разумеется, ни одно из этих поколений не отгорожено от других какими-нибудь четкими границами. Творчество их достаточно тесно взаимосвязано. Но у каждого есть свои «особые приметы», которые отнюдь не случайно сложились и, очевидно, вполне могут быть названы приметами времени.

Пожалуй, в самую первую очередь обращает внимание, что во всякой новой волне талантов все более солидный удельный вес принадлежит писателям из братских республик. Имена армянина Матевосяна, белоруса Стрельцова, азербайджанца Айлисли и других названы здесь вовсе не ради равного национального представительства. Все это, говоря языком спортивных комментаторов, «мастера всесоюзной категории» и, на мой взгляд, одни из наиболее интересных авторов, чьи дебюты на общесоюзной литературной арене состоялись в течение минувшего пятилетия» При этом каждый из них интересен по-своему. Все они, включая и тех, что говорят и пишут на одном языке, решительно не похожи друг на друга. У каждого своя видение и свое понимание мира, свои привязанности в этом мире, своя манера письма. Но, будучи людьми одного поколения, кое-каких общих черт они все же не лишены. И, наверно, с этих общих черт стоит начинать разговор о них.

Примечательно прежде всего то, что всем этим молодым свойственны не только определенная самобытность и свежесть художественного дара, но и глубина познаний и высокое общее развитие. Каждое явление жизни в равной мере будит в них и чувство и мысль. Они чаще всего предпочитают исследование тех неброских черт действительности, которые составляют этическую и психологическую ее основу.

Содержанием их рассказов и повестей служат, как правило, обыденные человеческие отношения, нравственные конфликты, поиски и размышления философского характера.

Разумеется, внимание этих авторов к душевному миру человека избавляет их и от чрезмерного увлечения национальной экзотикой, которая, быть может, и будит любопытство читателя, но обычно несколько отдаляет от него и героев произведения и все то, чем они живут.

Все эти черты нынешних молодых сравнительно мало отличают их от писателей предшествовавшего поколения, допустим, от Василия Белова или Нодара Думбадзе. Но есть у них и свои, никакому иному поколению не свойственные (по крайней мере в такой, как им, степени) приметы.

\*

В новелле киргизского прозаика и драматурга Мара Байджиева «Улыбка» молодая женщина, не выдержав однообразия и бесперспективности сельской жизни, бросает мать, мужа, старшую дочь и с одним маленьким ребенком убегает в город, навстречу жизни неведомой и, может быть, нелегкой, но, как ей кажется, сулящей какие-то неожиданности, открытия, новые ощущения. Потом из города она пишет дочери: «Жизнь — это не весь отрезок времени, заключенный между рождением и смертью! Жизнь — это, может быть, всего один час, минута, когда ты вдруг почувствуешь себя птицей, захочешь бросить все и

улететь очертя голову на край света, когда все, кроме настоящего момента, покажется тебе ничтожной мелочью. Вот этот миг и есть настоящая жизнь, ради него стоит жить. И если у тебя никогда не будет этого момента или ты сама струсилась и упустишь его, не поступив так, как велит тебе сердце, можешь считать, что не жила на свете, потому что вся остальная жизнь человека есть его медленное умирание».

В той же новелле умирающая старуха, которая прожила долгую, трудную жизнь, в последние свои часы совершает нечто, с ее точки зрения, в высшей степени предосудительное: выпивает полпиалы пива, и опять-таки ради того, чтобы хоть в последние свои минуты испытать ощущения, прежде ей неведомые.

Чем вызваны эти мысли о счастье? Откуда такая жадность к новизне ощущений и одновременно боязнь слишком скоро исчерпать свою долю радости?

Очевидно, ко всему этому ведут и нарастающее ускорение ритмов современной жизни и обилие всякой информации, в том числе такой, что позволяет человеку еще смолоду открывать тайны всех возрастов...

Есть и другая сторона современной жизни, которая различными художниками воспринимается по-разному и некоторых как раз и заражает лихорадкой поисков, тревожных, иногда даже драматичных, но нередко и весьма плодотворных.

Усилиями науки и техники резко сокращены все земные расстояния, разведаны и определены ресурсы Земли, установлены ее возможности. И все чаще она представляется нам не таким уж и большим нашим домом и не такой уж и неисчерпаемой кладовой. Оказывается, она, как и всякий дом, нуждается в бережном отношении и в уходе, которому мы, увы, еще слабо учимся... И даже история человечества, вся прежде представлявшаяся столь долгой, уходящей в непросматриваемую мглу тысячелетий история, нередко видится нам теперь, как мгновенная вспышка света, пока еще длящаяся...

Когда ощущения беспредельности мира и стремительности бытия испытывает человек, у которого за плечами немалый груз изведанного и пережитого, они обычно приводят его к относительно спокойным и зрелым философским раздумьям. У молодых те же раздумья переплавляются в эмоции, в настроения, подчас острые, тревожные, побуждающие к немедленному действию. Естественно, что этим же состоянием заражены и многие герои молодых литераторов.

Для Мара Байджиева это, пожалуй, особенно характерно. О том, как нетерпелив он в своих поисках, как торопится все узнать, изведать, ощутить, говорят, в частности, некоторые черты его творческой биографии. Он уже пробовал свои силы в критике, занимался переводами, увлекался сатирой. Он пишет новеллы и повести, пьесы и киносценарии. И не только сюжеты многих из этих произведений, но и стиль их носит следы авторской торопливости. Новеллы его написаны короткими, почти телеграфными фразами, которые часто лишь обозначают наблюдения писателя, в том числе и такие тонкие, какими всякий художник не может не дорожить. Для многих деталей и подробностей он не успевает найти места в образном строе повествования и выносит их за скобки, как ремарки или просто попутные сухие справки. Выглядит это, к примеру, так. «Старуха приподнимала голову и высохшими, как саксаул, руками брала пиалку с горячим чаем (ладони не ощущали ни тепла, ни холода)». «— Эй, большая девочка! — позвал он (так обращаются к девочкам-подросткам)». «С первого дня знакомства и до последних дней обращалась к нему на «вы» (редкий случай у киргизов)».

Такие особенности стиля, которые граничат с неоправданной небрежностью, и такая же небрежность в построении ряда новелл, и скоропалительность некоторых философских рассуждений и выводов, принадлежащих героям Байджиева, но явно разделяемых автором, составляют слабую сторону его творчества. Тем не менее и новеллы его, и повести, и драмы пользуются у читателя неизменным успехом. И секрет успеха в той самой жадности молодого писателя к жизни, к ее дарам и радостям, которая вызывает его метания и поиски. Именно она заставляет его воевать против всякой косности и застоя, против привычек,



канонов, сковывающих человека и мешающих ему раскрыться во всю глубину его возможностей и интересов.

Внутреннее беспокойство, которым охвачены многие герои Байджиева, — это, как правило, довольно дальний — бытовой, нравственный, психологический — отзвук сложных социальных процессов и важнейших событий исторического масштаба, которыми отмечено наше время. А вот герои романа Владимира Маканина «Прямая линия» стоят у самых истоков этих событий. Их ощущения и мысли нередко непосредственно связаны с тем, что происходит или вот-вот может произойти в мире. . . .

В отличие от многих своих сверстников Маканин еще не сложился как мастер художественной прозы. Его роман в чисто художественном отношении — вещь не вполне зрелая. Написан он несколько многословно и суетливо, так, что все герои его кажутся странно суматошными людьми, а действие то словно сгущается, перегруженное наблюдениями и эмоциями автора, то становится худосочным и не прикрывает наготы авторского замысла. Но при всем при том есть в романе весьма примечательные для молодой прозы черты.

Действующие лица «Прямой линии» — сотрудники небольшой научно-исследовательской лаборатории, которая «высчитывает» задачи для испытания новейших видов вооружения. Они связаны с полигоном, где проводятся испытания. Им приходится знакомиться с новинками зарубежной военной техники. Они гораздо острее, чем представители иных профессий, чувствуют мощь тех разрушительных сил, что подвластны современному человеку, и в дни обострения международных конфликтов едва ли не физически ощущают дыхание грозящей человечеству катастрофы.

Как же все это сказывается на образе их жизни, на их облике? Внешне никак не сказывается. Они так же, как и все остальные люди, не чужды суетных забот. И случается, ссорятся друг с другом, и совершают добрые и недобрые поступки. Да и вся лаборатория, если иметь в виду ее рабочую атмосферу или будничные взаимоотношения сотрудников, мало отличается от любого иного, допустим, какого-нибудь хозяйственного учреждения.

Автору, по-видимому, и в голову не приходит как-то выделять этих людей, подчеркивать необычайность и особую ответственность их работы, столь тесно связанной с новейшими завоеваниями науки. Для него эта работа — обыденное явление современной жизни.

Однако участие, пусть в качестве рядовых исполнителей, в деле государственной важности делает героев романа людьми, глубоко чувствующими и ход мировых событий, и связь времен, и роль каждого отдельного человека в судьбах многих своих собратьев. Это относится и к самым молодым из них, таким, как Володя Белов — главный герой романа. Даже у него, двадцатитрехлетнего, ноет сердце «при мысли о голоде, войне». И, увлеченно занимаясь задачами, которые поручены лаборатории, он серьезно задумывается о том, как избавить человечество от войн. Вместе со своим приятелем Костей он даже разрабатывает «собственный план разоружения». Конечно, наивный план, «детский», как определяет его сам Володя. «Но тут ничего не поделаешь, — замечает он, — такие уж мы были, так вот верили и так хотели», потому что «родились в такое время, когда мир переживает свое «быть или не быть»».

Герои Маканина живут не менее беспокойно, чем герои Байджиева. Правда, тревоги их и волнения чаще всего связаны с особенностями работы, которой они заняты. Но, в сущности говоря, это та же, только уже непосредственная реакция на бурное движение событий нашего времени.

Собственно, все молодые писатели, пишущие на городские темы, так или иначе захвачены лихорадкой этого движения.

У молодых «деревенщиков», которые, по-видимому, столь же остро чувствуют и дыхание и ритмы современной жизни, она вызывает иные состояния.

«Стоит ночь, и я стою под высокой ночью на весенней земле.

Текут реки в моря, и растут в небо деревья. Текут, как реки, дороги по земле, и на синих лучах детства вырастают надежды. И вырастает радость, и Млечный Путь уплывает в вечность, и летят, летят своей млечной дорогой над темной весенней землей журавли». Это из рассказа «Триптих» Михася Стрельцова. Чтобы написать такие раскованные и как-то освежающие душу строки, от которых рождается радостное и щемящее чувство свободы и ощущение удивительного полета над землей, над собственными буднями, над быстротекущим земным временем, надо не только обладать богатой фантазией, но и испытывать какое-то совершенно особое нравственное и духовное состояние.

Нет ли, однако, в этом состоянии опасности слишком уж высоко воспарить над тем, что составляет обыденную жизнь со всеми ее непростыми вопросами, на которые кому как не писателю и отвечать?

М. Стрельцов порою и сам словно опасается этого. Маленькая его повесть «Один лапоть, один чунь» начинается стихотворением:

Сон.  
Сон.  
Сон.  
Ночью пустынной и темной  
Иду по земле.  
Высокий и легкий,  
Покачиваюсь от печали.  
Голову склоняя под небом,  
Я плачу.  
Звезды — слезы мои.  
Спят города и села.  
Я над ними ступаю.  
Высокий, согбенный и легкий,  
Покачиваюсь от печали.  
Ищу деревеньку серую,  
Деревеньку свою.  
Боюсь:  
Высокий и легкий,  
Не присяду там на пороге,  
Как самолет реактивный не сядет  
На грунтовом аэродроме...  
Я плачу,  
Звезды — слезы мои.

Хотя автор и «предупреждает» читателя: «Сон. Сон. Сон», — нетрудно понять, что никаким не сном, а тем же духовным состоянием рождены эти стихи. И вот какие строчки обращают особое внимание: «Ищу деревеньку серую, деревеньку свою» и «Боюсь... не присяду там на пороге, как самолет реактивный не сядет на грунтовом аэродроме».

Здесь нет, разумеется, ни высокомерия, ни снобизма человека, слишком высоко вознесенного жизнью. Тут нечто совсем иное. И, пожалуй, это «нечто» идет как раз от ощущения необъятности открывшихся взору просторов бытия, стремительного движения жизни.

Человеку, которому открылись эти просторы и который не подавлен ими, а захвачен настолько, что ему порой и впрямь чудится, будто он идет по земле «высокий и легкий... голову склоняя под небом», действительно, непросто найти во Вселенной свою деревеньку.

Какая там, в самом деле, деревенька, когда фантазия, быть может, уже рисует конфликты и драмы общечеловеческого масштаба, когда взгляд, обращенный во вчерашний день, не задерживаясь в нем, проваливается в глубины истории, когда мысль о самом будничном «завтра» тут же разрастается до мысли о будущем всей планеты...

Но фантазия фантазией, а есть еще и обыкновенный каждодневный быт, есть вокруг вещи и явления, которые радуют или раздражают, вызывают и боль, и восхищение, и горечь, и торжество. И лишь тот может стать истинным художником, чье сердце всегда остается открытым для всех этих чувств.

М. Стрельцов, безусловно, настоящий художник. Все, чем живут окружающие его люди, что тревожит их, радует, угнетает, так или иначе отзывается в его сердце. Но он, «высокий и легкий», не пускается в странствия по лабиринтам каких-нибудь запутанных человеческих отношений, не бродит в потемках чьих-то жаждущих утешения или отмщения душ, а поднимает в распахнувшуюся перед ним бесконечность свои и людские радости и обиды, которые он когда-либо почувствовал.

Даже в самой маленькой деревеньке для него нет серых людей, счастье или несчастье которых казалось бы ему чем-то незначительным на фоне вселенских масштабов и мировых проблем. Горе он может сравнивать только с горем, радость — только с радостью. В рассказе М. Стрельцова «Четвертый год войны» «бабка — усохшая, с почерствшим от старости и работы лицом отхлестала маленького внука за то, что общипал, не дождавшись поры, горбушку вязкого, испеченного из бульбы и ячменных отрубей хлеба». А мать малыша, которая видела эту сцену, не вступилась за сына. И так велико его горе, так нестерпимо горька обида, что сердце сжимается от жалости к нему, и вспыхивает недоброе чувство к взрослым его обидчикам.

А потом открывается перед тобой куда более тяжкая беда, что свалилась на плечи этих самых взрослых, свекрови да невестки. Погиб на фронте их сын и муж. А вместе с ним убиты все их надежды. И обе они не знают, как дальше жить...

Горе мальчика не кажется после этого маленьким детским горем. Но к взрослому горю словно поднимаешься от него на целую ступень.

Тот же принцип соизмерения человеческих состояний, эмоций, качеств ума и души сохраняется во всех рассказах и повестях М. Стрельцова. Меняются лишь приемы, которыми пользуется писатель для их раскрытия. Но всегда он рассматривает их с таким вниманием, такими распахнутыми глазами, что и в самых, казалось бы, незначительных из этих состояний вдруг обнаруживаешь нечто важное и необходимое для понимания людей. Таково, например, и грустное сожаление юноши, который не может ответить на чувство, разбуженное им в сердце хорошей и славной девушки («Осеннее воспоминание»), и ощущение тепла и уюта, что испытывают усталые городские грибники, укрывшиеся от дождя в знакомом, гостеприимном деревенском доме («Перед дорогою»), и смутное беспокойство человека, который приехал в родную деревню отдохнуть от городской сутолоки и неожиданно для себя обнаружил, что и здесь нет ни затишья от жизненных тревог, ни представлявшегося ему покоя («Там, где покой и затишье»).

Душевные черты, нравственные качества, переживания героев Стрельцова никогда не кажутся чем-то сугубо их личным. Они намного укрупнены автором. Для их измерения необходимы самые широкие социальные мерки.

У маленького Иванки в повести «Один лапоть, одип чунь» целая бездна несчастий — от чисто мальчишечьего (рогатка порвалась) до настоящего большого несчастья («убили папку на войне»). Но чувства жалости или сострадания он не вызывает. И прежде всего потому, что все трудное и горькое, чем полна его жизнь, почти бесследно растворяется в непрерывных токах любви и добра, которые излучает Иванкин дед — Михалка.

Каждое слово, каждое движение деда Михалки — воплощение человеческой мягкости и добросердечия. Дед и сам не убежден, что это хорошо. «У меня не стало души, — говорит он, обращаясь к богу, — одна лишь жалость осталась. Мне всех жалко, мое сердце сжимает жалость... Скажи мне, какая тобою положена мера добра?»

Не зная этой меры, дед Михалка опасается, как бы не повредить внуку. «Надо ли это, помогу ли я так малому?» Постепенно выясняется, однако, что ни чересчур размягчить, ни обезволить Иванку эта безграничная дедова доброта не может. И когда в финале повести узнаешь, как сложилась дальнейшая жизнь Иванки, убеждаешься, что в душе его отложились именно та мера доброты, которая позволяет ей быть активной и действенной.

Есть среди героев Стрельцова и такие, которые так же, как герои Байджиева, полны какой-то тревоги и мечутся либо в поисках душевного покоя, либо в поисках чего-то необычайного, что вырвало бы их из расхоженной жизненной колеи. Как правило, такие герои появляются в рассказах писателя на городские темы. И сам автор порою вдруг обнаруживает в этих рассказах несвойственную ему усталость и словно опускает крылья своей фантазии, отдаваясь тревогам и раздумьям героев.

\*

У Мара Байджиева и Маканина очень редки пейзажные зарисовки. А вот у Стрельцова без них не обходится ни один рассказ. С их помощью писатель создает в каждой своей вещи определенное настроение и лирическую атмосферу. Сама мягкость его пера, пожалуй, в первую очередь связана с нежной любовью автора к природе.

Повести Акрама Айлисли тоже очень лиричны, хотя это лиризм иного характера. Они написаны как воспоминания героя о своем детстве и юности, которые пали на военные и первые послевоенные годы. Он весь уходит в прошлое и вновь становится то бесштаным аульским мальчуганом, то примерным школьником, то молодым учителем, влюбленным в одну из своих учениц. Но, глядя на жизнь, на природу глазами этого мальчугана, писатель ведет рассказ тоном взрослого, умудренного жизненным опытом человека. И глубокая, чуть грустная раздумчивость его рассказа, сочетаясь с непосредственностью и прозрачностью детских впечатлений, рождает теплый и доверительный стиль повествования, слоено обволакивающий читателя и мягко, но решительно увлекающий.

Две свои повести из четырех Айлисли назвал сказками. «Сказки тети Медины». «Сказка о гранатовом дереве»... В мире тех представлений, которыми живет герой этих произведений — маленький Садык, действительно много от красивой сказки. Хотя где-то в дальних далях идет война, и все меньше мужчин становится в ауле, и все больше черных похоронок приходит с фронта, и голод стучится во все двери. У Садыка нет оснований считать, что жизнь устроена не так, как надо, и что плохого в ней больше, чем хорошего. Ему случается встречаться с разными проявлениями зла, но он твердо верит, что добро непременно его победит и весь мир вокруг останется таким же уютным и красивым, каким рисует его, вспоминая минувшее, тетя Медина и каким воспринимает его сам Садык.

Идут, однако, дни и годы, и все чаще сталкивается Садык со странными, на его взгляд, и непонятными явлениями.

Подруга тети Медины, молодая и красивая Мерджан, кажется Садыку воплощением добросердечия и душевной чистоты. Когда аульчане травят ее, считая беспутной женщиной, он вместе со своим другом Азером отважно бросается на ее защиту. А потом он слышит рассказ Мерджан о том, как она с помощью «болвана из болванов», заведующего райторгом, устраивалась на работу в булочную, и никак не может понять, «если заведующий райторгом обманщик и болван из болванов, зачем же она каждый день посылает ему по четыре кило белого хлеба...». И уж совсем непонятно ему, почему красивая и добрая Мерджан соглашается выйти замуж за базарного мясника, злого, жадного и жестокого Али. Неужели достаточно, что он «по крайней мере мужчина»?

То стыдное, что делает школьный приятель Садыка, Хазер, с детдомовской девочкой Айшей, и то, что Айша за горсть орехов позволяет это, и то, как худая и жалкая тетушка Садаф с гордостью, чтобы все видели, что у нее есть муж, демонстрирует окружающим огромный синяк под глазом, и то, как грозный Земотдел добивается переизбрания председателя колхоза, дяди Эльмурада, который мертвый колхоз сделал живым, но,

оказывается, имел не лицо, а «личину», — все это глубоко потрясает Садыка. Но оттого, что, наблюдая такие явления, он смотрит на жизнь все более трезвыми, «взрослыми» глазами, острее замечает зло и нет-нет да вступает в борьбу с ним, тот мир, в котором он живет, не становится ни мрачнее, ни холоднее. Он год от года усложняется для героя, но остается уютным и добрым миром. И потому, что хороших людей рядом с Садыком всегда больше, чем безнадежно плохих. И потому, что красивые сказки, которые слышал он от тети Медины и доверчиво подхватил сам, в сущности говоря, совсем не сказки, а реальная действительность, только увиденная глазами человека чистого, доброго и твердо убежденного в торжестве советской правды и справедливости.

Надо сказать, этот светлый мир в повестях Айлисли совсем не прост. И дело не только в том, что есть в нем и добро и зло, а в том, что сама диалектика жизни открывается читательскому взору во всей ее кажущейся парадоксальности.

Рисуя быт азербайджанского аула, Айлисли так же, как Мар Байджиев, безусловно, остается верен определенным национальным традициям, хотя, быть может, не столько литературным, сколько чисто житейским. Во всяком случае, и национальный характер его персонажей, и нравы, и обычаи показаны писателем достаточно выразительно. Но это сделано без всякого нажима, и оттого, сопереживая с героями, разделяя их заботы и страсти, не чувствуешь себя среди них чужаком. Все то, чем они живут, зовет к себе, привораживает добрым чувством.

\*

Некоторые молодые писатели уходят в деревенские темы от городской сутолоки, спешки, нервного напряжения. И уходят подальше: не в нынешние, а в минувшие времена. Хорошо зная и чувствуя сельскую жизнь и мастерски ее изображая, они, однако, смотрят на нее несколько отрешенными, городскими глазами.

Но есть и такие, которые всем сердцем, всей душой остаются с деревней. И не с той, какой она была 20 — 30 лет назад, а именно с нынешней. Их манят не патриархальные порядки и обычаи, а сама основа сельского бытия с его относительной неспешностью, оставляющей людям время, чтобы теснее соприкоснуться друг с другом, с природой...

Таковы, в частности, Валентин Распутин и Грант Матевосян.

Почти все, что написано Распутиным, исключая разве лишь самые ранние его рассказы, поражает глубиной авторских наблюдений. Большинство героев Распутина — люди немолодые, успевшие кто всласть, а кто далеко не всласть пожить на свете и каждый на свой лад познавшие мудрость жизни. И, видимо, не случайно, что его внимание привлекают характеры, житейские отношения, внутренний мир именно таких людей. Круг интересов и страстей, которыми живут ровесники молодого писателя, давно перестал быть потолком его исследовательских усилий. Ему интересен весь диапазон душевных состояний человека — от детских и юношеских до тех, что приходят на склоне дней. И молодость пера В. Распутина бросается в глаза разве что тогда, когда замечаешь, как при всей своей, не грех сказать, мудрой рассудительности настойчиво держится он некоторых своих пристрастий, как борются в нем эти пристрастия со стремлением докопаться до истинной меры вещей.

Распутин искренне любит деревню. Она видится ему как источник трудолюбия, бесхитрости, нравственной чистоты.

Тех же, что Распутин, убеждений придерживается и Грант Матевосян — не менее талантливый художник.

Правда, Матевосяна волнует не столько нравственный ущерб, который наносится людям всякими «накладными расходами» цивилизации (хотя и это немало его тревожит), сколько урон тем здоровым физическим и духовным началам, что заложены в человеке самой природой. И по своему творческому почерку Матевосян и Распутин резко отличаются друг от друга.

Проза Распутина — пытлиное и внимательное вглядывание автора в героев, во все особенности их бытия, поведения. Это неторопливый, глубоко психологический стиль повествования.

Проза Матевосяна — живой, динамичный рассказ, где есть нечто от очерка и нечто от фельетона, где грубоватым и бесхитростным деревенским юмором пересыпаны диалоги героев и кипит, волнуется язвительная и мягкая, суровая и добродушная авторская речь.

Распутин обычно проводит своих героев через какое-нибудь вполне будничное житейское испытание и осторожно присматривается к тому, как они поведут себя, какие качества своей души обнаружат.

Героя повести «Деньги для Марии», немолодого колхозника Кузьму, неожиданная беда stalkивает попеременно со многими и разными людьми. К одним он приходит за помощью — просить денег в займы, другие оказываются его случайными вагонными попутчиками, которые не знают, что у него стряслось. Но ответы этой чужой беды падают и на тех и на других и высвечивают весьма примечательные их черты.

Колхозный сторож дед Гордей, человек безденежный, долго надоедает Кузьме своими от чистого сердца идущими предложениями и советами, а потом приносит пятнадцать рублей — все, что удалось выклянчить у сына, — и глубоко огорчается, когда Кузьма пытается от них отказаться.

Директор школы выделяет Кузьме из своих денежных припасов более крупную сумму. Но сколько при этом произносится им напыщенных речей!

Собственно, от начала до конца повести идет сопоставление этих разных героев.

То же самое происходит в повести Распутина «Последний срок». Почти все ее герои — одна семья: восьмидесятилетняя Анна — деревенская женщина, доживающая последние дни и часы, да дети ее, которые съехались кто из города, кто из ближней деревни, чтобы проститься с умирающей матерью. В прощании этом нет, однако, острого, рвущего сердце драматизма. Анна уже очень стара, с неизбежностью предстоящей им утраты и сыновья и дочери ее примирились. И если чувства и мысли их напряжены, то больше всего оттого, что каждого из них словно коснулось дыхание стоящей у изголовья матери смерти.

Но главное — это жизнь и смерть Анны, деревенской женщины-матери, которая сама была неотделимой частицей природы. Долгий век Анна трудилась в полях и лесах, не истребляя, а умножая их богатства. И рожала и растила детей, которым суждено было стать землеробами, строителями, воинами. И, как ни трудна была ее жизнь, никогда она не жаловалась на судьбу, никому не завидовала, ни в чем не пыталась словчить.

Даже тогда, когда сыновья ее не возвращались с войны, она только себя одну винила в этом: «...ей все время казалось, что она потеряла их сама, по своему недосмотру».

Действительно, в деревне еще можно встретить таких многотерпеливых, нетребовательных к жизни людей, умеющих черпать радость в постоянном труде и в исполнении самых естественных человеческих обязанностей.

\*

А вот другое, армянское село. Оно связано с миром тысячью нитей — телефоном, электрическими проводами, почтой, госпоставками шерсти, молока, мяса, сельпо № 15, программой учебного года. Библиотечный техникум посылает селу выпускников, смекающих по части транспарантов и режиссуры, районная контора кинопроката посылает сюда фильмы, районная газета — специальных корреспондентов, а село, в свой черед, посылает в другие села и в город полноруких невест, вплоть до самых родов не выпускающих из рук грабли и вилы, дает вузам способную молодежь. И люди, ставшие посредниками в общении села с остальным миром, отзываясь о жителях села Антарамеч, неизменно повторяют с доброжелательной улыбкой — «скромные труженики».

Скромные труженики в повести Матевосяна «Мы и наши горы» живут нехитрой, но по-своему насыщенной жизнью. У них давняя — за тысячу лет — дружба с землей. Они

знают, как превратить участок, «доставшийся им на планете Земля, в цветущий сад», как разводить пчел и растить овец. Они грубовато сердечны друг к другу и жизнерадостны и сами умеют улаживать свои конфликты, находить общий язык с соседями, выполнять свои обязанности перед «остальным миром».

Когда этот «остальной мир» вносит в быт села какие-либо новинки, антарамечцы умеют по достоинству их оценить. И электричество, и телефон, и радио — все это приходится им по душе. Матевосян выступает только против казенщины в устоявшемся, гармоничном быте села. И еще резче подчеркивает он преимущества тех, кто радость жизни находит в труде, перед всякого рода сытыми бездельниками.

\*

Нельзя не признать, что каждый из писателей, которым посвящены эти заметки, по-своему интересен и каждый вносит в нашу литературу нечто новое, свежее. И, конечно, радостно, что завоевания многонациональной советской литературы становятся все более значительными, что все ярче сверкают национальные грани ее монолита.

И все же некоторые особенности прозы молодых вызывают беспокойство. Не слишком ли узка сфера ее исследовательских усилий? Не противопоставляют ли некоторые из них деревенский уклад жизни городскому как менее «нравственному»? Не упускают ли иногда молодые писатели из виду, что для читателя важны не только психологические изыскания, но и широкий обзор жизни с ее социальными сдвигами, с теми переменами, которые из года в год делают ее все насыщенней и богаче?

Растут города, повышается благосостояние людей, иными становятся условия их труда и быта. И все это рождает новые, часто неожиданные проблемы, решение которых порою невозможно без широкого исторического подхода.

Хочется думать, что с настоящей творческой зрелостью к нынешним молодым придет и способность к такому масштабному измерению времени.

стихи

Геннадий Калашников

\*

Уже в который раз мне достается мир,  
держу его в руках, глазах и сердце,  
держу его с деревьями, морями,  
с людьми и птицами, огромный этот мир.

В который раз ты плачешь и смеешься,  
и не могу никак постигнуть я,  
как мог такой огромный мир вместиться  
в твой тихий смех, в одну твою слезу.

\*

Я в лес уйду на быстрых лыжах,  
где солнце, ветер, белизна,  
где я воочию увижу,  
как цепко держится зима,  
где небо только полыньями,  
где даль округла и тесна,

где, словно замершее пламя,  
среди берез стоит сосна.  
Я спрячусь в синий сумрак просек,  
в овраг темнеющий скользну,  
как будто брови к переносью,  
деревья сдвинулись к нему.  
Я пробегу без дум о счастье,  
что подвернулось невзначай  
мне в лыжном шорохе свистящем  
и в теплом солнце у плеча.

\*

Сгорела осень. В час заката  
вода холодная чиста...  
Но знаю я, что без возврата  
не исчезает красота.

Когда в кромешный час ночной  
по стенам ветер шарит слепо,  
она вернется тишиной  
и белой музыкой из пепла.

\*

Вот звук зимы — скребок о тротуар,  
каблук об лед, и снег сползает с крыши...  
О музыка зимы, как раньше не услышал  
твоих литавр торжественный удар!  
Звучит зима, а где-то дирижер,  
среди сугробов, в бешенстве и муке  
вздымая вверх заснеженные руки,  
ведет свои созвучья на простор...  
Но тишина... какая тишина!  
Я засыпаю. Ставит ночь условия.  
И, как будильник, близкая весна  
стоит, почти касаясь изголовья.

ИЗ БЛОКНОТА ХУДОЖНИКА

ЮРИЙ ЦИШЕВСКИЙ

«ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» И ДРУГИЕ

«Комета» быстро пересекла громадную синюю чашу Цемесской бухты. Промелькнули стоящие на рейде танкеры и армады остроконечных порталльных кранов, осталась позади дымовая завеса, идущая со стороны цементных заводов. Глазу открывался белый город, сахарными кубиками рассыпанный по склонам лысых гор.

Схожу на пассажирский причал — и сразу к газетному киоску. Хочется узнать, чем «дышит» город. На третьей странице «Новороссийского рабочего» небольшая информационная подборка «Под флагом Родины». Читаю: «К берегам Японии из Черного моря следуют танкеры «Ленкорань» и «Лисичанск». В порт Объединенной Арабской



Республики — Александрию прибыл теплоход «Люботин». В порты Кубы держат курс танкеры «Лозовая», «Маршал Бирюзов» и «Людиново». В Бомбей доставит советские нефтепродукты теплоход «Николай Подвойский»...». Мелькают названия различных судов, портов земного шара.

Эти скупые газетные сообщения, как и более полные в газете «Черноморец», дают представление о том, что Новороссийск — город моряков. О том, что большая часть жителей города связана с флотом. Жены и матери ждут этой информации и узнают из нее, на каких меридианах находится сегодня судно, несущее на своем борту близкого для них человека.

Вечером вместе с Владимиром Федоровичем Скубиным, первым секретарем парткома морского транспорта, еду на заседание бюро комитета комсомола. Большинство членов комитета имеют высшее образование. Секретарь Евгений Лорд-кипанидзе окончил Одесский институт морского флота.

Его заместитель Виталий Донской имеет диплом Одесского высшего мореходного училища. Многие служили на судах и судоремонтных заводах, знают морское дело и комсомольскую работу на флоте. Они с увлечением руководят комсомольскими организациями на нефтеналивных судах, разбросанных по всему свету, большим коллективом комсомольцев порта и молодежью Новороссийской морской школы. Они ищут и находят новые формы работы с молодыми моряками, чтобы как можно лучше встретить XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза.

— Очень хорошо, что вы к нам приехали, — говорит Евгений Лордкипанидзе. — Корреспонденты нас не балуют особым вниманием, а тем более из Москвы. Нам очень хочется, чтобы читатели «Юности» знали как можно больше о наших моряках. Немало подвигов совершают молодые парни в наши мирные дни: в жару и холод они доставляют нефтепродукты в самые отдаленные точки земного шара и иногда в очень тяжелых условиях исправляют те или иные повреждения на ходу; они спасают суда, терпящие бедствие; в шторм и непогоду идут к любому судну, чтобы оказать медицинскую помощь. Не забудьте, что сам танкер представляет собой «пороховую бочку»: малейшая искра или перегрев влекут катастрофу, и тогда море пылает вместе с кораблем. Пожары на танкерах — редкость, но когда они случаются, члены экипажа проявляют мужество.

Евгений перебирает исписанные листы, рассказывающие о героических поступках моряков-комсомольцев. Из прочитанного мне запомнилась запись о мужестве экипажа танкера «Василий Порик». Моряки этого экипажа сумели спасти от гибели танкер грузоподъемностью в 18 тысяч тонн. Это произошло на стоянке в амстердамском порту. В 70 метрах от судна во время разгрузки взорвалась цистерна с бензином. Оставшиеся на вахте десять членов экипажа в течение 8 минут вывели танкер из зоны пожара, предотвратили аварию. Среди них были комсомольцы Валерий Романенко и Анатолий Плужников.

Мне, как бывшему фронтовику, работа здешнего комитета комсомола напомнила работу штаба воинской части в боевой обстановке. Трещит телефон, связывающий комитет с диспетчерской пароходства, записываются сведения о швартовке того или иного судна, по радиотелеграфу даются указания и советы какой-нибудь небольшой комсомольской группе, затерявшейся за тысячи миль от нашей Родины. Заслушиваются отчеты от комсorghов с прибывших кораблей. Намечаются планы пропагандистской и организационной работы. Словом, срочных дел по горло и в будни и в выходные — люди здесь не знают перерыва.

Мои новые друзья предложили мне побывать на одном из судов, недавно прибывшем из заграничья. Вместе с Виталием Донским мы отправились на танкер «Джузеппе Верди».

Вахтенный матрос берет наши пропуска и кладет в висячий шкафчик у борта.

Здрав голову, я прикинул, что все палубное сооружение равно примерно семиэтажному дому. Мне, как новичку, одному трудно было бы разобраться в лабиринте

переходов, трапов и лифтов, но у меня надежный проводник. Виталий уверенно указывает мне дорогу к каютам экипажа, чувствуется, что он не раз бывал здесь.

Подходим к каюте радиооператора, комсорга экипажа Юрия Волошина. Это удобная пятнадцатиметровая каюта с примыкающим душевым помещением.

— Большинство советских танкеров резко отличается от иностранных судов не только чистотой и уютом, — сказал Юра. — Наши моряки проводят свободное время не за стойкой бара, они отдают предпочтение книге и спортивным занятиям.

Он протянул мне один из номеров газеты «Советская Кубань», где приводилось высказывание корреспондента английской газеты «Ливерпуль Эхо» о посещении им одного из советских танкеров: «Русский танкер, водоизмещением в 51 тысячу тонн, выглядит внутри как отель, я говорю про отель, имея в виду, что старший командный состав судна имеет отдельные каюты из двух-трех помещений и все остальные моряки живут в отдельных комфортабельных каютах. На танкере есть лазарет с амбулаторией, кают-компания, плавательный бассейн, судовая библиотека содержит 5 тысяч томов, начиная с Горького, Диккенса, Хемингуэя...»

— Расскажите, Юра, о самом трудном в плавании, — - прошу я.

— Трудное — это штормы в открытом океане. Вот и в этом рейсе, как только мы миновали Гибралтар и оставили позади мыс Европа, нас застигла разъяренная стихия. Океан словно выхвалялся своей яростью. Под стопудовыми ударами корпус судна кряхтел, содрогался. Я радиооператор и в этот день слышал немало сигналов бедствия. Есть трудности не менее тяжелые, чем шторм в открытом океане, — продолжал Юра. — Бывало, прибудем на Кубу, привезем нефть, а после разгрузки весь экипаж включается в сложнейшую работу — мойку танков, да так, чтобы и запаха нефти не осталось. А потом заполняем танки сахаром, и сахар сдаем получателям в отличном состоянии... Перевозка танкерами насыпных грузов вместо балластной воды впервые стала применяться нашими моряками в начале шестидесятых годов. Этот метод очень удивил иностранных коммерсантов своей эффективностью и экономичностью. Но «работка» по мойке танков не из легких...

Я попросил Волошина познакомить меня с молодежью экипажа.

— К сожалению, сделать это не просто, — сказал Юра. — Представьте, что творится на судне после возвращения в родной порт. Несусветная суматоха! Большая часть личного состава уходит в длительный отпуск. Люди спешат сдать дела сменному экипажу. Командный и политический состав готовит различные отчеты, знакомится со сменщиками и новичками. А в это время на берегу нас ждут семьи. Голова идет кругом! При этом надо учесть, стоянка у нас короткая, через два-три дня танки наполняются нефтью, судно осядем до грузовой линии, и снова в дальний путь.

Наша беседа прерывается появлением в каюте плотного пожилого моряка.

— Знакомьтесь: первый помощник капитана Петр Фомич Апышков, — представляет Юра и добавляет: — Душа и совесть нашего экипажа.

Петр Фомич начал рассказывать о замечательной молодежи судна:

— Да ведь у нас все молодые, кроме меня. Вот, к примеру. Слыхал я, что художники считают себя молодыми до 36 лет, а у нас капитану только недавно стукнуло 36. А дело-то ой какое ответственное, сами понимаете... Думаю, что Юра вам обо всем рассказал и еще многое расскажет и покажет, а мне, вы уж извините, некогда. Когда захотите поближе присмотреться к жизни моряка, поплавайте с нами месячишков шесть, скажем, в Японию, времени будет много, обо всем потолкуем.

И уже на ходу в дверях Петр Фомич бросил Волошину:

— Не забудь рассказать о комсомольских зачетах, о наших заочниках, обучающихся в институтах и техникумах, о нашей самодеятельности, о сдаче на спортивные разряды, о наших викторинах. Словом, о том, как не теряют время зря наши ребята на дальних переходах.

Я понимал, что Юре некогда. Но он терпелив и обстоятелен. Он предлагает мне прогуляться по танкеру, затянуть во все отсеки, в машинное отделение и познакомиться с теми моряками, которых удастся застать на месте.

На одной из площадок висит большой портрет великого итальянского композитора Джузеппе Верди, чье имя с гордостью носит мощный танкер. В Новороссийском пароходстве семи танкерам присвоены имена великих итальянцев, поясняет Юра. Кроме «Джузеппе Верди», есть еще «Рафаэль», «Леонардо да Винчи», «Джузеппе Гарибальди», «Галилео Галилей», «Джордано Бруно», и одному из танкеров присвоено имя национального героя Италии, русского партизана Федора Полетаева.

Большое впечатление произвело на меня машинное отделение. Оно представляет собой нечто вроде гигантского заводского цеха, оснащенного сложнейшей аппаратурой. Среди колоссальных двигателей, на платформах, расположенных на разных ярусах, работают люди. Здесь мы встретили вахтенного моториста комсомольца Василия Бразицкого, третьего механика Михаила Ефименко, вахтенного кочегара Василия Свечного (конечно, кочегара современного, без лопаты — он стоял у доски сложного пульта управления) и второго механика Дмитрия Позюпича.

Затем мы поднялись наверх и прошли в носовое помещение, где среди якорных цепей моряк\* оборудовали спортивный зал. Здесь в свободное время экипаж занимается двадцатью видами спорта, начиная от штанги и трапеции и кончая метанием гранаты (граната на привязи, чтоб не улетела за борт).

У выхода на трап нас обступила молодежь. Каждый стал наперебой рассказывать о своей работе, о своих спортивных и общественных увлечениях. Так, матрос Виктор Добриков в свободное от вахты время работает киномехаником, библиотекарем и руководит спортивной секцией по плаванию. Виктор Сабля принимает участие в Совете Красного уголка. Матрос Василий Крохин — активный фотолобитель, выпускает фотогазету и одновременно ведает спортзалом. Буфетчица Галя Грачева редактирует стенгазету «Швабра». А все вместе с большой любовью принимают участие в художественной самодеятельности.

Познакомиться с музыкальными и вокальными талантами экипажа «Джузеппе Верди» мне удалось на следующий день, Юра Вопошин повел меня в радиорубку, достал магнитофон и дал возможность прослушать несколько отрывков из выступлений участников художественной самодеятельности. В хоровых и сольных номерах участвуют корабельные механики, мотористы, матросы. Приятным баритоном звучит голос ведущего. Я узнаю голос Волошина — неутомимого выдумщика и зачинателя всех общественных мероприятий на судне.

После прослушивания Юра аккуратно сложил коробки с магнитофонными лентами в чемодан.

— Повезу в бассейновый комитет нашего профсоюза, — пояснил он. — Мы соревнуемся на лучшую судовую самодеятельность, а жюри конкурса присуждает призовые места на основании прослушивания магнитофонных записей, иных путей нет, так как все наши выступления происходили во время плавания.

Через несколько часов «Джузеппе Верди» должен уйти в рейс, мы с Волошиным покидаем судно.

Придя через день к причалу нефтяной гавани, я уже не застал на месте серо-зеленого «Джузеппе Верди». Его место занял мощный танкер «Комсомолец Кубани» с черно-красной окраской. Судно это было недавно построено на Ленинградском Адмиралтейском заводе.

Среди экипажа нового танкера обычная суэта, связанная с прибытием судна в порт приписки. Из открытой двери каюты старшего электромеханика доносятся веселые голоса. Там прощальный обед. Другие члены экипажа бегают взад и вперед по палубам. Вижу, что поговорить с народом будет трудно. Наконец я нашел комсорга судна Виктора Шеметова, он стоял в окружении молодежи. Ребята вспоминали о празднике Нептуна.

— Праздник Нептуна — это уже не новинка, — заметил я.

В разговор вмешался один паренек в телогрейке, он сказал:

— А вы знаете, что у нас есть смеющиеся рыбки? Да, да, самые настоящие смеющиеся рыбки, мы их купили у японцев. У нас все увлекаются аквариумами, и такой интересной коллекции обитателей моря, как у нас, нигде не найдете. Мы даже Краснодарскому историко-краеведческому музею, нашим шефам, подарили гигантскую черепаху и очень редкий экземпляр акулы-молота. Новороссийский музей тоже не забыли, для него приготовили чучело альбатроса. Размах крыльев экспоната — три метра.

Во время разговора я набросал портрет Виктора Шеметова и, попрощавшись с комсомольцами, направился к трапу.

Еще несколько раз я приходил к нефтяному причалу. Однажды со щемящей тоской слушая по судовому радио зычный бас капитана: «Экипажу занять места по швартовому расписанию!», я увидел, как группа женщин посылая прощальные приветы удаляющемуся судну. «До свидания, отважные люди, счастливого вам плавания!»

Последние дни пребывания в Новороссийске я посвятил судоремонтному заводу. Еще при въезде в Цемесскую бухту его плавучие доки заинтересовали меня, художника, своим оригинальным внешним видом.

Перед зданием заводоуправления множество мотоциклов, словно густой пчелиный рой, облепили плотным кольцом монумент рабочему-судоремонтнику. Зарисовкой этой необычной стоянки я как бы начал свое знакомство с заводом.

За воротами расположены механический и трубопроводный цехи. За станками в основном молодежь. Под желтыми предохранительными касками улыбающиеся молодые, задорные лица. Меня знакомят с лучшим токарем Владиславом Чернобаевым, с бригадиром молодежной бригады по монтажу судовых механизмов Женей Сычевым и его товарищами.

Делаю несколько набросков. Но долго задерживаться здесь не хочется. Тянут к себе экзотические громадины доков. Здесь есть где развернуться художнику. Здесь можно не без пользы провести и день, и неделю, и месяц. Но я, к сожалению, не располагаю таким временем. Может, когда-нибудь удастся вернуться к этой теме. Сейчас же приходится довольствоваться беглыми набросками.

Поднимаюсь на верхнюю палубу мощного плавучего дока. Грузоподъемность дока — 27 тысяч тонн. Он выстроен по нашему заказу в Швеции. В доке стоит на ремонте танкер «Риека», названный так по имени одного из крупнейших портовых городов Югославии. Из беседы с рабочими узнаю, что над ремонтом танкера трудятся работники завода вместе с экипажем судна. Они дали друг другу слово провести сложный ремонт меньше чем за два месяца.

Несмотря на яркий, солнечный день, на верхней палубе сильный ветер, слезятся глаза. Молодой паренек Ваня Ишков, с длинными кудрями, выбивающимися из-под желтой каски, в брезентовой робе, объясняет мне, что в данный момент бригада Дмитрия Севрюкова трудится над установкой гребного винта.

Два порталных крана на стальных тросах подводят гигантские лопасти винта к месту его установки, а Ваня Ишков помахивает брезентовой рукавицей: «Майна!», «Вира!».

Спускаюсь вниз. Передо мной кормовая часть судна, как причудливая красная глыба, нависла над днищем дока. Пячусь назад, чтобы охватить взором всю панораму, но ко мне стремительно подбегает рабочий, хватая за рукав: позади вода, и, увлекшись рисунком, я мог принять холодную ванну в Новороссийской бухте.

Работа в плавучих доках поражает своими сказочными масштабами. Здесь другая романтика, совсем непохожая на романтику моряков дальнего плавания, но не менее увлекательная.

Меня приглашают посмотреть работу еще одного, более крупного дока. Он установлен здесь в прошлом году. Грузоподъемность 30 тысяч тонн позволяет «доковать» самые крупные суда парохозяйства. Но время командировки истекло.

Мое знакомство с добрыми и мужественными тружениками моря, с их замечательной работой было недолгим, но оно оставило в моей памяти глубокий след.

## СПОРТ

### ЦСКА ДИНАМО 4:3

Начинается новый футбольный сезон, но до сих пор не утихли страсти вокруг двухдневного единоборства ЦСКА и московского «Динамо» в декабрьском Ташкенте. В завершающем матче прошлого года видится возрождение лучших традиций советской футбольной школы.

Об этом продолжают писать спортивные журналисты, тренеры и, наконец, сами футболисты. У нас же выступают сегодня болельщики — постоянные авторы «Юности» — критик Евгений Сидоров (ЦСКА) и прозаик Владимир Амлинский («Динамо» М).

#### ЕВГЕНИИ СИДОРОВ

##### Момент истины

«Трудно, очень трудно нашим ребятам...»

Николай Озеров.

«А разве ихним ребятам легче?..»

Из письма болельщика.

Когда Владимир Федотов несильно ударил по летящему мячу и мяч, едва коснувшись вратаря, влетел в правый угол динамовских ворот, когда армейцы бросились обнимать своего товарища, а операторы ташкентского телевидения перевели камеру на сосредоточенное, даже сейчас кажущееся спокойным лицо Константина Ивановича Бескова, мне вдруг показалось, что на мгновение наступила тишина. Необычайный драматизм матча словно бы жаждал именно такого финала, который при всей своей неожиданности придал игре своеобразную законченность и красоту. Это был момент истины, увенчавший двести десять минут упорного поединка. Это было торжество отчаянного вдохновения над вдохновенным рационализмом.

В нашем футболе такое встречается крайне редко. Армейцы победили не потому, что были объективно сильнее динамовцев. Более того, сам ход второго матча поставил их в условия почти катастрофические с точки зрения привычного здравого смысла. Динамовцев подвела расчетливость, которая в девятности девяти случаях из ста способна принести успех. Они будто забыли, что риск не только благородное, но иногда и единственно возможное дело. Армейцы использовали свой единственный шанс, напомнив, что футбол — игра, прежде всего игра. Можно сказать, что на какое-то мгновение они вернули нашему футболу утраченные им права.

В этом главный урок ташкентского поединка.

(Всем друзьям армейского футбола, всем, кто девятнадцать лет ждал этого момента, салют моим друзьям!

Люди, будьте спортивны! Время от времени презирайте суету будней и читайте «Трех мушкетеров»!)

Как это было?.. Летом сорок шестого на трамвае по пыльной Масловке. Трамвай набит битком, отец крепко держит мою руку, я задыхаюсь, стиснутый со всех сторон, но уже счастливый и гордый новым чувством. Мужское братство болельщиков обнимает меня. Два гола, забитые в ворота тбилисского «Динамо» моей командой, той, которую я себе выбрал, принесли победу. Теперь и отныне в жизни появился еще один новый возвышенный смысл. Игры не помнил, так был восторжен и невнимателен, я вообще почти ничего не помнил в тот

день, кроме пыльного воскресенья, чаши стадиона, шумной толпы, флагов на башнях, крепкой руки отца и моего стиснутого состояния в стареньком московском трамвае.

(Мой приятель — бывший полузащитник, ныне писатель, утративший себя хавбеком, намеревающийся стать по меньшей мере Бекком, — недавно спросил меня с грустью: «Зачем тебе? Футбол, цирк, толпа — это же опиум!» Он думал, что в отречении есть смысл, что ограничение — благо, что пить вредно, что море солоно, и, наконец, воспитал в себе «писателя» до такой степени, что духовно увял гораздо раньше отпущенного ему срока. Он и сейчас горд независимостью от своего прошлого, выдавая в себе человека, который, поднимаясь на новую ступень, старательно отпиливает предыдущие. Пустота, в которую он при этом погружается, кажется ему единственной средой, достойной художника. Уж лучше пить, чем парить таким образом!)

Хожу на «Динамо» со школьным другом и семилетним сыном, восторженным и невнимательным.

На вторую игру в Ташкент прилетел Яшин. В сером однобортном английском пальто (у К. И. Бескова такое же) он, несомненно, был одним из героев телепередачи. Мы получили редкую возможность следить за поединком с разных точек зрения, в том числе с точки зрения В. Николаева, К. Бескова, Л. Яшина. Сюжет приобрел новую глубину, драматизм усилился, спортивный репортаж приблизился к театру, кинематографу.

...Неутомимый Маслов посреди растерзанной армейской защиты. Третий мяч бьется в сетку ворот ЦСКА. Пшеничников, распростертый на родной ташкентской земле. Алексей Мамыкин, тренер армейцев, слегка нагибаясь, резко бросается к запасному голкиперу и что-то кричит ему. Шмуц разминается. Армейцы начинают с центра. Радостно потирает руки, смеется Яшин.

Это монтаж. Это немой кинематограф. Узбекские операторы сыграли по своим правилам.

...Федотов сбит в штрафной площади. Пенальти?! Надо видеть лицо Валентина Александровича Николаева в эти секунды. Он вскакивает, готов закричать, броситься к судьям, настаивать, требовать! Тофик Бахрамов показывает на одиннадцатиметровую отметку. Николаев мгновенно берет себя в руки. Новая, спрятанная в глазах тревога: «Забьет или не забьет?» Садится.

Это мгновенный психологический портрет.

Два тренера — два характера. Бесков — подчеркнуто спокойный, собранный, элегантный. Николаев — импульсивный, усталый, постаревший. Его команда, в которую вложено столько сил, страсти, воли, проигрывает, может быть, самый главный матч в своей жизни.

Верил ли он в чудо?

Худенький, стройный Юра Истомин, в чем только душа держится, сыграл свою великую партию. Он неудержимо шел вперед, подавал, разыгрывал, успевал возвращаться, снова шел вперед, пока его порыв не был осознан и поддержан армейскими нападающими. Рядом был Шестернев, эти два футболиста, казалось бы, забыв о своем защитном амплуа, вообще обо всем забыв, кроме того, что надо, надо сделать невозможное, ибо это единственное высокое оправдание их жизни в спорте, — эти два футболиста заразили остальных — Федотова, Кузнецова, Поликарпова. Все вспомнили о себе и осознали себя.

И тогда динамовцы дрогнули. Только защищаться, только удерживать счет так долго они не могли.

Все было кончено в двадцать минут. В последние звездные минуты чемпионата.

(С чем сравнить этот момент, как передать чистый, высокий голос трубы? К черту выпренность, нарисуем большое зеленое поле, белую тропинку, уходящую в синее небо, и

желтое солнце в правом углу листа. «А где цветы?» — спросил сын и дорисовал красные тюльпаны, а на тропинку поместил рыжего фокстерьера Степку, погибшего этой осенью.)

В Ленинградский театр драмы имени Пушкина ходят на Николая Симонова. Спектакли, в которых он играет, не всегда совершенны, но одно присутствие на сцене большого актера придает им значительность и неповторимость.

Разве не так в футболе? Разве работа хорошо отлаженного механизма заменит нам поэзию индивидуального спортивного подвига? Разве личность спортсмена, его импровизационный дар, его вдохновение не есть главное слагаемое командной, коллективной игры, гарантия красоты, смысла, победы?

Вихрастый, с носом чуть картошкой —  
ему в деревне бы с гармошкой,  
а он — в футбол, а он — в хоккей.  
Когда с обманым поворотом  
он шел к динамовским воротам,  
аж перекусывал с проглотом  
свою «казбечину» Михей.  
Кто гений дриблинга, кто финта,  
а он вонзался, словно финка,  
насквозь защиту пропоров,  
И он останется счастливо  
разбойным гением прорыва,  
бессмертный Всеволод Бобров.

Как раньше ходили на Боброва, Пайчадзе, Пономарева, так сейчас садились у телеприемников, ожидая встречи с Пеле, Беккенбауэром, Чарльтоном. Ждали не просто результата, а неожиданного жеста, непредумышленного развития игрового эпизода, почти иррационального ждали, потому что подлинная игра всегда тайна, всегда непостижимое, как бы ни были рассчитаны ее правила и ходы.

(Не так ли в жизни?)

Помните у Блока: «Есть игра: осторожно войти...» Быстрый взгляд из-под черных ресниц — «шорох снов и шелест новостей и истин» — это Пастернак. Все тот же чистый, высокий голос трубы...

Есть игры добрые и злые. Люди веками играют и в те и в другие. Игра родила искусство и вдохновила искусственность. Нельзя играть в совесть, доброту, любовь, идею, однако сколько людей еще строго соблюдают правила этих запрещенных, опасных игр!

Искусство и спорт для меня самые высокие создания игрового человеческого гения.

Когда все мы были детьми, эта простая истина была для нас бесспорной, хотя и неосознанной.

Взрослые играют в другие игры, но, прикасаясь к искусству и спорту, вновь становятся немного детьми.

Как и влюбленные.)

Но вернемся к футболу.

Ташкентский финал отдаленно напомнил знаменитый матч ЦДКА — «Динамо» 1948 года и решающие мексиканские битвы с участием Англии, ФРГ и Италии.

Напомнил не качеством самого футбола, а именно непостижимостью сюжета, тем счастливым произволом игры, когда из двух равных один оказывается победителем, а другой побежденным.

Но он напомнил также, что наши лучшие сегодняшние команды принципиально ориентированы на некоторый конформизм игрового мышления. Индивидуальные взлеты Шестернева и Истомина еще больше подчеркнули это обстоятельство.

(Сбился на тон спортивного журналиста, но ничего не могу с собой поделать. Каждый болельщик в душе крупный специалист и графоман.

В футболе, как и в искусстве, все всё понимают. Человека вдруг охватывает сладкое чувство компетентности и безнаказанности.)

«Средний уровень» — драматический знак массовой культуры. Ровное поле, на котором одиноким чучелом торчит слово «Личность».

Последние годы нашего футбола дали, на мой взгляд, лишь двух великих игроков — Льва Яшина и Эдуарда Стрельцова.

Бывший старший тренер сборной как-то высказывался в том духе, что для него важнее не индивидуальное мастерство футболиста, а его способность принести как можно больше пользы команде.

Это не просто оговорка, это принципиальная позиция. Талант «неудобен», он нередко «своенравен» и в жизни и на поле, и тогда режиссер предпочитает мастеру послушного статиста.

Концепция «пользы» пронизывает сегодня наш футбол, который некогда был одним из самых романтических видов спорта. Футбольный практицизм убивает живую душу игры. Излишне говорить, что как раз пользы от этого никакой. Можно по-разному относиться к поэтическому качеству стихов о Боброве (умри, критик!), но нельзя отрицать, что родились они в момент упадка личностного, игрового начала в советском футболе.

Поэтому они ностальгичны.

Ну вот, начал за здоровье, а кончил за упокой!

Товарищи, прошу меня понять. Тот праздник всегда со мной. Но, странное дело, чем дальше он отодвигается, уходит в прошлое, тем тревожнее нарастают иные темы, иные мотивы. Признаюсь в крамольной мысли: когда моя команда штурмовала вершину, я любил ее больше, чем теперь. Холодок чемпионства словно бы остудил мое чувство, сделал его более спокойным и трезвым.

Мне становится немного не по себе, когда в газетах восторженно пишут о «подвиге», «необыкновенной силе воли», «высоком мастерстве» нашего нового чемпиона. В этих определениях только часть правды, а что касается мастерства, то его, мне кажется, как раз и не хватает моей любимой команде. Стабильного мастерства во всех линиях. Технической оснащенности, высокого игрового мышления, яркой индивидуальности игроков, то есть тех качеств, которые и делают коллектив высокочлассным по современным мировым стандартам.

В ЦСКА-70 ровный состав исполнителей, но, кроме Альберта Шестернева, нет игроков выдающихся. Блестящие эпизоды, связанные с именами Юрия Истомина и Владимира Федотова, — только эпизоды, но еще не стиль: хороший защитник способен надолго нейтрализовать одаренного армейского хавбека, а отличный ' нападающий — потушить наступательный порыв нашего крайнего стоппера.

Дух духом, но играть тоже надо уметь... Верю в свою команду, иначе я просто не был бы болельщиком. Верю, что талант Долгова и Копейкина разовьется в полную силу и рядом с Федотовым заиграют своеобразные, остроумные мастера, способные решать задачи любой сложности. Верю, что армейский футбол, возрождения которого так долго ждали многие любители спорта, станет творчеством, а не просто тяжелой, изнурительной работой.

«Трудно, очень трудно нашим ребятам...» Надо, чтоб им было еще и радостно.

(...По белой тропинке, по зеленому полю, на старом трамвае с рыжим фокстерьером.)

ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ



«Мы втянуты в дикую карусель...»

В перерыве между таймами звоню другу: надо же с кем-то поделиться радостью... — Алло... Ну как?! — Да, да, да! — возбужденно говорит он. — Прекрасно! Просто задавили их, разделали, как детей. Вот это денек!

Отчего мы так счастливы? Что произошло в нашей жизни? Отчего так радостно вибрирует голос моего друга?

А вот что. Наша команда выигрывает решающий матч на первенство Союза. Выигрывает дубль. Похоже, что это будет день нашего триумфа, день, который мы ждем вот уже много лет. Впрочем, почему «нашего»? Мы же не игроки этой команды, не участники этого добровольного спортивного общества «Динамо», мы в отличие от некоторых других писателей не знакомы с ее тренером и игроками. И все-таки это наша команда. Потому что она часть нашей биографии и судьбы. А это уже довольно много.

Однако не рано ли мы радуемся? Впереди еще тайм, и все может произойти. Впрочем, радоваться вообще никогда не рано. Да и потом по игре видно: сегодня наши играют, как победители. (Но вспомни: Англия против ФРГ. Но там ведь другое дело, там англичан погубил этот неудачник Бонетти. И вообще так бывает раз в десятилетие. Сегодня это не должно случиться.) Должна случиться победа! И это знаю я, и мой друг, и тысячи других людей, и тренер Бесков, и Яшин, сидящий за воротами и потирающий руки в лайковых перчатках, и мой оппонент, критик Женя Сидоров из клуба ЦСКА. Это знает все прогрессивное человечество.

Первый матч напоминал грозу без дождя. Изматывающий душу сухой треск, напряжение, раскаты, а выхода нет, нет влаги, нет излияния. Сухо. Комментатор часто употреблял слово «самоотверженно». Это я уже знаю: когда играют некрасиво, жестко, потно, коряво, с чудовищным старанием, не реализованным в технике, когда не могут сделать гол и бояться гола, тогда именно и употребляется это самое слово — «самоотверженно». Армейцы играли, пожалуй, даже более самоотверженно, чем динамовцы. Они давили. Как давят орех, изо всех сил, обеими руками, а он и не трещит и не раскалывается. Динамовцы же старательно копировали свою манеру, показывали неяркий оттиск своей прежней игры. Раз за разом мощно, как тяжеловоз, шел вперед Зыков, чтобы, удачно пробежав полполя, потерять мяч в штрафной. Захлебывался в суетливом дриблинге Эштреков. Высаживал душу Еврюжихин. Защищались и атаковали. Действительно старались изо всех сил, но ни разу не скопировали в точности свою лучшую игру, с длинной — от центра — кинжальной, взрезающей защитные слои контратакой. Широкою игрою с мгновенными передачами на фланги. Игру, чем-то напоминающую мне итальянскую сборную на последнем первенстве мира, итальянскую сборную, где вместо Риверы Владимир Козлов, вместо вратаря Альбертози Владимир Пильгуй, а вместо тренера Валькареджи Константин Иванович Бесков.

## НЕКОТОРОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОБ ИГРОКАХ И ТРЕНЕРЕ

**ВРАТАРЬ ПИЛЬГУЙ.** В тот день все несли на себе, кроме привычной игровой нагрузки, мучительную нагрузку опасения и ответственности. У него эта нагрузка была двойной. Он играл в этом сезоне много, и «профессиональные» болельщики его уже знали. Но игра такого риска и масштаба у него была первая...

Сегодня на него смотрела вся страна, и многие с трудом произносили эту фамилию — «Пильгуй». Что это за Пильгуй, когда у «Динамо» был, есть и будет вратарь Лев Яшин? Вот эту фамилию никто не будет переспрашивать.

Он стоял на яшинском месте и в яшинских воротах.

А за воротами (во второй игре) сидел, счастливый (вначале), улыбающийся, кажущийся сегодня более молодым, чем обычно на поле, нарядный, в клетчатом английском пальто, не измазанном бешеной пылью вратарской площадки, Лев Яшин.

Как же стоял в тот день двадцатитрехлетний вратарь Владимир Пильгуй? Он выбирал место почти безошибочно, как и сам Яшин. От этого казалось, что армейцы бьют не в сетку, а в него, он легко и, казалось, без напряжения играл на выходах. Он брал такие трудные для вратаря низовые в угол. Он стоял уверенно. Вот что самое главное для команды в такой игре, когда стоит молодой и не очень опытный вратарь: уверенность. Это не мальчик, не дублер играл. Это вратарь распорядился в штрафной, контролировал своих защитников, покрикивал на них, когда надо, без истерии и раздражения, для порядка. И одну «штуку» он такую вытащил, что сердце мое потекло от благодарности и восторга. Словом, Пильгуй стоял, как истинный вратарь команды, в которой всегда была прекрасная голкиперская традиция, в которой такой мастер, как Вальтер Саная, был вторым, а первый почти всегда был «вратарем республики». Ну что ж, я уверен, что очень скоро Владимир Пильгуй тоже станет одним из вратарей сборной...

В повторном матче он допустил ошибку. Эта ошибка свела на нет весь пот, все удачи, все промахи, все надежды, все старания динамовцев за два тяжелейших дня. Именно он ее совершил. Но это ведь и понятно. Чаще всего такие ошибки совершают именно вратари.

Не знаю, попрекали его или нет. По телевизору этого не слышно. Я только увидел, что он вскочил с земли. Так встают молодые и сильные люди, нелепо, некрасиво поскользнувшись на улице. Они обычно мгновенно встают, как бы отряхивая секундный стыд. И идут как ни в чем не бывало. Но тут не надо было идти. Надо было снова стоять.

А шла уже восемьдесят шестая минута игры.

ВЛАДИМИР КОЗЛОВ. И в искусстве, и в спорте, да и вообще в жизни есть люди, на которых ты поставил. Не деньги, как на ипподроме, не номерок, как в лотерее. Ты поставил на них всерьез, с запасом времени, ты поверил, что именно они, эти люди, проявят себя так, как ты хочешь, так, как ты ждешь. И поэтому у тебя сложилась странная и часто неправильная убежденность, что именно ты один знаешь им цену. У меня в спорте есть несколько таких людей. Я с ними незнаком, я не могу написать, как в одном лирическом репортаже: «Мы шли с футболистом по мостовой. Он остановился и сказал: «Какая сегодня луна...» А может, и вправду сказал. Но не банальностями, высказанными журналисту, не сложными философскими построениями, вложенными в уста футболиста, определяется спортивный характер. Он определяется, наверное, спортивным поведением, темпераментом, стилем. Каково спортивное поведение Козлова?

Это — поведение человека, хорошо владеющего инструментом, умелого, одаренного, мастеровитого, но несколько обделенного азартом, страстью, злостью аврала.

Вот я смотрю на поле и вижу, как он почти механически движется, одновременно и вяловато и старательно, почти всю игру, просверкнув лишь на несколько мгновений, виртуозно обработав мяч, скинув его с головы на ногу, выдав мягкий, выверенный, удобный для партнера пас. Может, и достаточно двух-трех таких мгновений? Но и они случаются не во всякой игре. Ему не везло. В прошлом сезоне он болел, мы долго не видели его в команде, в середине этого сезона он прекрасно начал разыгрываться. Исчезло даже некоторое ощущение физической нестойкости, немобильности, которое он всегда у меня вызывал... Казалось, вот-вот он максимально раскроется и станет тем, кем может, а значит, и должен быть. Шли матчи, и он показывал хорошую игру и шел, казалось, все время к взлету и все время немножко недоходил. Если уж говорить честно, то по-человечески Козлов и близок мне такой несвершенностью, а точнее сказать, незавершенностью. Есть люди, которые дороги ожиданием, которое они в тебе поселили. Все равно ты знаешь, что они талантливее тех, кто сегодня в ударе, что они могут больше, что их не выявленное до конца дарование ценнее и значительнее... Только почему оно так медленно и трудно расцветает и не будет ли расцвет слишком поздним, а потому кратковременным?

Но вернемся к матчу. Козлова выпустили во втором тайме. И я подумал: ну вот, сейчас он даст, сейчас заиграет... Он свеж, он целый тайм, очевидно, томился в ожидании действия. И вот оно — так проявись же! Снова он показался мне чем-то похожим на Василия Карцева. Правда, он плотнее, чем худенький, тонконогий Карцев. Правда, он медленнее и не так резок, играет в ином плане, но что-то общее есть в повадке, в обращении с мячом, в неожиданностях паса, в какой-то физической хрупкости, незащищенности обоих. Карцев всю жизнь преодолевал эту хрупкость и выработался в бойца, неутомимого, волевого, беспощадного к себе и противнику. Его валили с ног наземь, как тоненькую осинку. Он вставал, и шел в атаку, и забивал столько же голов, сколько Бобров, а в одном сезоне, кажется, даже больше. И, чтобы противники не переоценивали его хрупкость, он что есть силы, бесстрашно проталкивался сквозь них. Один раз я с улыбкой читал в «Красном спорте» о грубом Карцеве.

А сегодня я мысленно обращался к Козлову. Я молил его выказать грубость, немножко больше грубости, без нарушения правил; немножко больше твердости, напора, постоянства. Футбольный талант должен быть чуть-чуть грубым. Я ждал, что он проявится сегодня, как никогда, потому что такой матч бывает однажды, может быть, это матч судьбы. Матч, когда вновь схлестнулись с извечным противником, когда, кажется, произошло смещение времен и уже не разберешь, то ли это Кочетков, то ли Шестернев, то ли Козлов, то ли Карцев, то ли Зыков, то ли Леонид Соловьев.

Снова против нас ЦДКА, и неужели же мы проиграем, как двадцать пять лет назад, в финале Кубка: 1 : 2!

И снова идет вперед «Динамо» моего детства, команда в синих рубашках с длинными рукавами, в длинных до колен широких трусах, с белой полосой внизу. И в этой команде в пятерке нападения играет Константин Бесков.

КОНСТАНТИН БЕСКОВ. Мне давно хотелось написать об этом человеке. Еще задолго до того, как он стал модной в нашем спорте фигурой. Но ни в футболе, ни в делах литературных никогда не надо собираться долго. Иначе опоздаешь...

Мой критик Женя Сидоров! Вспомнишь ли ты в одну секунду состав своего ЦДКА? Я своих вспомню даже во сне. Вот слушай, какой музыкой звучат для меня эти имена: Хомич, Радикорский, Семичастный, Станкевич, Леонид Соловьев, Блинков, Трофимов, Карцев, Бесков, Малявкин, С. Соловьев. Один год, после поездки в Англию, за нас играл Евгений Архангельский. У нас всегда были хорошие связи с Ленинградом (тогда Архангельский, сейчас Еврюжихин).

Я любил всех. Но троих особенно: Хомича, Карцева, Бескова.

«Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность».

Как это совпало в действительности? Возвращение в Москву из Сибири, угрюмая краснокирпичная школа, в которой еще месяц назад был госпиталь. Разоренная, обворованная, с обвалившимися потолками (после прямого попадания в соседний дом Латвийского постпредства) квартира. Болезнь в эвакуации от недоедания и смутное воспоминание о младенчески счастливом довоенном мире, воспоминание, почему-то воплотившееся в фигуре Чарли Чаплина, Чарли Чаплина, странно совместившегося с Карандашом, горестно сидящим на жалкой горке картофеля. Об этом уже написано. Это судьба и тема людей моего поколения, зимний, трагический и все-таки счастливый его расцвет. Но как это совпало с футболом?

Ведь это не было «болением» в обычном смысле слова, как сейчас. Повальная страсть, мания, гипноз, даже отряды в школе именовались названиями команд. Были футбольные считалки, дразнилки. Мой приятель Гарик запоминал телефоны не по цифрам, а по результатам матчей. Например, вместо Д-2 он говорил: «Динамо» М — «Динамо» К, «Спартак» — «Зенит», — и т. д. — каждый из нас знал, что последний раз они сыграли 5:2 и 4:1, следовательно, первые цифры телефона Д2-41 и т. д. Было все, кроме футбольных мячей. Поэтому гоняли консервную банку, скомканные тряпки, в лучшем случае маленький теннисный мяч. Это было боление, равное выздоровлению, приобщению к новой, здоровой,

лишенной опасности для тебя и твоего отца жизни. Приобщение к миру, а значит, к футболу. В этом футболе существовали только две великие команды, и за них болели почти все мальчишки моего поколения: «Динамо» и ЦДКА. «Спартак» реально существовал лишь в памяти болельщиков с довоенным стажем, в таблице он занимал десятое место. Некоторые по неизвестным причинам болели за «Торпедо» (возможно, из-за А. Пономарева).

ЦДКА была страшнейшая для нас команда. Динамовцы, казалось, могли все. Армейцы тоже все и иногда чуть больше. Играли эти команды в разный футбол. Может быть, у армейцев злости и удачи было на грамм больше. Но в сорок пятом уехало в Англию «Динамо», и лишней грамм удачи ЦДКА потерял свой вес.

Таинственно звучали имена британских игроков: Вик Вудли, Томми Лаутон, Стенли Мэтьюз. Я эти имена знал еще до динамовской поездки, по спортивной колонке в английской газете на русском языке «Британский союзник». И вот поездка. Первая игра. В шорохах, полузаглушенный и счастливо вибрирующий тенорок Вадима Синявского: Василий Карцев забивает первый гол в ворота «Челси». «Карец!» — стонали мы, прижимаясь к черному бумажному горластому репродуктору, похожему на вестибюль станции метро «Дзержинская». В тот момент не было ни болельщиков ЦДКА, ни болельщиков «Динамо». Просто наши играли против англичан. И за наших играл армеец Бобров. Наши падали и скользили в лондонском тумане, но выстояли и победили «Арсенал». Наш Хомич брал пенальти, и, конечно, судьи немножко подыгрывали своим. А иначе вообще неизвестно, какой счет был бы в пользу «Динамо»... Об этой поездке слагались песни, стихи, пьесы...

С тех пор прошло двадцать пять лет. И были международные встречи посерьезней, чем товарищеские встречи с клубами англичан. Но, пожалуй, никогда даже далекие от спорта люди так не болели ни за одну из своих команд, никогда не ловили они с таким ожиданием и напряжением голос радиокomentатора. Почему?

Да потому, что был сорок пятый год. Потому что еще вчера многие из армейцев и многие из динамовцев носили одинаковую форму — военную. Потому что дистрофические мальчишки Ленинграда, слушали репортаж и ловили имя Архангельского — своего земляка.

В тот год мы еще не были так мудры и терпимы и не догадывались, что футбол — всего лишь игра, в которой, как впоследствии оказалось, и «наши» могут терпеть поражение.

Вскоре вышла книга «19:9» (счет нашей победы). Одна из статей в ней особенно запомнилась. Называлась она «Гол забивают сообща». Автор ее — Константин Бесков.

В ту пору ему было двадцать пять лет.

Он играл долго. Он «пережил» на поле и Трофимова, и Карцева, и Хомича, и обоих Соловьевых. Дарование его, выявившееся уже в первый послевоенный сезон, крепло, обретало новые черты. Он отлично играл без мяча, хорошо видел поле, любил широкую комбинационную игру и сам умел забивать голы. Помню один из матчей пятидесятых годов, когда он буквально сделал игру с тбилисцами, забив два замечательных мяча. И все-таки «гол забивают сообща». Это не просто удачная фраза. И он был не просто выдающимся игроком с прекрасными данными и возможностями. Это был игрок, который мог выявить не только свои данные, но и данные своих соратников и партнеров, который понимал, как именно надо играть с каждым из них. Который не только участвовал в игре, но прежде всего организовывал ее.

Если бы в те годы меня спросили, кем станет Бобров или, скажем, Карцев, я бы не знал, что ответить... Может, тем, а может, этим (судьба Боброва всем известна, а Карцев ушел из футбола, живет в Рязани, работает инженером на заводе и смотрит футбол по телевизору). В отношении же Бескова у меня не было сомнений. Ком он будет? Конечно, тренером. У Бескова-игрока уже как бы выявлялось тренерское начало. И когда я узнал, что он кончает Высшую тренерскую школу, я обрадовался. Так и есть! У Якушина будет достойный преемник. Но каким кружным, долгим, не очень счастливым оказался его путь к родной команде!.. Бег с препятствиями. «Торпедо», ЦСКА, сборная страны, «Заря», «Локомотив», Центральная футбольная школа. И всюду угадывал, открывал игроков и

пытался из разобщенной группы разномастных и разноклассных футболистов организовать команду. Так это было в «Локомотиве» и в «Заре». Казалось, завтра созданная им команда станет грозой чемпионов, послезавтра сама станет чемпионом.

Не было ни завтра, ни послезавтра. В футболе, как и в театре, есть сцена, есть «закулисы». И только кажется порой, что сцена важнее «закулис». Там, а не на поле решается иной раз судьба тренеров и команд. Так решалась и его, бесковская, судьба. Кто посмеет дать селекционеру участок на один год? Ему положено работать пять — десять лет, прежде чем будут плоды. Тренер на год — это не тренер, а консультант. И, очевидно, Бесков давно и страстно мечтал о своей команде, о команде не на сезон, а надолго, может быть, навсегда. Кто будет этой командой? Странный вопрос. Конечно, та, в которой он играл, в которой забивал голы сообща — «Динамо» (Москва). И вот новый поворот в судьбе Бескова. Он тренер московского «Динамо». Вот тут-то и начинаются самые трудные трудности. И возникает опасность самого тяжелого поражения.

Опасность эта состоит в том, что одаренный человек, который долго не мог реализовать свои способности в силу ряда причин, вдруг в один прекрасный день от этих причин избавлен. В силу тех или иных обстоятельств он был не тем, кем мог бы быть. И вот делай свое, пиши то, что ты хочешь, то, что знаешь, то, что пережил. Вот тебе время, бумага, задаток. Работай, А ты работаешь так же, как и раньше. Опасность неосуществления самого себя.

Четыре года Бесков работал со своей командой. Четыре года пытался он воплотить себя, свое понимание борьбы, свое умение, свой опыт, опыт других, свой характер и спортивное честолюбие, теоретические выкладки и гул чужих стадионов. Свои впечатления от Бобби Чарльтона, от Эйсебио, от Уве Зеелера, от Соареса, свои воспоминания о Федотове, Якушине, Боброве. Свою спортивную юность и зрелость воплотить в одиннадцать игроков, в одиннадцать молодых парней, умеющих бегать, катать по траве мяч, бить по нему.

Все шло не так, как хотелось. Динамовцы выигрывали «Подснежник», романтический курортный кубок начала сезона, и проигрывали на старте практически суровые очки. Команда плелась где-то в середине таблицы, потом пускалась в бешеную гонку, выигрывала у всех — и только лишь восполняла неудачи первого круга. Команда показывала игру иногда лучшую, иногда худшую, довольно техничную, в меру осмысленную, лучше многих других, хуже очень немногих. Но как далека была эта команда от той, где гол забивают сообща, где есть свой почерк, где есть люди, способные не только выполнить урок, но и показать импровизацию! Как далека она была от той игры, которую исповедует тренер, спортсмен, обладающий не только волевым, но и художественным началом! Как далека от игры в Футбол, когда мы забываем уничтожающий, буквальный перевод этого слова «ножной мяч», в тот самый Футбол, что рвет насмерть сердца болельщиков у телевизоров!

Такой футбол иногда чуть-чуть обнаруживал себя отдельными, не ярко выраженными элементами в этом году после поражения в Мексике, после новой переоценки ценностей. И впервые такой футбол в этом сезоне проглянул в игре одной московской команды. «Динамо» (тренер — змс Бесков К. И.).

А теперь оставался еще один шаг, еще один шанс. И будет все, что существует в отечественном футболе: кубок, медали и жетоны. Триумф. И сознание того, что если мечта и не осуществилась полностью, то не только потому, что «Динамо» 70-го года, пусть даже и чемпион и обладатель Кубка, все-таки еще не та команда, ради которой он начал свой тренерский путь... Еще и потому, что мечта на то и мечта, чтобы не осуществляться.

Значит, один шаг, равнозначный победе. И вот сейчас я звоню своему другу. Первый тайм окончен, счет 3 : 1, и победа, она здесь, рядышком, теплая и живая, как птенец, которого ты осторожно, в ладонях вытащил из клетки.

## ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ТАЙМАМИ

Те, кто любит футбол, знают это чувство. Приятное и несравненное. Ожидание матча. Даже когда ты не идешь на стадион, а матч показывают по теле, ты все утро как бы тихо освещен этим ожиданием, и даже твоя работа отодвигается на второй план. А главной работой становится футбол. И кажется, что если матч пройдет так, как ты ждешь, и победит твоя команда (не просто победит, а так, как тебе хочется — красиво и значительно), то ты и сам будешь немножко счастливей, и вновь захочется работать не ради очков в командном зачете, а ради игры, ради слова, ради победы. Но игра чаще всего проходит тускло. И ты сам тускнеешь и слушаешь, как комментатор в самый решающий момент вдруг начинает рассказывать о первенстве по хоккею (почему именно сейчас, когда ты смотришь футбол?) или вдруг ни с того ни с сего начинает хвалить Шестернева. Я заметил, что особенно в конце октября — начале ноября, во время так называемых зимних матчей, комментаторы, словно сговорившись, в каждой игре подолгу начинали хвалить Шестернева: «Любители спорта знают нашего замечательного футболиста капитана сборной Альберта Шестернева».

Да, знают, да, любят, да, помнят. Но зачем все время повторять общие места? Если о Шестерневе — то то, чего я о нем не знаю, или расскажите, пожалуйста, о новичке, который мне неизвестен. Конечно, легко критиковать, трудно вести репортаж. Бывают иной раз и превосходные репортажи, но сколько банальностей все-таки предлагается зрителю и слушателю. В свое время, чуть только появлялся в кадре Геннадий Еврюжихин, как тут же говорилось, что вот он быстр, но прямолинеен. Появлялся Гершкович, и говорилось: техничен, но любит играть сам. Все это штампы, стандартные однозначные оценки, лежащие на поверхности. Повтор того, что уже писалось и говорилось, а в этот момент как раз Еврюжихин не был прямолинейным, а Гершкович играл не на себя. Или такие соображения: приятно, когда бьют по воротам. Это в финальном матче. Или, например, комментатор говорит, что вих эта команда явно выглядит свежее, но как раз в этот момент другая забила гол. И вот уже она, оказывается, выглядит свежее. Все-таки есть тяга к этим лежащим на поверхности оценкам. А при этом у каждого комментатора наверняка есть собственные мысли о матче. Его личное, им самим выведенное отношение к игроку... Так дайте, пожалуйста, именно это. И больше информации — меньше беллетристики.

Но вот кончился репортаж, ты поворчал на комментатора, на свою команду, на весь наш футбол, ты мысленно сравнил его с «мексиканским», ты дал себе зарок в следующий раз не относиться к этому всерьез и занялся своими делами. Прошла неделя, ты снова включаешь телевизор. Чего ты ждешь в конце концов? Что тебе важно? Результат? Очки в таблице? Да, и это важно тебе, поскольку это важно твоей команде. Но если говорить по чести, то ты ждешь спектакля. Да, да, именно спектакля. Ибо сокровенный смысл футбола-зрелища не в тяжеловесном потении двух борцов, старающихся пережать друг друга по очкам, а в неповторимой драме, с завязкой, с кульминацией, с главными героями, со статистами, с всегда неожиданным финалом...

Впрочем, для одних — спектакль, для других — вопрос жизни.

«Вот смерклось. Были все готовы завтра бой затеять новый и до конца стоять».

На экране рамка Ташкента. Последний раз я был там шесть лет назад, в конце апреля — мае шестьдесят пятого года, в дни землетрясения. Тогда при самом большом оптимизме не верилось, что настанет день, когда Ташкент будет транслировать на Интервидение решающий матч двух команд. Впрочем, если вспомнить получше, и в дни землетрясения состоялась игра с участием «Пахтакора», и на ней были люди, правда, немного. Сидели в основном в нижних рядах, там безопаснее, кричали, и болели, и смотрели на ровную зеленую землю, по которой гоняют мяч. И было дико представить себе, что она может вдруг вот сейчас предать этих людей, вспучиться и обезуметь. Девяносто минут об этом никто не думал. Девяносто минут люди болели за «Пахтакор». Вот что такое футбол!

ТАЙМ ПОСЛЕДНИЙ

На одиннадцатой минуте повторного матча Пильгуй отбил нетрудный мяч прямо в Дударенко, Тот забил. Пахнуло на секунду душным запахом катастрофы. Катастрофой. Тем более, что армейцы в первом матче были все-таки несколько мощнее. Но вот прошло несколько минут, динамовцы вышли из состояния грогги и начали показывать то, что я так люблю у них. Эти мгновенные, острые проходы, фланговые удары, зрелищно эффектные и игрово эффектные. Эштреков, «иноходец», как прозвали его болельщики (по-моему, совсем необидное прозвище), плохо игравший вчера, наконец разошелся и мотает всех, кого хочет. И даже Шестернев вынужден останавливать его подножкой.

Эштреков — классический динамовский крайний в условиях сегодняшнего футбола (таким был когда-то Трофимов, потом Игорь Численко, так заметно игравший и так незаметно полусошедший со сцены). Нет ничего прекрасней в футболе прохода крайнего, этого танца с саблями на краю площадки, этих серий финтов, прострелов или еще лучше смещения к центру, к вратарской. И, наконец, удар. Этого, последнего, Эштреков еще не умеет. Редко это у него получается. Численко это умел отлично. Как коршун, нависает над воротами Пшеничникова Еврюжихин... «Прямолинейный Еврюжихин...» Никакой он не прямолинейный. Он интересно, расчетливо, остро играет — просто, как все в нашем футболе, теряется перед воротами, мажет, техника есть, но не на грани фантастики. А у такого же быстрого, напористого, взрывного Мюллера она все-таки на грани. Пшеничников стоит хорошо. Он сегодня в психологически сложном положении. Играет в своем городе, откуда ушел, куда чуть было не вернулся в этом сезоне. Интересно, как воспринимают его ташкентцы? Как своего или как перебежчика? Вот этого по телевизору не узнаешь. Мне он очень симпатичен и в сборной и в ЦСКА, но только не сегодня... Пропусти, Пшеничников! И послушался — пропустил. А кто бы такую не пропустил?! Жуков, казалось, не ногой по мячу ударил, а ядро метнул, тяжеленное ядро вонзилось в верхний правый угол, колыхнуло сетку, тренер Николаев и человек в военном рядом на скамеечке болезненно поморщились. Сейчас диктор скажет: «Все начинается сначала». И точно, сказал. А впрочем, чего тут мудрить. Действительно сначала. И вот снова началась раскрутка... Теперь уже молодец Уткин. Прекрасно проходит и отдает Еврюжихину. И снова мяч ложится в сетку. Оба, и Жуков и Уткин, — бесковские ребята. Его открытие. Еще год назад их почти никто не знал. Телеоператоры показывают Бескова. Он пыхтит сигарой, невозмутим, спокоен. Мол, ничего не произошло, все идет по плану... Молодец, так и надо держаться тренеру. Тренер все-таки немножко полубог, и он всегда должен быть чуть-чуть над схваткой. А внутри у него, наверное, все клокочет от тревоги, от радости, оттого, что все так хорошо и складно повернулось. Яшин, тот и не пытается сдерживать себя, потирает руки, счастливо, по-мальчишески улыбается. И это выглядит не самодовольством, а нормальной реакцией непосредственного человека на удачу... Наши выигрывают!

Но что же дальше? Защита армейцев выглядит беспомощно. Динамовцы их переиграли и в скорости и в маневре, они будто ножницами кромсают армейскую защиту на куски. Сейчас они завелись все. У них все теперь получается. Почти на уровне среднеевропейских образцов... Ах, какой футбол, — аж постанываю от удовольствия! И вот третий гол ложится в их сетку. Это Маслов. «Труженик». Так называемый «человек с двойным сердцем». А на самом деле он просто техничный, волевой, собранный и умеющий максимально выкладываться игрок. Динамовцы все рвутся и рвутся вперед. Грубит Афонин. Еврюжихин может забить еще гол. Четвертый.

Скамейка армейцев в смятении. Николаев собирается ставить Шмуца вместо деморализованного Пшеничникова. Тот раздевается. В последний момент тренер останавливает его.

Динамовцы создают голевые моменты как бы шутя и играя. И не используют их. Будто им не надо, будто им и так хватит. На мгновение мелькнула мысль, что это плохой признак, когда легко можно забить гол, а его не забивают. Обманчивая легкость победы... А впрочем, чего я морочу себе голову! Все идет прекрасно. Настроение, как любит говорить Левитан, отличное.

Так вот, дорогой друг, какая игра и какая победа. Надо бы, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, ведь уже доказано, что и в собственных делах и в футболе лучше быть суеверным.

## ПОРАЖЕНИЕ

Так что же все-таки произошло? Где психологическая разгадка поражения? Объяснения уже есть. Первое — слишком заосторожничали, ушли в оборону. Второе — построили второй тайм слишком рационально, без стихийности, без дальнейшего напора. Третье — немыслимая воля к победе армейцев.

Все это, конечно, существовало. И, возможно, сыграло свою роль. Но все-таки это больше плод нашего осмысления игры, чем следствие самой игры. А произошло лишь то, что иной раз происходит в футболе.

Что делает его несправедливым к истинному мастерству игроков, затрате сил, к ходу борьбы. То, что делает его игрой. Произошло стечение обстоятельств. Просто вот так, за двадцать минут до конца, а точнее, на семьдесят первой минуте, после ряда атак, не очень страшных, отнюдь не напоминающих шквал, обыкновенных атак отыгрывающейся стороны, Федотов ударил сильно и неотразимо. Счет стал 3 : 2. Федотов — ученик Бескова.

Это еще ничего не меняло. Конечно, армейцы заиграли. Но прорыв, который дал им пенальти, еще не обязательно нес в себе гол. Да и вообще всякий болельщик (даже армейский) не любит голов с пенальти.

3:3! Ну что ж. Действительно начинается все сначала. И все равно, несмотря на то, что справедливости в футболе нет, высшая справедливость существует. А значит, это динамовский день, и они должны победить. Им ли привыкать начинать с центра! Снова возводить разрушенное здание, снова продолжать действие уже завершившегося спектакля с пролога.

Как это у Багрицкого: «Мы втянуты в дикую карусель. И море топчет, как рынок»...

Но что это? Что с вратарем? Что это за повторный кадр, который кажется мне замедленным? Мой Пильгуй, которым я так гордился в первой игре, стройный, спортивный, с мгновенной реакцией, нелепо, неуклюже распростерся на земле, а мяч медленно проползает у него под руками... Да, под руками, как у вратаря Игоря Буйволова из шестого класса «Б» в матче двух дворовых команд. Потом он стремительно вскакивает, как человек, поскользнувшийся на мостовой и не желающий выглядеть смешным.

Конечно, у мастеров бывают ошибки, конечно, парень очень устал, работая подряд две игры. Кто посмеет его обвинить? Бросить в него камень? И я благодарен диктору за его сочувственную фразу, адресованную человеку, храбро сражавшемуся, но совершившему ошибку.

Но только скажите, почему она именно сейчас, эта ошибка? Почему в повторном матче, почему на 84-й минуте? Что это за ошибка?.. У нее есть теперь новое название — она обрела новое качество. Теперь эта ошибка непоправима я... Впрочем, пять минут. Вспомним матч Италия — ФРГ. Нет, такое бывает только в кино.

Армейцы в те времена, когда обе наши команды были великими, ежегодно соперничали друг с другом, всегда были чуть-чуть счастливее нас. То Бобров забивал на последней минуте мяч, и они выигрывали 3:2, то в финале мы били в штангу пенальти, то у них и у нас было абсолютно равное соотношение мячей и очков, и они выигрывали у сталинградского «Трактора» ровно так, чтобы опередить нас, в соответствии с тогдашним требованием коэффициента на какую-то одну сорокапятимиллионную. И эта сорокапятимиллионная делала их чемпионами. Конечно, они счастливее. Только это не значит, что они сильнее. Конечно, выигрыш. Но выигрыш еще не равнозначен победе.

Да, Женя Сидоров, мы проиграли, но вы не победили!

Унижение паче гордости. Мне всегда были немножко дороже проигравшие, если они проигрывали с достоинством. И Пильгуй, пропустивший роковой мяч, мне дороже сегодня



сравнительно благополучного Пшеничникова. Я не знаю, что там было, в раздевалке. Но только на поле динамовцы вели себя, как и подобает проигравшим, но не побежденным.

Ну что ж, упущены медали, звания... Бывают проигрыши и пострашнее. А потом, что делал бы Бесков, поднявшись на вершину? Ему надо было бы ее удерживать, охранять... А теперь он медленно спускается вниз под музыку цирковой кавалькады, под музыку, говорящую, что все на свете есть, в сущности, игра, что сегодня проигрыш, завтра победа... Вот я мысленно вижу, как он шагает по этой тропке, корректный и полный достоинства, погасивший сигару, за ним — его проигравшее войско... Медленно, устало, натруженными ногами — по тропе, обдумывая превратности судьбы и путь к новому восхождению.

Проигрыш, упущенная победа делают людей печальнее и мудрее.

Не знаю только, нужны ли эти качества в футболе?

Евгений СИДОРОВ:

Это прекрасно, Володя, — цирк, танец с саблями, кавалькада... Знаешь, если бы динамовцы играли с такой же страстью, с какой ты писал свой материал, вы бы у нас выиграли...

Владимир АМЛИНСКИЙ:

Спасибо за рецензию. Что же касается футбола, то, знаешь, момент истины едва ли однозначен моменту везения...

## ЗЕЛЕНЬ ПОРТФЕЛЬ

НАТАША ХМЕЛИК,  
ученица 9-го класса

## ПЕРВЫЙ БАЛ

Первого сентября Вера Ивановна сказала: «Вы теперь восьмиклассники. Скоро многие из вас вступят в большую самостоятельную жизнь».

Ирка подумала, что быть в восьмом классе хорошо. С большой самостоятельной жизнью дело потерпит, зато теперь Ирка сможет ходить на вечера старшеклассников. В седьмом классе на эти вечера не пускали, и приходилось делать вид, что не больно-то и надо. А теперь Ирка наденет зеленое платье и туфли на среднем каблуке и пойдет. И даже Лера, самая красивая девочка в школе, не скажет ей, как всегда: «Брысь».

Вечер начинался в пять. Ирка очень боялась опоздать. Она не знала, что, если назначено в пять, все придут к семи. Потому что каждый знает, что все придут к семи, а в пять никто не придет. Поэтому к пяти никто и не приходит.

В зале было темновато. Только на сцене горел свет, там два десятиклассника перетаскивали усилители, на стульях блестели гитары. И провода тянулись в темноту. Десятиклассники были в белых водолазках. На сцене Саня Волков спросил что-то у Сережи. Сережка махнул рукой и сказал: «А, дитё». Они стали настраивать гитары. Ирка повернулась к ним спиной. И тут увидела, что у двери топчется Лариса. Ирка обрадовалась, хотя с Ларисой никогда не дружила: все-таки пришел человек из их класса. Ирка пошла к Ларисе, но Лариса в красном платье и красных туфлях стояла и смотрела отчужденно, как незнакомая, будто они с Иркой и не учились семь лет в одном классе.

Ирка вышла в коридор. В углу, приоткрыв окно, курили девятиклассники. Ирка, стуча каблуками, прошла мимо них и спросила:

— Сколько времени, мальчишки?

— Седьмой час, — ответил, не поворачивая головы, Вовка Никитин. Вовка жил с Ирккой в одном дворе. Она даже помнила, что в детстве его почему-то звали Дунькой.

На Вовке был отцовский галстук. Рядом с Вовкой стоял парень в клешах с бубенчиками на штанинах. Парень все время пританцовывал, и бубенчики тихо звенели. Мальчишки курили так внимательно, как будто только за этим сюда пришли. Ирка стояла в стороне.

— Атас, — тихо сказал Вовка. Ирка увидела, что в коридор вошла химичка Светлана Михайловна. Никогда еще Ирка не видела Светлану Михайловну такой нарядной. Сиреневая кофточка, сиреневые серьги, а в руке розовый гладиолус, как у бубновой дамы. Светлана Михайловна прошла в зал. Ирка шагнула за ней и сказала ей в спину:

— Здрасьте.

В зале было совсем мало ребят, все как-то стояли по стенам, все были какие-то неприкаянные. И тут вошла Лера. Волосы у нее были распущены по плечам и не разлетались, а лежали так, как Лере хотелось. Когда Ирка делала такую прическу, волосы занавешивали глаза и лезли в рот, приходилось их то и дело выплевывать.

Когда пришла Лера, пришли все, как будто это она всех привела. И сразу зажегся свет, и все громко заговорили. И заиграл оркестр. Девчонки из девятого стояли рядом со своими мальчишками. Десятиклассники уверенно приглашали десятиклассниц. А девочки из восьмых все оказались у стенки. Сначала они почти не разговаривали, у каждой был такой вид, как будто только этот танец она пропускает, случайно. Во время следующего танца они вдруг все заговорили так горячо, как будто не виделись года три.

Закончив обязательные медленные танцы, оркестр грянул шейк. Парни оживились, встали в круг и затопали. По потолку запрыгали тени. Светлана Михайловна свободной от гладиолуса рукой схватилась за висок и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Конюшня.

Лариса громко спросила Ирку:

— Слушай, а где наши парни? Они обе знали, что парни из восьмых на вечера не ходят, не доросли, а девчонки доросли.

За толпой Ирка увидела Вовку Никитина. Он стоял у стены и задумчиво глядел вверх. Стоял Вовка на одной ноге, а другой ногой и локтями упирался в стену. Эта другая нога, упирающаяся в стену, должна была объяснить всем, что Вовка не танцует, не потому что не умеет или стесняется, а потому что просто не хочет, и все.

Оркестр очень громко играл: «И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет». Он играл так громко, что в зале становилось трудно дышать. Но невольно все подпевали про себя: «И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет».

Лера танцевала с самым высоким десятиклассником Славой. Он смотрел на Леру сверху вниз. Ему, наверное, нравилось, что он такой большой, а Лера такая маленькая. Потом танец кончился, и все затоптались, собираясь уйти с середины к стенке. Но Слава что-то сказал Волкову, Волков кивнул оркестру, и музыканты еще немного поиграли «И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет». Лера медленно тряхнула волосами и улыбнулась Славе.

Следующий танец танцевали почти все. Только восьмиклассницы так и продолжали обсуждать свои дела. Краем глаза Ирка увидела, что Вовка отлепился от стенки, идет к ним. «Наконец-то», — подумала Ирка. Вовка подошел уже совсем близко, и у Ирки похолодели ноги. Вовка повернулся к Ларисе и сказал хриплым голосом:

— Чего стоишь? — и увел ее танцевать.

«Дунька проклятый», — подумала Ирка и ласково сказала Марине, которую недолюбливала:

— Мариша, пойдём танцевать?

— Да ну, — сказала Марина и в сотый раз оглядела зал. Но никто не шел в их сторону. Марина дернула плечом и положила руки Ирке на плечи. Они танцевали, Ирка старалась, чтобы у нее было веселое лицо. После танца Ирке показалось, что в зале очень жарко. Она вышла в коридор. Здесь был полумрак, около окна стояли парни и пели под гитару: «Я из дома убегу, все на свете я смогу». В компании Ирка увидела незнакомую девчонку с высокой прической. «Ей можно, а мне нельзя?» — смело подумала Ирка и

подошла поближе к ребятам. И почему-то сразу почувствовала, что той девчонке можно, а ей нельзя. Ирка быстро отошла и встала у другого окна. Она смотрела на улицу, там были огни.

Ирка косилась на ребят. «Вот и они тоже не танцуют. Не все же время танцевать, как ненормальным», — думала Ирка. Она не знала, что парень с гитарой, Игорь, на всех вечерах стоит в коридоре. Гитара должна объяснить всем, что он не идет в зал не потому, что Лера от него отворачивается, а просто не хочет. Вот и все.

В дверях зала показалась Лера.

— Ну пока, — сказала она кому-то через плечо.

«Уходит, — подумала Ирка почему-то с облегчением. — Вот и ее никто не провожает».

Ирка вздохнула. Лера покосилась на Ирку и сказала:

— Надо же, — и прошла мимо, задев Ирку краем короткой юбки.

Ирка показала в темноте язык. Игорь нервно барабанил по струнам никакую песню. Лера не смотрела на Игоря. Ирка не смотрела на Леру. Но и не смотря, она видела, что Лера смотрит на Игоря. Из зала выскочили Слава и еще два десятиклассника.

— Лерочка, — закричал Слава, — два последних танца!.. Не уходи.

— Мне домой, — сказала Лера.

— Мы проводим, — не то объявил, не то спросил Слава.

Лера пожала плечом, медленно откинула волосы и стала не спеша спускаться по лестнице.

— Салют! — крикнул Слава ребятам и побежал за ней. Игорь продолжал стучать по струнам.

Ирка шла с вечера знакомой дорогой, которой она ходила каждый день в школу и из школы. В кино кончился последний сеанс, и название кинотеатра уже было погашено. Ирка не стала спускаться в подземный переход, а прошла, стуча каблуками, прямо по мостовой.

Дома не спали, хотя телевизор был уже выключен.

— Ну как твой первый бал? — спросил папа, доставая сигарету.

— Было очень весело. — Ирка стала снимать туфли.

— Тебя кто-нибудь провожал? — спросила мама, вытирая совершенно сухую чашку.

— Предлагал один из десятого, да я отказалась.

— Гордая, — сказал папа, — вся в меня.

Ирка продолжала снимать туфли. Волосы лезли в глаза и в рот.

## КАКОВ ВОПРОС — ТАКОВ ОТВЕТ

Витя 3-е в, Саша Р-о в, Миша М-о в, г. Москва Уважаемая Галка Галкина! Нам на троих 60 лет. Учиться нам неинтересно, работать тоже, что нам делать?

ОТВЕТ.

Если вам уже исполнилось 60 лет, хлопчите пенсию. На троих.

Надя А-у к, г. К у д ы м к а р. Милая Галка! Я хочу заказать брючный костюм, а мама ругает: ты в нем будешь бросаться в глаза. Галка, как научиться носить брючный костюм, чтобы было красиво и чтобы я не бросалась в глаза в плохом смысле?

ОТВЕТ.

Милая Надя! Посоветуйся на этот счет с мальчиками. У них большой опыт — ведь они всю жизнь носят брючные костюмы.

Григорий Р-к о, г. К и е в.

Здравствуй, Галя! Я все время звоню по телефону одной девушке, но, когда она берет трубку, я молчу, потому что боюсь. А она бросает трубку, потому что не знает, что это я. Что делать?

ОТВЕТ.

Молчи громче, тогда она тебя узнает по голосу.

В НОМЕРЕ	
ПЕРЕДОВАЯ	
Девятая .....	2
ПРОЗА	
Олег ЖДАН. Во время прощания. Повесть	7
Василий АКСЕНОВ. Любовь и электричеству.	
Романы-хроника (с предисловием кандидата исторических наук В. Логинова)	
а).....*	
ПОЭЗИЯ	
Арамаис СААКЯН. На правах решающего голоса. (Перевел с армянского О. Дмитриев)	
е в).....	
Зиновий ВАЛЬШОНОК. Политруки. Старые большевики.....s	
Раим ФАРХАДИ. Свет Родины.....6	
Джубан МУЛДАГАЛИЕВ. «Я в долгу перед вре. менем и планетой...» (ПеревеласказахскогоТ. Кузовлева).....0	
Виктор УРИН. Беспартийные большевики . .	26
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Латышские стрелки. Шум в сердце. «Я богат...» «Горбуша в сентябре'идет метать инру...» ... • •	11
Джемс ПАТТЕРСОН. Африка .....	29
Геннадий КАЛАШНИКОВ. «Уже в который раз мне достается мир...» «Я в лес уйду на быстрых лыжах...» «Сгорела осень...» «Вот звук зимы — скребок о тротуар...».....	94
ПУБЛИЦИСТИКА	
П. КОВАНОВ. Будь хозяином! .....	68
Валентина ЮДИНА, Борис ЧЕРНЫХ. Гинин ду-   мает о жизни.....,-74	
ИЗ ПРОШЛОГО	
Борис ЯКОВЛЕВ. Они были первыми. (К 100-летию Парижской коммуны) . .	81
ДНЕВНИК КРИТИКА	
В. БОБОРЫКИН. В пути (Заметки о прозе молодых) .....	89
ИЗ БЛОКНОТА ХУДОЖНИКА	
Юрий ЦИШЕВСКИЙ. «Джузеппе Верди» и другие .....	95
СПОРТ	
ЦСКА — ДИНАМО (Диалог о футболе). Евгений СИДОРОВ. Момент истины. Владимир АМЛИНСКИЙ. «Мы втянуты в дикую нарусель...» .102	
ЗЕЛЕНЬИЙ ПОРТФЕЛЬ	
Наташа ХМЕЛИК. Первый бал.....	
Каков вопрос — таков ответ .....	щ
Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ	
Первый заместитель главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ	
Редакционная коллегия:	
А. Г. АЛЕКСИН,	
В. И. АМЛИНСКИЙ, В. И. ВОРОНОВ	
(зам. главного редактора),	
В. Н. ГОРЯЕВ,	
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ,	
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ	
(отв. секретарь),	
К. Ш. КУЛИЕВ,	
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,	
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА	
Художественный редактор Ю. А. Ц и ш е в с к и й.	
Оформление номера	
Анатолия	

Головченко.

Технический редактор Л. К. Зябкий а.,;

На 1 — 4-й стр. обложки рисунок Е. ЗОЛОТАРЕВА.

Адрес редакции:

Москва. Г-69.

ул. Воровского, 52,

Тел. 291-62-47.

Рукописи

не возвращаются.

Сдано в набор 7/1 — 1971 г. Поди, к печ. 23/11 — 1971 г. А 05719.

Формат бумаги 84X108'/i«. Объем 12.18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л.

Тираж 1 800 000 экз. Изд. № 443. Заказ № 45.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.

Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды». 24.